

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 6 (3 5) / 2 0 2 0



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
Коктебель

4



АНАСТАСИЯ
РОСТОВА
Нижний Новгород

9



НИКОЛАЙ
СМИРНОВ
Нижний Новгород

17



ВЛАДИМИР
ГОФМАН
Нижний Новгород

20



МАРИЯ
БУШУЕВА
Москва

41



АНДРЕЙ
КУЗЕЧКИН
Нижний Новгород

56



АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВ
Нижний Новгород

79



ПАВЕЛ
ТУЖИЛКИН
Саров

83



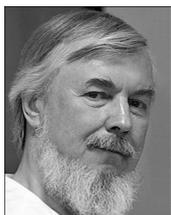
ВЕРОНИКА
ВОРОНИНА
Люберцы

105



НАТАЛЬЯ
РУСОВА
Нижний Новгород

128



АЛЕКСАНДР
КАЗИНЦЕВ
Москва

191



КОНСТАНТИН
ВАСИЛЬЕВ
Санкт-Петербург

197



РОМАН
ГОГОЛЕВ
Нижний Новгород

217



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

222



АЛЕКСАНДР
ЦИРУЛЬНИКОВ
Нижний Новгород

237

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Владимир АЛЕЙНИКОВ И ВОВСЕ НЕ О ТАКОМ...	4
Анастасия РОСТОВА СКОРАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ	9
Евгений ДЪЯКОНОВ В ПОИСКАХ ДИНОЗАВРА	13
Николай СМИРНОВ НИКОЛО-КЛЮЧ	17

Проза

Протоиерей Владимир ГОФМАН ХУК С ПРАВОЙ, или VIVAT, МАЙОР!	20
ТРИ САНТИМЕТРА НИЖЕ ЛЕВОГО УХА	25
Сергей КУЛАКОВ Из цикла «ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»	
ЧИТАЯ БОРХЕСА	35
ЖЕЛАНИЕ СОЗДАТЕЛЯ	38
ТРЮК	39
Мария БУШУЕВА ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ (Четыре рассказа)	41
Юриус МАРИЙСКИЙ КАРЛ	49
Андрей КУЗЕЧКИН КЛИЧУТ ВОРОНЫ	56
Милена ФИЛИППС ПРАВО ОСТАТЬСЯ	63

Поэзия

Наталья ДЕНИСОВА СВЕТ В ТЕБЕ ГОВОРIT – ИДИ!	67
Антон ВАСЕЦКИЙ ЛЮБИТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ПРИНИМАТЬ ЛЮБЫМ...	72
Анатолий МОВШЕВИЧ ВОЗДУХ ХРАНИТ НИЧЕЙНЫЕ МЫСЛИ...	76
Андрей ДМИТРИЕВ КУБОК СЕРДЦА ПОДНИМЕМ...	79

Проза

Павел ТУЖИЛКИН КУСОЧЕК ХЛЕБА	83
Никита КРИВЦОВ РАБОТАЯ НАД ДИПЛОМОМ	87
Александр ГРИГОРЬЕВ ОК, ОКСАНА, ОК	102
Вероника ВОРОНИНА КАРАСЬ, КАСТАНЕДА И ПОНТИЙ ПИЛАТ	105
ЛЁВА, ТЫ НЕ ОДИН!	108

Павел ПУШКАРЁВ	
ДАВНЫМ-ДАВНО.....	110
ВЫБРОШЕННЫЕ.	113
Ефим ГАММЕР	
АЛЬТЕРНЕТ.	115
Андрей ЕВСЕЕНКО	
ПОДАРОК.	120

Стихи по кругу

Александр ВОЛОВИК	122
Виктор ШИНКОВСКИЙ	122
Дмитрий АНИКИН	123
Вита ПУНСКАЯ	124
Дмитрий ВИЛКОВ	125
Даниил СИЗОВ	126
Марина ЧАРИНА	126

Из будущих книг

Наталья РУСОВА	
КНИГИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ. История советского читателя.	128

Публицистика

Александр КАЗИНЦЕВ	
ПОНЯТЬ СЕБЯ. О Шукшине и Кожинове, о публицистике и кризисе идеологий – в беседе с Артемом Комаровым	191
Константин ВАСИЛЬЕВ	
ПО УЛИЦЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ	197
Рустам МАВЛИХАНОВ	
ШИХАНЫ.	214

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Роман ГОГОЛЕВ	
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА: БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ	217
Олег РЯБОВ	
СЕКРЕТ УСАТОЙ КНЯГИНИ.	222
Протоиерей Владимир ГОФМАН	
КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО	
Церковь Успения Божией Матери в Крутом переулке	227
Церковь святого пророка Илии.	229

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА	
СВЯТОСТЬ И СВЯТКИ В РАССКАЗАХ ИВАНА БУНИНА	231
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ	
КАК КОНЧАЮТСЯ ВОЙНЫ. История в фотообъективе Виктора Темина.	237

Литпроцесс

Эдуард КУЗНЕЦОВ	
СМОТРИ, ЧИТАЙ – И ПОКУПАЙ... Пародии и реклама	249

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012). Живёт в Коктебеле.

В январе Владимир Дмитриевич встретит свое 75-летие. Редакция журнала «Нижний Новгород» поздравляет мастера с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых творческих высот.

И ВОВСЕ НЕ О ТАКОМ...

Облака

День ли прожит и осень близка
Или гаснут небесные дали,
Но тревожат меня облака –
Вы таких облаков не видали.

Ветер с юга едва ощутим –
И, отпущены кем-то бродяжить,
Ждут и смотрят: не мы ль защитим,
Приютить их сумев и уважить.

Нет ни сил, чтобы их удержать,
Ни надежды, что снова увидишь, –
Потому и легко провожать –
Отрешенья ничем не обидишь.

Вот, испарины легче на лбу,
Проплывают они чередою –
Не лежать им, воздушным, в гробу,
Не склоняться, как нам, над водою.

Не вместить в похоронном челне
Всё роскошество их очертаний –
Надышаться бы ими вполне,
А потом не искать испытаний.

Но трагичней, чем призрачный вес
Облаков, не затмивших сознания,
Эта мнимая бедность небес,
Поразивших красой мирозданья.

У реки

В листве маслин и верб прибрежных
Не надо слов и слёз поспешных –
Плакучей ветке поклонись,
Найди в струенье, в серебренье
Безбрежным дням благодаренье –
В любви, пожалуй, не клянись.

К реке ступай – в ней жилы влаги
В подспудной выпуклы отваге,
В неумолимой полноте
Неудержимого течения,
Чьи недомолвки и реченья
Сроднились с кровью на кресте.

Хвала тебе, краса земная!
Другого имени не знаю –
За что дана ты мне теперь?
За тот ли свет, что с неба льётся,
Что эхом в сердце отдаётся –
Предупреждением потерь?

Апостол твой по берегу бродит –
И что-то в мире происходит,
Чему названье – благодать,
Чему предчувствие – прозренье,
Чего присутствие – смирение,
Чью ипостась – не передать.

Где сокровища речи сокрыты

Нет, никто никогда никому не сказал,
Где сокровища речи таятся –
Средь звериных ли троп, меж змеиных ли жал,
Или там, где беды не боятся.

Соберись да ступай, по степям поброди –
Не родник ли спасительный встретишь?
Не тобой ли угадано там, впереди,
То, что ищешь? – ему и ответишь.

Не биенье ли сердца в груди ощутишь,
Не слова ль зазвучат о святыне? –

Может, взор мимоходом на то обратишь,
Что миражем казалось в пустыне.

Где томленье по чуду? – в слезах ли росло
Иль в крови, что огнём обжигала? –
Потому и священо твоё ремесло,
Что в любви – откровенья начало.

Даже страшные клятвы уже ни к чему,
Если просишь у неба защиты, –
Потому-то не скажешь и ты никому,
Где сокровища речи сокрыты.

Из августа

Сон твой велик и наивен –
Выручит завтрашний ливень? –
Вот его нынешний шаг –
Он обнадёживал так,
Что собирались цветы пред домами,
Стёкла дрожали в расшатанной раме,
Долу клонилось белёсое пламя, –
Был он торжествен и наг.

В зеркале мрачном и мы отражались,
Губы сжимались и веки смежались –
Всё бы языческой тьме,
Гуще злокозненной, мгле ненасытной,
В лёгком челне, над пучиною скрытной,
Плыть с фонарём на корме.

Всё бы на свете расти ожиданью,
Всё бы томиться в груди оправданью,
Всё бы виновных найти
В том, что на деле мы сами сгубили,
В том, что в себе навсегда позабыли
И не ценили почти.

Что тебя в глуби зеркальной
Встретит улыбкой прощальной? –
Всё, что на ощупь ушло,
Влагой ночной утекло,
Свечкой растаяло, розой поникло,
В песнях исчезло, в беде пообвыкло,
Прячась к тебе под крыло.

Объяснение

Нет, я не стану тебе повторять,
Что предстоит нам в пути потерять,
Что никогда, как ни жди, не вернётся,
Искрой не вспыхнет, руки не коснётся,

Птицей не вскрикнет, исчезнет в степи, –
Слёз не жалея, но и сердце скрепи.

Нет, никогда не скажу я – прости –
Что предстоит нам в пути обрести –
Имя луны над бессмертной долиной
Та, что когда-то звалась Магдалиной,
Шепчет, едва раскрывая уста,
Вся – очевидна и вся – непроста.

Нет, не хочу я тебе говорить,
Что предстоит нам другим подарить –
Стаи растаявшей клич лебединый
В час полуночный, в глуши нелюдимой,
Чудится мне, отзываясь в тиши,
Крылья подьемля всегда у души.

Нет, я не стану тебе объяснять –
Слов неустанных тебе не понять –
Это бездомица ветра ночного,
Это бессонница века больного,
Это зарницы и розы в горсти, –
Взял бы с собою – да трудно грести.

И вовсе не о таком

И вовсе не о таком,
Что душу твою изранит, –
Ведь с ним я давно знаком,
Оно укорять не станет,
Оно не удержит нас
В распластанной сени дыма,
Но смертный подскажет час –
И в жизни необходимо.

И вовсе не о таком,
Что сердце твоё тревожит. –
Ведь горе, как снежный ком,
Настигнет тебя, быть может,
Ведь радость застанет вдруг
Тебя на пороге славы,
Друзей раскрывая круг,
Вниманья даруя право.

И вовсе не о таком,
Что очи твои туманит, –
Рассвета сухим мелком
Оно осыпаться станет,
Чтоб птичий возвысить клич,
Листву шевелить на древе, –
Его-то и возвеличь
В едином, как день, напеве.
И вовсе не о таком,
Что слух твой ночами мучит, –

Речным пожелтев песком,
Оно возвышаться учит,
Оно запрокинет звук
Туда, на незримый гребень
Волны беспримерных мук,
Чтоб смысл её был целебен.

Но свет изначальный

На севере – тихо, на юге – тепло,
Промышленный гул – на востоке,
На западе – пусто, – вот солнце взошло, –
Безвременья годы жестоки.

Да помнишь ли ты, как, смеясь у реки,
Мы влагу в ладонях держали –
И ночи бывали всегда коротки,
И дни никуда не бежали?

На лодке – весло, да над лодкой – крыло,
Взлетающие к облаку птахи, –
Так вот оно, сердце, и вот ремесло,
Забывшее вовсе о страхе!

Крыло надломилось, и лодка худа,
И облако тучи сменили –
И маску с обличья срывает беда,
И вёсла гребцы уронили.

И Дантова тень, в зеркалах отразясь,
Как эхо, давно многократна –
И с веком прямая осознана связь,
И поздно – вернуться обратно.

И есть упоенье в незримом бою
С исчадьями тьмы и тумана! –
У бездны алмазной на самом краю
От зрячих таиться не стану.

И так набродился я в толпах слепых,
И с горем не раз повидался, –
В разорванных нитях и в иглах тупых
Погибели зря дожидался.

Сомнения – нет, и забвения – нет,
И смерть – поворот карусели,
Но свет изначальный, мучительный свет –
Вот он и бессмертен доселе.

Анастасия РОСТОВА

Родилась в 1986 году в деревне Пестенькино Владимирской области. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Работала журналистом, переводчиком, копирайтером, организатором конференций, в настоящее время – специалист по маркетингу. Публиковалась в журнале «Нижний Новгород», в газетах «Литроссия», «Голос писателя» (Владимир), альманахах «Земляки», «Серебряная даль» (Ярославль) и множестве других изданий.

Автор поэтического сборника «Лезвия Розы», исторической феерии «Маки Прованса» и фантастического романа-голограммы «Лепестки». Лауреат премии литературно-художественного журнала «Нижний Новгород» в номинации «Поэзия» (2018). Финалист международного поэтического конкурса «Собака Керуака» 2018. Живет в Нижнем Новгороде.

СКОРАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ

Спираль

Шагающих в волнах вдвоём
Какая сила остановит?
За спуском следовал подъём,
И прирастала новь к основе.

Нас мучил солнечный рентген,
Но он не выявил изъяна:
Ты не сказал: «Сдавайся в плен!»
Я не ответила: «Не стану!»

К ступням, обласканным песком,
Струилась песня с теплохода...
Мы шли тропинкой – волоском,
В конце которого – свобода.

Мы назывались «ты» и «я»,
Был парус, не было штурвала...
И смерть, в улитке бытия
Вдруг закружившись, застревала.

Надежде Князевой

Летит, бежит, идёт по городам,
Листая книги лиц, сердец и судеб,
Раскладывая буквы по рядам,
Как пищу разливают по посуде,
И говорит на разных языках –
На струнном, человечьем или птичьем,

Как мягок волос, ласкова рука,
Как славен Бог в любом своём обличье...
Она поёт... Молчи – она поёт,
Не смей перебивать и прекословить,
Не осуждай поющую её,
Не путай нитей в трепетной основе,
Не рви, не замыкай их на себе,
Давай ей быть, как музыке и эху,
Как сказке или народной ворожке,
Как здравнице, застрявшей под застрехой,
Дай просто ей с тобой происходить –
Прими преображенье и круженье,
Попутай «позади» и «впереди»,
Ищи наощупь нужные ступени...
Твой берег – безымянная земля,
Не знает короля и корабля,
И за тобою первый ход и шаг.
Довольно миру этому неметь,
Тесни собою и кимвал, и медь,
О, Человек, что так душою наг...

Кружево

Словно вагоны, цепляю к словам слова –
Раз уж поставлена кружево создавать
В век наш бетонный, пластмассовый и железный.

Чтобы хоть где-то осталась ещё листва,
Чтобы журчащая речка была жива,
Чтобы хоть что-то не рухнуло в эту бездну...

«Я тебе верю!» – любимые говорят...
Бьётся светляк ненадёжного фонаря,
Вечная ночь надвигается антитезой...

Все обещания – цепь, чтобы усмирять
Сердце указами внутреннего царя:
Прежних и ближних по контуру не отрезать...

Как ни беги от ответа и ни кружи,
Как ни цепляйся за тени и миражи,
Главную арию каждый исполнит сольно...

Ноты высокие, острые, как ножи,
Не разобьют нас – ты руку мою держи:
Сколько смогу, буду делать тебе не больно.

Вестнику

Говори обо всём, только имя не поминай –
Оголённые вольты и верные девять граммов...
Говори, как меняются царства и времена
На похожие пьесы в привычном театре драмы.

Говори о погоде, скандалах и новостях,
О старинных друзьях, их работах, болезнях, детях,
Не касаясь души, что всё время сидит в гостях –
Ей ни места, ни дома на этой чужой планете...
Говори о таком, что он снова услышать рад,
Вспоминай вас двоих – золотых, невозвратных, юных...
Говори не о счастье, поздравь с чередой наград
И не трогай слезы, застывающей камнем лунным.
Говори с ним... Шути о победах, которых нет,
В остроумии посостязайся, как равный с равным...
Я не встану меж вами. Я буду эфир и свет.
Только – я умоляю – ещё раз смолчи о главном.

Квест

Подсвечен в тумане выход,
Снят с полки бронезилят,
Пружины вздыхают тихо:
Курками взведён сюжет.

Но пули отрикошетят –
Блаженным везёт всегда:
Пусть автор за всё в ответе,
Он сам по себе звезда.

Его до финальной сцены
Протащит волною текст
И выправит угол крена,
И выставит кнопку «Next».

Она парашют раскроет
Над картой далёких мест...
Наш автор за всех героев
Один завершает квест.

Отпечаток

Вокзалы отдают нас результатом
Вопросов: «Едешь?» – и ответов: «Да!» –
Весёлых, непоседливо крылатых,
Опроверженьем к слову «никогда».

И плачет город, празднично умытый,
Нас ветром обнимая и травой –
Мы так давно на трещины разбиты,
Что точно не забудем ничего.

Биение обратного отсчёта,
Треск пламени, скрип гробовой доски,
А те, кто попадает в наши ноты,
Случайны, беспощадны и редки...

«Подтягивайся – вот моё колено,
Вот пьедестал...» Стоим – рука в руке.
И отпечатан на большой Вселенной
Узор из малых формул на песке.

Скорая поэтическая

Летит на белом красный крест
Сквозь ветер, ночь и дождь,
Не зная важных дат и мест,
И кто там нынче вождь.

Летит – лечить и утешать,
И трогать, и спасать,
Когда ломается душа,
Стучится в небеса.

И открывает доктор нам
Бумажную скрижаль,
И назначает имена,
Чтоб растворить печаль.

Глотай эмоции и текст,
Допей его до дна.
Одно из разрешённых бегств –
В себя сквозь времена.

А доктор спросит: «Легче, брат?»
Киваешь головой.
И слышен стук из-под ребра:
«Живой, живой, живой!»

Ученик

Он стучится к тебе – уже твой и ещё не твой,
Ты почувешь его от подножья своей горы:
Ветер выложит имя, играя шальной листвою,
И поднимется ткань, разделяющая миры.

Он войдёт незаметно, но ты ощутишь спиной,
Как сбываются песни, что пелись пять тысяч лет..
Он окликнет тебя: «Я пришёл. Говори со мной –
Начерти свои знаки – на небе, земле, челе...»

Начинаешь чертить – не тебе его удержать,
Не тебе запрещать, и умалчивать – не тебе..
ДНК со звездой так сияюща и свежа:
Улыбаться – своим, а чужим и врагам – робеть.

Бесконечности нота – восьмая – есть тишина.
Вы молчите безмерно, но в каждом журчит родник.
Вам неведома правда (и вряд ли она важна) –
Кто теперь из вас Мастер и кто теперь Ученик?

Евгений ДЪЯКОНОВ

Родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры, работает экскурсоводом.

Лауреат и дипломант различных поэтических конкурсов и фестивалей, в том числе литературного фестиваля им. Н. Гумилева «Осиянное слово» (2016–2017), обладатель Гран-при Всероссийского музыкально-поэтического фестиваля мелодекламации им. В.В. Верушкина «Стихотворные струны города Питера», участник литературной конференции им. Михаила Анищенко (Самара), победитель Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы».

Живет в Санкт-Петербурге.

В ПОИСКАХ ДИНОЗАВРА

Поля Куликова

Ее тут знает каждая корова,
Хотя в Москву, как многие, могла
Уехать наша Поля Куликова,
Иконку взяв из красного угла.
Страстями и безделием влекома,
Сшалавилась, Господь ее спаси,
Девчонка наша, Поля Куликова!
Мигрируя в Россию из Руси,
Сама себя все топит, топит, топит
В трясине непролазной и густой,
А водочка – не более чем допинг:
Дешевый, эффективный и простой.
О, сколько же в глазах девичьих боли,
Усталости, хронической тоски!
Свои, чужие – все лежат на Поле,
И все мы ей, по-своему, близки.
Когда в затишье жить совсем хреново,
А вражьи морды смотрят из газет,
Выходит в поле Поля Куликова.
И ждет, когда вернется Пересвет...

* * *

На платформе станции Сенная
За ограничительной чертой
Топчется крестьянка молодая.
Был бы я крестьянкой молодой,

Я бы тоже сбросился на рельсы:
До того обида велика!
Понедельник бродит погорельцем,
Ветром нагоняет облака,
Гематомы, ссадины, ушибы,
Красные полоски от кнута...
Эх, крестьянка, мы с тобой ушли бы,
Убежали... только вот куда?
А пока что ты стоишь безмолвно
На краю, но в крайность не вросла.
Как на булку мажут сыр Viola,
Машинист, зажмуривший глаза,
Вмиг тебя размажет, расфигачит,
Заскрежещут тут же тормоза...
А хотела платье от Versace
И пыталась верить в чудеса...

* * *

По Невскому бродят карманники,
Чертяги петляют в толпе,
А я беззаботно как маленький,
По собственной узкой тропе

Иду в направленье Восстания,
Хотя я совсем не бунтарь.
Изящные, стройные здания,
Аптека, Фонтанка, фонарь,

Фонтаны петровского детища
В известном всем Летнем саду,
Скажите, скажите мне – где еще
Я так навариться смогу?

Обшарив карманы и сумочки,
Туристов, беспечных зевак,
Нырну со знакомой мне улочки,
Во двор, в переулок, в кабак,

Залягу на тихое днище я,
И богу всех прежних богов
Взмольюсь, чтобы дряхлая нищая
Со мной разделила улов.

Я супа налью ей горячего
И тысячу суну в карман.
– «Силёнок немало потрачено,
Ну что ты не кушаешь, мам?»

* * *

Как будто черной ручкой гелевой,
Конкретно поперек двора

Нарисовало ветром дерево
И в нем мгновенно детвора,

Нашла альтернативу лазилкам,
Межгалактический ковчег,
Своим стволом на крышу «уазика»,
Оно упало, человек,

С глазами, впрочем, безобидными,
Звонил кому-то битый час,
А после – люди с бензопилами,
С ковчегу прогоняли нас,

И пахло деревом растерзанным,
Гудел балтийский ураган,
А город мой скрипел протезами,
И солнце, словно курага,

Висело в небе неприкаянно,
Сжигая Божий керосин,
И с книжкой Даниила Гранина,
Домой бежал соседский сын,

Его заучкой называли мы,
Еще ревел балтийский шторм,
Прощаясь с деревом заваленным,
Пустел волшебный космодром.

Молчали умницы и умники,
Теченьем петербургских рек
Спокойно уносило в сумерки,
Титаник наш и наш ковчег.

В поисках динозавра

Без раздумий отложив на завтра
Пресную рутину бытия,
Отыскать пытаюсь динозавра
В мире, что когда-то потерял.

Не историк и не археолог,
Дилетант, любитель-оптимист,
До конца я не пойму, как долгод
Будет путь мой, долгод и тернист.

По колено или же по пояс,
Иногда по шею, нервный, злой,
Ежедневно продолжаю поиск
Бескультурно в свой культурный слой.

Зарываюсь с головой, на завтрак,
На обед, на ужин так и сям,

Отыскать пытаюсь динозавра.
Попрошайка, пилигрим, босяк

Я брожу в похмелье и в потемках,
И, как будто каменный топор,
Я останусь где-нибудь в потомках.
Я не следопыт и не сапер.

Под ногами ощущаю мины,
Злость, любовь, рождение и смерть,
Похороны, свадьбы, именины.
Это все и есть земная твердь.

Где-то в ней меня дождется ящер,
Где-нибудь в ущелье у реки,
И тогда – сыграю с жизнью в ящик,
И оставлю главные стихи...

Николай СМИРНОВ

Родился в 1943 году в деревне Старцево Ковернинского района Горьковской области. Окончил биолого-географический факультет педагогического института, работал учителем географии в Хохломской средней школе. В 1970–1990-е годы являлся руководителем Ковернинского и Ветлужского районов. С 1992 года работал в администрации Нижегородской области, сначала председателем комитета по полиграфии, затем директором департамента народных художественных промыслов. В настоящее время возглавляет Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области.

Организатор более ста международных, российских и региональных выставок, в том числе в Берлине, Праге, Пекине, Киеве, Минске, Москве. Под его руководством осуществлено более 40 издательских проектов, главный из которых – серия «Народные художественные промыслы Нижегородской области» «Библиотеки им. И.П. Склярова» – отмечен дипломом Ассоциации книгоиздателей «Лучшая книга, способствующая развитию регионов России». Награжден орденом «Знак Почета». Лауреат ряда международных конкурсов, обладатель звания «Топ-менеджер Российской Федерации 2006». Лауреат премии Нижнего Новгорода, почетный гражданин Нижегородской области. Живет в Нижнем Новгороде.

НИКОЛО-КЛЮЧ

* * *

Седая тихая река
Дышала ветром и туманом.
От дуновенья ветерка
Мерцали звезды в облаках,
Что плыли длинным караваном.

Луна скрывалась, вновь смотрела.
И этот бледный лунный свет
Сиял в росе. Она белела,
Как горсть рассыпанных монет.

А в камышах вода плескалась,
Густая темная вода.
Мне в этот вечер показалось,
Что мы придём опять сюда.

Живая вода

Просветленные зори
Встали в чаще берез.
Омут есть на Узоле,
Что не мерзнет в мороз.

В нем водица живая!
Надо вместе испить,
Коль любовь умирает,
Чтоб ее воскресить.

Но не встретиться вместе
Нам с тобой никогда.
Тихоструйная песня –
Голубая вода.

Родительский дом

Первый снег постоял и растаял,
За собой не оставив следа,
Воробьиная, шумная стая
Расшумелась во всю у пруда.

Потемнело немножко в природе.
Зимний сон люди скинули с плеч.
Куст калины застыл в огороде,
Струйкой дыма отпыхнулась печь.

Как давно я не видел все это,
Боль, деревня уходит под слом...
Пожалеет когда-то об этом,
Как ты нужен, родительский дом!

Покорили машиной природу,
Равнодушные к ней сыновья.
Тянут руки леса к небосводу,
Вся в бурьяне земля, не своя

Николо-Ключ

Дед однажды мне рассказывал, –
Был он стар, умен, могуч,
«У деревни Белоглазово
Есть святой Николо-Ключ.

Коль его водой умоешься,
То без всяких докторов,
Заробеешь – успокоишься,
Заболеешь – будь здоров.

И недаром люди видели
В том Ключе уже не раз:
Образ самого Крестителя
С грешников не сводит глаз.

Нечисть разная сторонится
Городецких этих мест.

Кто проедет, тот поклонится,
Перекрестится на крест.

Ты на прошлое оглянешься
Выйдет солнце из-за туч.
И в душе твоей останется
Навсегда Николо-Ключ!»

Вышивка

Как летопись читаю вышивку,
Как завещанье давних лет.
Узор продуман, четок, выношен
И многозначен силуэт.

Круг, ромб, квадрат – то солнце светлое;
Прямая линия – земля;
Волнистая – вода. Заветными
Те знаки стали для меня.

Прекрасное и совершенное
Посланье я читаю вновь.
С цветами – древо сокровенное.
То – древо жизни и любовь.

* * *

Первый снег – какая радость!
Побелело всё вокруг.
Где осенняя усталость?
Видно, в прошлое умчалась,
Год заканчивает круг.

Первый снег, в душе смятенье,
Остро чувство новизны.
И неясное волненье
От волшебной белизны.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ХУК С ПРАВОЙ, или VIVAT, МАЙОР!

Правая рука полковника была изуродована. На ней не хватало двух пальцев – указательного и среднего. Поэтому зажигалку он держал в левой руке, а искалеченной правой прикрывал огонек от ветра.

Ветер дул из-за реки уверенно и упруго, так, что бумажные стаканчики с кофе приходилось придерживать, чтобы не упали. Даже отсюда было видно, как раскачивает он кабинки фуникулера над Волгой.

Наконец полковнику удалось прикурить. Он откинулся на спинку стула и отхлебнул из стаканчика кофе.

– Дрянь! – сказал он.

Я согласно промолчал. А что еще ожидать в бумажных стаканчиках? Горячий – уже хорошо, да и то ненадолго.

Мы сидели в летнем кафе на Откосе. Солнце припекало, но ветер все равно был прохладным. За соседним столиком обосновались две девушки. Они ели фисташковое мороженое из стеклянных вазочек ложками для коктейлей и оживленно разговаривали, весело смеясь.

Словно из-под земли перед ними вырос молодой человек, как принято говорить, кавказской национальности. В последнее время в городе их стало заметно больше. А уж где девчонки без провожатых, обязательно материализуется какой-нибудь черноголовый в белой рубашке. Не спрашивая разрешения, он присел на свободный стул, заговорил, активно жестикулируя. Девушкам это явно не понравилось. Одна из них попыталась подняться, но парень удержал ее за руку. К другой придвинул ближе свой стул.

Полковник шумно вздохнул, затушил сигарету в пепельнице.

– Эй! – окликнул он кавказца. – Эй, приятель!

Тот повернулся в нашу сторону.

– Ассалам алайкум! – сказал полковник.

– Валайкум ассалам! – настороженно ответил парень.

И тут полковник неожиданно для меня заговорил на незнакомом языке. Он произнес несколько отрывистых гортанных фраз. Незванный гость поднялся, развел руками, что-то тихо сказал девушкам и исчез так же быстро, как и появился. Девушки благодарно улыбнулись полковнику. Он в ответ приподнял соломенную шляпу.

– Что это было? – спросил я.

Полковник пожал плечами.

– Могуш лелей, – произнес он, улыбаясь, и пояснил: – Я спросил его, как здоровье, ну и еще... попросил уйти.

– И он ушел?

– А ты не заметил?

– Интересно. И по-каковски вы с ним говорили?

– Он – чеченец. По-чеченски и говорили.

– Ты знаешь чеченский?

– Немного знаю, – он поднял правую руку над столиком. – Первая чеченская.

– Ясно, – кивнул я. – Наглецы. Ведут себя как дома.

Полковник ответил не сразу. Помял стаканчик тремя уцелевшими на руке пальцами и сказал:

– Дома они, поверь, ведут себя по-другому. Ну да бог с ними. А здесь мы позволяем чужим так себя вести. Разве не так?

– Так.

– Вот видишь. А что касается наглецов, так этого добра, согласишься, в любом народе хватает. Как и достойных людей, между прочим. Мне довелось таких встречать.

– Среди чеченцев?

– И среди чеченцев тоже. Вот послушай одну историю. Весьма, я тебе скажу, поучительную. Помнишь Хаджи-Мурата?

– Кого?

– Хаджи-Мурата. Повесть у Толстого так называется.

– Ну, конечно. В детстве читал. Даже, если не ошибаюсь, в школе проходили. Ты про него мне хочешь рассказать? Так этот Хаджи-Мурат все же литературный герой.

– Почему же литературный? Вполне реальный. Правая рука самого Шамиля. Но я не про него расскажу. Просто – характер. Понимаешь? У них, у чеченцев, нет компромиссов, белое – это белое, а черное – черное. И понятие о чести, как бы сказать, обнаженное, что ли... Так вот, еще до войны в Чечне стал я свидетелем одной истории, которая этому может быть свидетельством. Случай, как я говорил, из ряда вон. Молодым старлеем я служил в одном из южных военных округов, не буду называть в каком, да это и не важно. Заместителем командующего военным округом по тылу был генерал по фамилии, скажем, Грязнов. Говорящая фамилия. Бывает так в жизни. Пьяница, хам, каких свет не видывал, при этом лизоблюд и подхалим. Первым делом для него было унижить человека, особенно низшего по званию. Упивался властью, как и водкой. Больше всего любил поиздеваться над женщинами. Зато перед начальством заискивал, лебезил, не стеснялся. Короче, тип известный. Такие настойчиво ползут

и, как правило, вползают по ступенькам карьерной лестницы. Иногда довольно высоко. Глядишь, еще вчера тебе в рот заглядывал, а сегодня – уже орет на тебя, глаза выпучив. А ты ему: «Есть, товарищ генерал! Так точно!»...

Да, еще. Матерщинник был страшный. Уж на что мы, армейские, к мату привычны, но и у нас от его лексикона уши вяли. Иной человек матюгается, но как будто так и надо. Расскажет анекдот – смешно, в рифму что-нибудь ляпнет, ввернув соленое словечко, – весело. Естественно получается, живо. А у другого, когда матерится, словно грязь с языка течет. Что ни скажет, как жабу выплюнет! Такой и наш генерал был. Служивцы его, понятное дело, терпеть не могли. Но терпели – начальник.

Начальников у нас всегда терпят. По поговорке: ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак. Руководство к действию. Для подхалимов.

Я слушал полковника и думал, что таких грязных у нас как червей после дождя. Был, помню, такой – инструктор горкома партии Колотухин из идеологического отдела, который частенько меня прорабатывал за мои публикации в газете, при этом не стеснялся в выражениях. Однако с карьерой у него что-то не заладилось. Стелился-стелился, а все в инструкторах ходил. Может, не пускала «пятая графа». Или еще что. Однажды спрашивает меня, почему не ставлю в номер поэму одного старого коммуниста и известного в городе графомана о Муссе Джалиле. Трехэтажный мат. Там, говорит, все политически грамотно. Трехэтажный мат. Может быть, отвечаю, там все политически грамотно, но зато поэтически совсем безграмотно! Тут уж целый небоскреб, и этажи не считаешь. После таких наставлений казалось, что тебя окунули в дерьмо с головой. Долго не отмывается.

– Да уж, – сказал я. – Смелости не хватает. А что стоит послать такого подальше или по морде съездить!

Полковник засмеялся.

– Именно – по морде! Так и надо. Эти ребята, я заметил, из тех, что семеро одного не боятся. Ну и мы, конечно, с начальством не больно смелые.

– Это точно. И что этот генерал?

– С генералом такая история приключилась. Вот послушай. В то лето я отдыхал с семьей в военном санатории в Алма-Ате (ранее Верный) близ Медео. Главным врачом санатория был майор медицинской службы по фамилии Важаев, чеченец. Наш самодур Грязнов приехал как раз в санаторий с проверкой. Ходит по территории, пьяный не сильно, но заметно. В сопровождении главврача, конечно, и персонала. Везде выискивает недостатки. Все ему не так – газон плохо подстрижен, забор не той краской покрашен и так далее. Короче, придирается ко всякой мелочи, показывая свою генеральскую спесь.

Это бы и ладно, дело привычное. Хотя у Важаева в хозяйстве и придраться-то было не к чему. Как говорится, комар носу не подточит. Майор порядок любил, все держал под контролем, по всей строгости с сотрудников спрашивал. Персонал его побаивался, но и уважал, потому что хоть и строг он был, но справедлив. А если и требовал, то только по уставу. Но давно известно, что свинья грязи везде найдет. Грязнов находил там, где ее и в помине не было.

Передвигается медленно, пузо вперед, ругается, не стесняясь не только своей свиты, но и сотрудников госпиталя, среди которых были и женщины.

– Что это у тебя, твою мать, наглядная агитация в каком состоянии? – тычет пальцем в новехонький стенд. – Переделать!

И дальше – по матери. И опять, и опять.

Майор-чеченец молчал. Только желваки на скулах перекатывались да бледнел все сильнее.

– А это что за...? – Грязнов остановился у газона. – Мать твою...

И тут майор не выдержал. Лицо его сделалось белым, как флаг пророка Мухаммеда. Он вытянулся в струнку и громко произнес звенящим голосом:

– Товарищ генерал, прекратите материться!

Тихо стало. Казалось, замер весь санаторий. Даже птицы петь перестали. Первым очнулся генерал.

– Что? – взревел он. – Что ты сказал? Ты мне указывать будешь, твою мать!

– Я сказал, – голос майора стал ледяным, – прекратите материться! Я недавно похоронил мать...

Генерал шагнул к майору и почти уперся в него животом.

– А мне по х...! И ты, и твоя мать!

Последовало очередное ругательство.

Никто даже представить себе не мог, что сейчас произойдет. На бледном лице Важаева вдруг загорелись диким огнем глаза. Это были глаза не майора медицинской службы. Это были глаза кавказского абрека. Коротким ударом в челюсть он отправил генерала в нокаут. Тот рухнул на землю, как подкошенный, даже не охнув...

Полковник затушил сигарету.

– Вот так, – усмехнулся он. – Хороший был удар. Настоящий хук с правой. Тут бы майору и остановиться – уже этого вполне хватило бы для суда военного трибунала. Но он не остановился. Он пинал и пинал поверженного генерала и кричал с пеной на губах:

– Собака! Я тебе говорил, не матерись! Я тебе говорил, шакал, не трогай мою мать! Никакую мать не трогай никогда, сволочь!..

Как сейчас вижу – безумные глаза на белом лице майора и начищенные сапоги, сверкающие на солнце сабельным блеском. А на постриженной аккуратно траве грузное тело генерала дергается при каждом ударе этих блестящих сапог.

Наконец очухался генеральский ординарец и кинулся спасать командира. За ним – и вся свита. С трудом оттащили майора от жертвы. Какое-то время генерал лежал, не двигаясь. Мешок мешком, только с лампасами. Потом зашевелился, приподнял голову. Лица не было видно. Он закрывал его руками. Сквозь пальцы текла кровь. Его подняли, погрузили в машину и спешно увезли из санатория. На газоне лежала забытая генеральская фуражка...

– Вот такая история, – закончил рассказ полковник.

– А что майор? – спросил я. – Посадили, наверно, бедолагу?

– Представь себе, нет, – ответил полковник. – Расследование, конечно, было. Военный совет принял решение шума не поднимать. Конечно, дураку ясно, что по всем статьям майор Важаев заслуживал наказания. Тут ведь уж не просто рукоприкладство, а нанесение тяжких телесных... И кому? Вышестоящему! Посадить, безусловно, могли. Как два пальца... Но, я так понимаю, учли все – чеченец, состояние аффекта и так далее... Опять же поведение пьяного генерала, разумеется, тоже было принято во внимание. Свидетели нашлись. И «слава» его в округе была хорошо известна. Короче, не отдали майора под суд.

Помню, перед офицерами округа выступали член Военного совета и командующий округом. Не забывайте, сказал первый, этот случай никогда. Будьте вежливы с подчиненными. А командующий добавил неофициальным тоном – если не хотите получить по морде! Хорошо сказал, по-мужски.

Что касается майора и генерала, поступили так. Майора перевели в другой город начальником военного госпиталя, то ли в Рязань, то ли в Казань – не помню. А генерала – в один из центральных округов. Рассказывали, что когда Грязнов явился к командующему округом, тот не принял его. Будто бы при этом он сказал:

– Мне битые генералы не нужны!

И правильно. Кому такие нужны?.. Слух был, что вскоре Грязнова уволили из Вооруженных Сил в запас. По состоянию здоровья, наверно. Всеобъемлющая, как известно, формулировка... На том дело и кончилось.

– По справедливости! – сказал я.

– Нет. По совести! – ответил полковник, вытаскивая покалеченной рукой из пачки сигарету. – Это не всегда совпадает.

На соседнем столике одиноко стояли пустые вазочки из-под мороженого. Ветер стих и уже не раскачивал кабины фуникулера. Они медленно плыли над рекой к другому берегу. Кофе в наших стаканчиках совсем остыл. Хреновый был кофе. Его и горячим-то пить не хотелось.

ТРИ САНТИМЕТРА НИЖЕ ЛЕВОГО УХА

Серьга затоптал окурок, поднял голову. Сквозь закрытые ворота двора в щели и отверстия от выпавших сучков пробивались солнечные лучи. Они были похожи на маленькие прожекторы, в них плавали золотые пылинки.

Как в церкви, подумал Серьга. Или в зоне. В церкви лучи были теплые, в зоне – холодные, четко режущие темноту.

Ладно. Пора. Нечего раздумывать – пришел делать дело, так делай.

Выпитая натошак водка слегка туманила голову, согревала изнутри.

Он вошел в хлев. Свинья стояла в дальнем углу, с опаской поглядывая на человека. Говорят, животные чувствуют свою смерть. Конечно, чувствуют. Серьга знал это не понаслышке.

– Не кормила? – спросил он жену, хотя знал, что не кормила, и все же спросил.

– Воды до свету малость дала, – ответила женщина. Она стояла за спиной у Серьги, держа в руках тазик с дымящейся едой.

«Черт бы побрал этих баб! – подумал Серьга. – Мягко стелют, да жестко спать. Гипнозом они, что ли, владеют? Наверно. Иначе поддался бы он на уговоры жены? Да ни в жизнь! Последний раз, последний раз! – Серьга скривил губу. – Слабину дал, ничего не скажешь. А нельзя бабам слабину давать, на шею сядут. Всем это известно».

Свою скотину Серьга не резал. Был у него такой принцип, и про этот принцип прекрасно знала жена. И вот, поди ж ты, уговорила. А он, между прочим, слово себе дал, оставить промысел, завязать. Значит, сегодня он нарушит сразу два зарока. Нет, не зря сказано, что баба и черта перехитрит. Ужом свернется, а своего добьется.

– Давай сюда! – Серьга взял из рук жены тазик и сделал несколько шагов к животному. Почувяв запах еды, голодная свинья хрюкнула и доверчиво пошла навстречу хозяину. Он поставил таз на усыпанную свежими опилками землю, подумал: через пару минут желтые опилки станут красными. Скомандовал себе – все, хватит сопли развешивать!

Вдруг защемило в груди. Серьга разогнул спину, покашлял в кулак. Боль отпустила. Он потрепал свинью за ухо. Эх ты, хрюшка-подружка! Семипудовая туша колыхнулась, потянулась к тазу с кормом. Серьга усмехнулся – видно, охота пожрать сильнее страха смерти! Ему вспомнилось, как он принес поросенка в дом. Маленький, сквозь белесую щетинку просвечивает розовая кожа, упругий, как резиновая игрушка, он бегал по комнате, задорно похрюкивая. А внучка пыталась его поймать, кричала: «Хрюшка-игрушка! Хрюшка-подружка!»... Выросла подружка. Время жить и время умирать. Так устроен мир.

Три сантиметра вниз от левого уха. Не успеет и хрюкнуть...

– Ну, ты чего застыл? – раздался за спиной Серьги шепот жены.

Серьга не ответил. Привычным движением он вытащил из-за голенища длинный остро заточенный нож.

– Иди в дом! – сказал он, не оборачиваясь.

Женщина шумно вздохнула и послушно ушла со двора. Серьга злился на нее, и на себя самого еще больше за то, что смалодушничал. Теперь отступить, казалось ему, было поздно. Чему быть, того не миновать.

Три сантиметра... Как там?.. Азухенвей... Ниже левого уха... Так его когда-то учил старый еврей-резник. Его звали Соломоном, как библейского царя. Резник Соломон тоже был мудрым, хотя с виду походил больше на бродягу, чем на мудреца. С другой стороны, почему мудрецом не может быть бродяга?

Соломон хвастал, что был у своих шойхетом, посвященным в какой-то там кашрут. Серьга, конечно, знать не знал, что это за штука. Он и слова-то такие впервые слышал. Какое-нибудь тайное общество, что ли, типа масонов? Да что ему за печаль? Он сказал Соломону, что был когда-то членом профсоюза, а когда служил в армии, ему предлагали вступить в КПСС. Что же тут удивительного? Но старик возразил, дескать, это совсем иной колленкор. Может быть. Одно Серьга мог сказать с уверенностью – дело свое старик знал досконально.

– Азухенвей! – восклицал, вздевая морщинистые руки, Соломон, словно жрец перед жертвенником. – Так устроен мир, сотворенный Богом. Животные поедают друг друга, и человек со времен Ноаха, по-вашему Ноя, ест мясо животных. Один мыслитель, забыл его имя, но мир праху его, сказал, что человек есть то, что он ест. Der Mensch ist, was er isst. Я с ним согласен.

– Я тоже, – сказал Серьга. – На все сто. Мой знакомый резак пьет кровь, так он...

Соломон покачал укоризненно головой и продолжал:

– Слушай сюда, Серьга, у меня есть, что тебе сказать. Все просто. И у животного, и у человека имеется душа. Так ведь? Так. Значит, и скотину убивать надо без жестокости, так, чтобы она не боялась, чтобы боли не успела почувствовать... Ну, разве что кцат – самую малость. А знаешь, почему?

Серьга пожал плечами. Он сидел на прогретом солнцем стволе поваленного дерева, курил самосад и вполуха слушал старого бродягу-философа Соломона. Было полуденное время, и стадо, которое Серьга тогда пас, разбрелось по поляне в поисках тени.

– Я тебя научу, как надо резать скотину, – сказал Соломон.

– Так я умею, – ответил Серьга.

– Нет, не умеешь. Я покажу тебе, как это делать правильно.

– По вашим законам, что ли?

– Хоть бы и так, – отвечал Соломон. – Наши законы гуманные.

– Ну, валяй, делись опытом. С меня бутылка.

Соломон оживился. До выпивки он был охоч весьма, несмотря на всю свою религиозность. Но сколько бы ни пил, всегда держался на ногах.

– Не забудь, – он поднял вверх указательный палец. – Узел завяжи.

– Не бойсь, не забуду.

– Тогда слушай. Делай так, – начал старик. – Мысленно проведи линию от левого уха животного вниз. И коли ножом на три сантиметра ниже уха по этой линии. Понял?

– Чего ж тут не понять? Только я и без всяких линий глотку свинье перережу.

Соломон поднял руку в знак протеста.

– Нет. Так нельзя. Делай как я говорю, и ты не причинишь животному боли... Ну, разве что самую малость. И вот еще важный момент – шхита. Надо, чтобы кровь ушла в землю. Вместе с кровью в землю уйдет жизнь, потому что из земли была взята. В мясе кровь не должна оставаться.

– Это и младенец знает, – сказал Серьга.

Соломон кивнул.

– Это ты знаешь, да. Но не знаешь почему? Какая причина?

– А мне надо?

– Надо, – твердо сказал Соломон и продолжал: – У всего, что делаешь, есть причина. Ее надо знать. Чтобы понимать, зачем ты это делаешь. Может быть, тебе не нужно этого делать. И тогда не делай, откажись. Вот ты говоришь, перережу глотку. Так? Перерезать, мой юный друг, – не задача. Задача успокоить животное и убить его без боли. Лучше сказать – усыпить. Такое хорошее правило. Ты животное убиваешь безжалостно, а я его жалею.

– Все равно же убиваешь.

– Да. Но есть разница, как убить. Тебя животное боится. Умирает в страхе. Каждая клеточка его пропитана страхом. Страхом смерти. И человек станет есть мясо, наполненное этим страхом. И он будет бояться смерти.

– А ты будто не боишься? – спросил Серьга.

– Чего?

– Смерти.

Соломон помолчал, прищурясь, поглядел на солнце, улыбнулся беззубым ртом.

– Кцат. Ну, разве что самую малость!

– Вот видишь, – сказал Серьга. – Все боятся.

– Нет, – возразил старик, и лицо его помрачнело. – Не все. Я видел таких, кто не боится. И других тоже видел.

Он произнес это таким тоном, что Серьга не стал с ним спорить, хотя был убежден в своей правоте – смерти боятся все. Но, возможно, этот старый еврей, похожий на бродягу, встречал людей не от мира сего, кто знает?

– За науку! – сказал Серьга, протягивая Соломону бутылку с самогонном, заткнутую скрученной жгутом газетой.

Тот взял в руки бутылку, вытянул зубами затычку, сказал сорванным голосом:

– Лехаим! – и с жадностью припал к бутылке.

– Переведи, что ты сказал? – спросил Серьга, с уважением глядя на застывшего в позе горниста Соломона.

– За жизнь! – невнятно пробормотал старик, не отрывая губ от бутылки. – Будь здоров, значит, сынок!

Закинув голову, мудрец пил из горлышка, и острый кадык его катался по темной, поросшей седой щетиной шее.

– Э-э-э, папаша, мне-то оставь! – схватил Серьга его за рукав. – Ишь, присосался, умник!

Соломон отдал бутылку, вытер рукавом рот, проговорил:

– Таким жадным не был даже мой дедушка Изя!

И нельзя было понять – к Серьге это относится, или к нему самому.

...Серьга потрогал большим пальцем левой руки лезвие ножа. Хоть брейся. Сколько жизней, если верить Соломону, отправил он с помощью этого ножичка в землю? Сколько душ загубил? Кровь уходит в землю, а с ней душа, жизнь... Душа живая... А у человека? Куда она уходит после смерти? На небо? Что там?

С некоторого времени Серьга думал об этом. Особенно после того, как сходил по просьбе жены в церковь. Было так. Где-то с год назад у него вдруг появилась одышка. Взойдет на крыльцо и глотает воздух, как рыба на берегу. Измерил ему местный фельдшер давление. Оказалось, высокое, а пульс чуть живой – сорок шесть ударов в минуту.

– Мало, – сказал фельдшер.

– Больше нету, – ответил Серьга.

– Не до шуток, – строго заметил фельдшер и выписал направление в областную больницу.

В больнице оробевшего в непривычной обстановке Серьгу по-разному обследовали, даже сделали коронарографию и в конце концов зашили под ключицу кардиостимулятор. При выписке врач рекомендовал ему бросить курить и как можно меньше употреблять алкоголь. Серьга пообещал, зная, что не выполнит обещания.

Домой он вернулся веселый и довольный. Одышку как рукой сняло, пульс колотился под рукавом рубахи по-молодому. Можно было на глаз удары считать, что Серьга и демонстрировал приятелям за доминошным столом.

– Я теперь как робот – на батарейке живу, – с гордостью говорил он.

– А выпивать тебе можно? – спросил с надеждой в голосе сосед Коля, по прозвищу Не Пролей Капельки.

– Даже нужно! – отвечал Серьга. – Без спиртного батарейка не работает, ржавеет.

Все засмеялись.

– Врач посоветовал. Чтобы, значит, бляшек не было. Хора... Хлора... Короче, стеариновых.

– Холестериновых, деревня! – со знанием дела поправил Серьгу другой сосед – Борис, который в медицинских вопросах, что называется, собаку съел, потому что лично перенес инфаркт миокарда. Правда, не обширный, что, по правде говоря, сути никак не меняло.

– Вот это да! – с восхищением и завистью в голосе произнес Коля. – Мне бы так – двести грамм по рецепту врача! Ежедневно!

– Перебьешься, – строго сказал Борис. – У тебя нет стенокардии.

– Чего нет, того нет, – огорчился Не Пролей Капельки.

Вот после больницы-то и приступила Валентина к Серьге, чтобы он сходил в церковь.

– Все ходят, а ты, как бирюк сиволапый, без Бога живешь! – ворчала жена. Сама она ходила на службу каждую субботу вечером и в воскресенье утром.

Серьга показывал пальцем на угол с иконами и отвечал:

– Вон Бог-то! Как же я без Бога живу? С Ним, и даже в одной комнате.

– Ну что ты мелешь! – возмущалась Валентина. – Побоялся бы так-то говорить! С Богом он живет! Бог – в церкви.

– А я думаю, что Он – везде.

Валентина задумалась. Пожалуй, Серьга прав. Но ведь церковь – дом Божий? Так батюшка учит.

– Молиться надо в церкви, – уже спокойней сказала она. – Грехи исповедовать.

– А какие у меня грехи? – удивился Серьга.

– Ты у нас безгрешен, выходит? – язвительно проговорила Валентина. Серьга смутился.

– Ну, не то чтобы...

– Вот! – обрадовалась жена. – А чего не знаешь, тебе батюшка подскажет.

– Он-то откуда мои грехи может знать?

На минуту Валентина задумалась.

– Значит, может. На то он и священник.

Точила она Серьгу точила, и наконец он сдался. В Великий четверг они вместе отправились в храм. Валентина пост держала, готовилась к причастию, а мужу варила отдельную еду, скромную – поститься Серьга категорически отказался.

После беседы со священником Серьга вернулся домой задумчивый.

– Ну что? – спросила жена.

– Ничего, – ответил Серьга хмуро.

– Сказал тебе батюшка грехи?

– Сказал.

– И что?

– Все! – отрезал Серьга. – Не твое дело.

Валентина обиделась.

– Я по-хорошему, а он...

– Ладно, – Серьга снял белую праздничную рубаху, натянул свитер. – Поговорили просто.

– Про что поговорили-то? – опять стала допытываться Валентина.

– Про палача.

От удивления у Валентины открылся рот.

– Про что? Про кого?

– Про палача. Я спросил батюшку, как палач исповедуется и причащается?

– Какой палач? Ты что, Серьга? Сейчас палачей-то и в помине нету.

– А раньше? Они ведь, поди, все с детства крещенные были? Значит, в церковь ходили, исповедовались, так?

– Ну, так, наверно.

– А потом людей мучили, головы рубили... Так?

Валентина с недоумением смотрела на мужа.

– Ты, Серьга, уж совсем того! Палачей каких-то выдумал. Ну при чем тут палачи?

Серьга махнул рукой.

– Вот и батюшка не понял... Ничего. Так я... Не бери в голову. Так...

С тех пор Серьга стал задумываться о жизни и смерти, вспоминал Соломона («...и тогда не делай этого, откажись...») и, действительно, все чаще отказывался от калыма, ссылаясь на болезнь. А вскоре и вообще объявил жене, что больше не будет резать скот.

Старее, подумала Валентина. Возражать не стала, сказала только:

– Проживем и так.

Наступила осень, и надо было колоть свинью. Валентина начала уговаривать мужа, дескать, больше некому, а сосед Коля, который тоже время от времени подрабатывал резакон, как раз запил.

– Ну, Серьга! Сделай доброе дело, прошу. А? В последний раз. Что тебе стоит?... – она заплакала. – Сам подумай... Чай, не переломишься? Мясо, однако, ешь...

И он согласился. Не мог Серьга с детства выносить женских слез. Валентина знала об этом. Теперь вот сидел на корточках в хлеву

возле свиньи, зажав в руке свой старый испытанный нож, и не мог ничего сделать. Лучи холодного солнца, пробивающиеся в щели ворот, сюда не проникали. Было темно. Никто не смог бы увидеть его смятения.

...В детстве Серьга не отличался жестокостью. Мальчишки мучили кошек, убивали птиц, надували через соломинку лягушек; он участвовал в этих забавах только как зритель. Заводилой был Вовка по прозвищу Тарзан, парень, что называется, без тормозов. Он запросто мог плюнуть в учителя, если тот справедливо ставил ему двойку за невыученный урок. В драках Тарзан совсем терял голову, бил противника руками и ногами до тех пор, пока его не оттащат от жертвы.

Бывало, поймает этот Тарзан в траве выпавшего из гнезда грачонка, ухватит за лапу и раскручивает над головой наподобие пращи. А потом швырнет изо всей силы. Грачонок летит, а лапка-то в руках у Тарзана остается. А он ну хохотать!

Ни за какие коврижки Серьга не стал бы так делать. Его даже подташнивало, когда он смотрел на вырванную лапку, и хотелось врезать Тарзану в ухмыляющуюся рожу. Но то ли смелости не хватало, то ли внушал ему, да и всем мальчишкам, Тарзан какое-то неосознанное уважение, но они стояли как вкопанные и смотрели, то на Тарзана, то на небо, где совсем низко, почти над головами, кружились и громко кричали растревоженные птицы.

По сути, Серьга был добрым мальчиком. Но жизнь, как известно, бьет по голове, не разбирая, кто добрый, а кто злой. В число любимчиков Серьга уж точно не попадал. Отец его рано умер. Мать начала выпивать и вскоре привела в дом сожителя, который почему-то сразу невзлюбил пасынка. Это был человек пьющий. Он нигде не работал, строил из себя блатного, вкрапляя в речь жаргонные словечки, хотя едва ли даже видел настоящих блатных, разве что в кино. Он избивал мать, издевался над Серьгой. За любую провинность сек мальчишку нещадно.

Серьга терпел и, забившись в угол, волчком глядел на отчима, мысленно рисуя картины мести. «Вырасту – убью», – шептал он, глотая слезы. Мать жалел, но и к ней не испытывал особой сыновней нежности, в которой она, судя по всему, и не нуждалась. Несколько раз Серьга убегал из дома, его ловили, возвращали матери, и опять над головой мальчишки свистел ремень отчима.

Однажды, когда Серьге было лет четырнадцать, отчим позвал его из дома во двор. Посреди двора «на попу» стоял толстый березовый чурбан с воткнутым в срез топором.

– Бери! – сказал отчим, усаживаясь на козлы для пилки дров. – Кому сказал? Бери, слабак, топор!

В животе у Серьги похолодело.

– Зачем?

– За спросом! – отчим выплюнул прилипшую к губе папиросу. – Будешь курице башку рубить!

– Не буду! – насупилась Серьга и спрятал руки за спину. В животе громко и отчетливо стучало сердце. – Не буду! – повторил он упрямо.

– Будешь! Куда ты денешься? Не то я тебе руку отрублю! Один хрен руки у тебя из задницы растут! – отчим поднялся и, покачиваясь, пошел в курятник.

Очень хотелось убежать, но ноги у Серьги словно приросли к земле, как там, в парке, где Тарзан бросал грачонка. Он понял, что сделает все, что прикажет отчим.

Тот вскоре вернулся, держа курицу под мышкой. Это была рыжая курица с хохолком на голове. Серьга запомнил ее на всю жизнь.

– Давай! – сказал отчим.

И Серьга, против воли, послушно шагнул к чурбану. И вот тут, когда топориче легло в ладонь, его обожгла мысль – вот бы этим топором да гаду по башке! И от такой мысли, от самой возможности ее реализовать прямо сейчас, ему стало легче. Он явственно почувствовал, как будто что-то в нем затвердело. Прошел холод в животе. Только сердце яростно колотилось о грудную клетку, будто хотело вырваться наружу.

Освободив с усилием застрявший в дереве топор, Серьга повернулся к отчиму. Наверно, что-то особенное было в глазах мальчишки, что заставило мужика сделать шаг назад.

– Ты чего? – осевшим голосом спросил он. – Ты, это, пацан, аккуратней с топором, не ровен час, поранишься.

Испугался, сволочь, подумал Серьга. Погоди пока...

Много лет спустя он исполнит детскую мечту – до полусмерти избьет этого уже немолодого, нетрезвого человека прямо на могиле у матери, за что сядет в тюрьму, но жалеть о сделанном не будет никогда.

Он взял из рук отчима курицу. Курица была теплой. Она пыталась освободить крылья, но Серьга крепко держал ее, прижимая к животу. Ему запомнился глаз, ярко-желтый с черным перламутровым зрачком, похожим на пуговку возле шеи на платье одноклассницы Валентины, что сидела за партой впереди него. Как-то раз на уроке химии он растянул эту пуговку и тут же схлопотал по физиономии. С урока его выгнали, но с Валентиной он после этого, как ни странно, быстро подружился. Это у нее Серьга, начитавшись книжек про пиратов, выпросил клипсу с поддельной жемчужиной и прицепил себе на ухо. Тогда и прозвали Сережку Артамонова Серьгой. Потом Валентина будет ждать его из армии и тюрьмы, и он женится на ней.

Отчим вытащил из одного кармана штанов бутылку, а из другого граненый давно немыйтый стакан. Плеснул в стакан мутного, вонючего самогона, протянул Серьге.

– На, выпей для храбрости!

Серьга помотал головой.

– Чего ты? Пей. Легче будет. Проверено, – отчим ухмыльнулся. – Кочумай, пацан!

И Серьга выпил. Самогон огненным шаром прокатился по гортани в грудь и оттуда разлился по всему телу теплой расслабляющей волной.

Положив курицу на чурбан, Серьга крепко прижал ее к изрубленной топором поверхности. Он не раз видел, как мужики рубят головы домашней птице, и старался делать так же.

– Руку отодвинь, – сказал отчим. – Не то пальцы себе пообрубашь, увалень!

Курица замерла и только время от времени подергивала трехпалой чешуйчатой лапой.

Серьга занес над головой топор, зажмурился и ударил. Левая рука машинально отдернулась и отпустила курицу. Та расправила крылья, рванулась взлететь, но головы у нее уже не было. Она лежала на земле рядом с чурбаном. Серьга смотрел на эту голову и не мог оторваться. Хохолок был запачкан кровью.

– Молодца! – сказал отчим, поднимая с земли за крыло обезглавленную птицу. – Удалось картавому крикнуть!

В висках у Серьги стучала кровь. Он молча смотрел вслед уходящему мучителю. А правая рука все продолжала сжимать топорнице. Топор так глубоко вошел от удара в дерево, что вытащить его у Серьги не хватило сил. Наконец он вздрогнул, отпустил руку. Потом ушел за сарай, сел на землю и заплакал. Это были последние слезы в его жизни.

...По-разному доводилось Серьге убивать скотину. Но, помня наставления Соломона, он старался делать свое дело аккуратно и, по возможности, безболезненно для животного. «Ну, разве что самую малость». Серьга часто вспоминал слова старого бродяги. Так устроен мир. Это было понятно. И умничать тут нечего. Три сантиметра ниже левого уха...

Как-то раз, это было в самом начале, Серьга колот тогда свиней ударом в сердце, его позвали на калым в соседнюю деревню. Стоял ноябрь. Крепко подморозило, и выпал уже первый легкий снежок. Резать решили во дворе, для чего ворота свинарника открыли, и Серьга распорядился всем стоять тихо, иначе кабанчик не выйдет во двор. Но тот не вышел и в тишине. Тогда Серьга надел ему на голову мешок и задом вывел из хлева.

Боров оказался невелик, и его не стали привязывать за ноги, как поступали обычно с крупными свиньями. Сыновья хозяина, два здоровых парня, повалили животное на землю. Серьга с усилием отвел в сторону его левую переднюю ногу и резким ударом вонзил нож в подмышку между третьим и четвертым ребрами. Хряк пронзительно завизжал, вскочил на ноги и помчался с ножом в груди по двору к распахнутым воротам хлева. Хозяин и оба его сына бросились за ним, и только Серьга остался стоять на месте. Он знал, что скоро беглец упадет.

Так и вышло. Не добежав до свинарника, кабанчик развернулся и, по-прежнему громко визжа, кинулся назад – прямо на Серьгу, словно желая сбить с ног своего убийцу. Но тут силы его оставили, и он повалился на землю. Серьга смотрел, как подергивается рукоятка ножа в мертвом уже теле.

Тяжело дыша, подошли хозяин с сыновьями.

– Ни хрена себе, кабанец! – проговорил младший и зачем-то снял шапку. – Шустрый, зараза!

– Будешь шустрым, когда тебе пику в бок тычут! – с задохом сказал другой.

Серьга вытащил из туши нож. Обтер лезвие ветошью.

– Надо выпустить кровь, подвесим кабанеру.

– Сейчас, – заторопился хозяин. – Это мы махом! А ну, ребята!

В тот день Серьга впервые подумал, что пора осваивать другие способы забоя, такие, которые валят наповал и не позволяют хрякам носиться по улице с ножом в ребрах. Зрелище, прямо скажем, не из приятных, даже и для видавших виды резаков.

Вскоре он встретил Соломона.

Прошло много лет. Серьга набрался опыта в своем деле. Как и другие, он выпивал перед забоем стакан водки. Водка придавала твердости руке и точности глазу. И не так мутило от запаха и вида крови, стекающей в таз из перерезанной глотки животного. Вот к этому Серьга привыкнуть до конца так и не смог. Кстати, горький пьяница Соломон никогда не пил, пока не сделает дело. В отличие от Гоши, который, перед тем как обнажить нож, всегда принимал на грудь и утверждал притом,

что водка «грудь мягчит». Серьга с ним соглашался и тоже выпивал перед работой.

Еще в самом начале он решил, что никогда не станет резать свою скотину, и неуклонно следовал этому принципу. Был у него еще один принцип – не резать крупный скот. Он никому не признался бы в своей слабости, но телят, коров и быков он почему-то жалел всем сердцем.

Тут непревзойденным мастером был молдаванин Гоша. У него имелся свой метод. Гоша все делал не спеша. Не спеша выпивал стакан самогона, причем стакан он держал манерно – двумя пальцами – большим и указательным, другие лишь касались стекла. Глядя на него, Серьга вспоминал репродукцию картины Кустодиева, что висела над комодом в комнате Валентины. Там купчиха так же, с вывертом, держит на отлете пиалу с чаем. А когда Серьга глядел на картину, то невольно вспоминал Гошу со стаканом в руке. Медленно выпивал Гоша самогон, потом, по-прежнему не спеша, выкуривал до самого мундштука папиросу «Беломорканал», непременно Ленинградской фабрики имени Урицкого. И только тогда направлялся к привязанному к столбу бычку.

Подходил к жертве Гоша сбоку, пряча нож за спиной. Нож у него был особенный, на зависть всем резакам. Он был сделан из штыка знаменитой германской винтовки системы Маузер времен Первой мировой войны. Гоша клялся, что выиграл его в карты у цыгана, и даже точный адрес называл, где это случилось, – село Великий Дальник под Одессой.

Гоша ставил нож вертикально под загривок бычку промеж рогов. Придерживая нож левой рукой за гарду, он с силой ударял правой, похожей на еловый горбыль, ладонью по навершию рукояти. Штык как в масло погружался в тело животного. Бычок падал на передние ноги, а Гоша ловким движением перерезал ему горло.

Вся процедура занимала не больше минуты. Гоша шумно выдыхал из груди воздух, скручивая кольцом толстые губы, и всегда произносил одну и ту же фразу:

– Друм бум!

Никто не знал, что значат эти слова. Не знал, возможно, и сам Гоша. Да и ни к чему было знать. Зато свое дело молдаванин делал безукоризненно, комар носу не подточит.

...Серьга отмерил на глазок три сантиметра на шее свиньи и занес нож.

– Сейчас уснешь, хрюшка! – сказал он вслух с наглой лаской в голосе.

Но тут вышла промашка. Нож-то он занес, а ударить не может. Словно кто ухватил его за руку и держит, крепко-крепко. Серьга закрыл глаза и увидел куриную голову с рыжим, испачканным кровью хохолком. И снова в груди засадило, будто наждачной бумагой по живому провели. Точно так же было, когда он последний раз согласился заколоть овцу в соседней деревне. Как и тогда, рука с ножом задеревенела, а потом, обессилев, плетью упала вниз. И сердце сжала непривычная жалость к животине. Но в тот раз он все же пересилил себя и нанес удар на три сантиметра ниже левого уха. А теперь...

Это Бог мне говорит «завязывай», подумал Серьга. Второй раз говорит, третьего не будет. Серьга смотрел на свою повисшую вдоль туловища руку, как на чужую, и не заметил, как из уголка глаза выкатилась слеза и побежала по щеке к подбородку.

Тем временем свинья, уткнувшись рылом в таз, начала есть, громко чавкая. Серьга сел возле нее на опилки. Он уже понял, что не сможет. Он не знал почему, да и не задавался этим вопросом, но знал, что не сможет. И не будет. Никогда.

Свинья наступила на край тазика и перевернула его. Жижа потекла, впитываясь в опилки, к Серьге. Он поднялся на ноги, медленно спрятал нож в чехол, привязанный к ноге за голенищем сапога. Потом вышел на улицу.

Подморозило. Солнце опустилось к невидимой за полем реке. Над крышами бань, разбросанных за огородами по пригорку, поднимался из труб к небу полупрозрачный легкий дым.

У калитки стояла Валентина.

– Все? – спросила она.

– Все, – усмехнулся Серьга и повторил. – Все.

– Заколот? – в голосе жены слышалась тревога.

– Нет.

– Почему?

– По кочану! – огрызнулся Серьга.

Он достал из жестяной коробки сигарету, закурил. Валентина подошла к нему совсем близко и тихо спросила, глядя ему в лицо испуганными глазами:

– Что ты, Серьга?

У него неожиданно перехватило горло. Он отвернулся, покашлял в кулак, сказал:

– Что за дрянь табак теперь делают!

– Серьга...

– Ты завтра Кольку позови, – перебил Серьга, пряча глаза. – Пропился уж, наверно. Он и зарежет...

– Как же...

– Уйди, Валентина! – сказал Серьга устало. – Ради Бога.

Ни слова больше не говоря, Валентина пошла к дому. Серьга сказал ей вслед:

– Пожрать свинье вынеси. Там, в тазу, мало. Проголодалась, бедолага. Валентина не ответила.

Сергей КУЛАКОВ

Родился в 1964 году в Архангельске. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Урал», «Журнал Поэтов», «Волга» и других, американской, немецкой и украинской периодике.

Живет в Ялте.

Из цикла «ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»

ЧИТАЯ БОРХЕСА

Мне давно уже хотелось написать новый рассказ. Наверное, я основательно соскучился по этим путешествиям (порой довольно коротким, иногда значительно более длинным) в сумрачные глубины воображаемой жизни, и подспудное желание странствий томило меня, как много веков назад томило одного хитроумного царя небольшого греческого островка. Желание, несомненно, было, но, к несчастью, я никак не мог придумать сюжет к рассказу. В тупиках подобного рода очень часто помогает случай или даже случайность, которая, разумеется (извините за грубую тавтологию), вряд ли случайна.

Итак, когда я в очередной раз пытался погрузиться в глубины воображения, выталкиваемый оттуда, точно пустая бутылка из воды, вдруг запищал сигнал в электронном будильнике, стоявшем на полке книжного шкафа. Казалось бы, что необычного в столь тривиальной ситуации? Только то, что до сего мгновенья капризный будильник молчал несколько лет, и такое же количество лет я не устанавливал в нем сигнал. Слегка подивившись подобному пробуждению (правда, гораздо менее эффектному, чем пробуждение спящих юношей в Эфесе), я поднялся с дивана, на котором более четверти часа напрасно пытался придумать сюжет к рассказу, подошел и отключил будильника. И тут же припомнил историю, которую рассказал мне некий человек, с которым я познакомился прошедшим летом на одном морском курорте.

Внезапно очнувшись от долгой спячки, сигнал будильника стал незначительным рычажком, подключившим к работе огромный механизм воображения. Кстати сказать, такое часто происходит во снах, когда пустяковый внешний раздражитель запускает сложный механизм сна, который разворачивается перед внутренним зрением спящего подобием

хитроумного лабиринта, а причиной этой громадной, призрачной иллюзии явилась, по сути, всего лишь небольшая крупица реальной жизни. Я записал рассказ своего знакомого, которого вряд ли когда увижу вновь. Сказать правду, кое-что в истории этой мне пришлось изменить, вернее будет сказать – дополнить, но, уверяю, никаких значительных изменений повествование не претерпело.

«...Отдыхая здесь в одиночестве, значительную часть жаркого в этом году июня, я практически ничего не делал, кроме купания в море, долгого лежания на шезлонге, защищенным от солнца навесом, размеренного обеда в близлежащем ресторанчике, а затем и ужина в санаторной столовой. Спать я ложился довольно рано, впрочем, и просыпался тоже рано, чтобы снова начать вертеть колесо размеренной, бездеятельной жизни, в которой даже непродолжительные лечебные процедуры лишь первую неделю показались мне чем-то отдельным от однообразного курортного существования, которое я вел.

Таким образом, к началу второй недели отдыха жизнь моя здесь была запечатана однообразными видами моря и гор, одними и теми же лицами обитателей санатория, строго в определенные дни и часы повторяющимися лечебными процедурами, следующим за ними купанием в море – полным бездельем, прерывающимся только ежедневным, неспешным принятием пищи и сном. Я застрял в этой внешней жизни, повторяющейся изо дня в день, точно мошка в куске янтаря. Ну, возможно, мой янтарь, в отличие от древней смолы, был не таким застывшим. Итак, пребывая пленником внешнего мира и обстоятельств, навязанных мне, в одном удалось мне ослабить те крепкие путы, которыми я был охвачен со всех сторон.

Собираясь на отдых, я прихватил с собой книжку – томик Борхеса – для того, чтобы время от времени питать свой разум духовной пищей, а не только нежить тело бездельем отдыха. Правда, первые несколько дней книжка валялась без толку сначала в чемодане, затем – на столике моего номера. Безделье полностью овладело мной, и я думал, что совершенно напрасно прихватил с собой лишний груз. Однако, как это ни странно, праздность довольно быстро надоедает, и тогда все чаще приходит мысль: чем бы занять себя в однообразии протекающих будней? Книга Борхеса подошла как нельзя кстати: краткость рассказов, лёгкость слога и глубокие мысли автора доставляли эстетическое удовольствие и пищу для обдумывания мыслей, возникающих при чтении.

Одна мысль тогда не давала мне покоя: мысль о лабиринте. Вернее, то, что мне никогда не доводилось бывать в этих запутанных, рукотворных сооружениях. Я родился и вырос в небольшом городке, затерянном на плоской равнине (такой плоской, что и спрятаться было некуда: и от непогоды, и от внимательного взора местных жителей). Детство, юность прошли там, но и в дальнейшем приходилось нередко возвращаться. Иногда даже не совсем понимаю – зачем. Неудача при поступлении в университет – понятно, внезапная смерть матери – тоже, болезнь и смерть отца – да. Ну а все остальные возвращения, даже после того, как продал небольшую родительскую квартиру? Впрочем, я не об этом...

Город, в котором я теперь жил, можно было бы приравнять к лабиринту (Борхес, наверное, так бы и сделал), но если тебе уготовано долго где-нибудь жить, даже лабиринт становится домом (кажется, об этом,

пару дней назад, я и прочел в одном из рассказов Борхеса*). Время от времени это нагромождение домов, паутина улиц, подталкивали меня к довольно избитому сравнению с хитроумным изобретением гениального разума Дедала. Впрочем, мысль говорит одно, а чувства никак не хотят соглашаться с этим.

До сих пор мне не удавалось побывать внутри изворотливых изделий, тщательно продуманных и искусно выполненных умелыми человеческими руками. Вряд ли я одинок в этом, однако большинство подобных людей не только не скорбят по данному поводу, да и вообще не думают об этом. Ну а мне что за шлея попала под хвост? С одной стороны было почти безразлично, но с другой – немного обидно: хотелось изведать чувства тревоги, беспомощности, затерянности и полнейшего одиночества, возможно, даже почувствовать холодящий изнутри страх, а ещё – испытать восхитительный ужас путешествия по узким пространствам рукотворного чуда.

Лежа в шезлонге, под навесом, защищавшим от жаркого солнца юга, я каждый день ступал в лабиринт, который год за годом создавал почти ослепший аргентинский писатель. Он возводил свой изошрённый лабиринт из слов, а мне это сооружение казалось таким незамысловатым – стоило лишь закрыть книгу, отделив страницы, сегодня прочитанные мной, подсохшим стебельком – и я легко покидал его. Наверное, я был слишком самонадеян. Ещё я размышлял о том, что когда-нибудь смогу посетить настоящий лабиринт, ощупать руками его холодные, мрачные стены, а пока чтение томика рассказов Борхеса было единственным развлечением среди однообразных дней моего ленивого отдыха...»

Здесь оборву повествование моего мимолетного знакомца, потому как далее ничего любопытного он не сообщает. Не удивлюсь, если услышу вдруг недоумённое восклицание: к чему вообще этот странный рассказ? Сначала и мне он напомнил краткий сон в летнюю жару: такой же тяжеловесный, такой же бессвязный и пустой, и все же мне удалось нащупать в нём тонкую ниточку, которая позволила в дальнейшем выйти на одну любопытную мысль. Если помните, человек был раздосадован тем, что ему не удалось побывать в настоящем лабиринте, а ещё мимоходом он сообщает, как время от времени приходится зачем-то возвращаться в городок его юности и зачастую в этих странных возвращениях он не видит никакого смысла. Ну что ж, досаду сполна оставим ему, а вот со вторым сообщением попробуем разобраться.

Если принять высказанную, кажется ещё в XIX веке, мысль о том, что человеческая жизнь есть не что иное, как лабиринт, всё тогда, несомненно, проясняется. Заблудившись внутри своего лабиринта, человек начинает кружить и возвращается к тем местам, где уже бывал однажды. Мой знакомец и не подозревал, что давным-давно затерялся в громаде своего лабиринта, то и дело натыкаясь на городок своей юности, который как будто подсказывал о его плачевном положении, но ему так и не удалось разгадать этих подсказок. Ещё бы, огромное трудно разглядеть, когда находишься рядом, и почти невозможно, если вдруг очутился внутри...

Каждый лабиринт имеет свой вход, свой центр и свой выход. Эти условия, конечно же, подходят и для лабиринта жизни. Кажется,

* Хорхе Луис Борхес. «Дом Астерия».

тот же мудрец, который изрёк, что жизнь – это лабиринт, дополнил свою мысль другим умозаключением: центром лабиринта жизни является смерть. Быть может, это сказали его последователи... Позволю себе не согласиться. По-моему, рождение – это вход, а смерть всего лишь выход из перепутанного лабиринта жизни. Думаю, Борхес непременно бы добавил: как знать, быть может, этот выход является входом в следующий лабиринт.

Но что же тогда сияет внутри сумрака? И отчего далеко не каждый в силах добраться до этого сверкающего центра или хотя бы увидеть его далёкие отблески? Гораздо чаще человеку приходится покинуть сумрак своего лабиринта, точно как мой знакомец, лежа на шезлонге у теплого моря, закрывал томик Борхеса.

Эпилог

Не успел я дописать рассказ, как внезапно прогремел гром, и небо заволокло тучами, которые грозили пролиться сильным дождем. Однако дождь так и не пошел; тучи вскоре рассеялись, и окрестности озарило мягкое вечернее солнце. Мне этот пустой звук грома напомнил о трезвоне будильника, и, связав их вместе, я подумал: если взбалмошные звуки будильника начали мой рассказ, отчего бы звуку грома не закончить его? А ещё подумал о том, что если звуки электронного механизма стали как бы началом сна, то громоухание механизма небес вполне бы подошло для пробуждения.

ЖЕЛАНИЕ СОЗДАТЕЛЯ

Один автор упоминал как-то в своем рассказе устами героя, замыслившего путешествие на священную гору, что смертные, дерзнувшие проникнуть в тайны богов, рискуют либо своим рассудком, либо зрением. Какая тонкая аллюзия: сам автор, обладавший чрезвычайно обширными и глубокими познаниями, к тому времени ослеп.

Возможно, мне только кажется, и никаких связей здесь нет. Что ж, ладно... Впрочем, усматривать в подобных совпадениях вульгарные случайности можно, пожалуй, у кого угодно, только не у этого тонкого мастера. Он не был первый, кто угадывал в ущербах плоти, нанесенных не по человеческой воле и действию, печать божественных проклятий или же милостей. Кто знает, кто знает: не переплетены ли эти милости и проклятья воедино, ибо, только освободившись от довлеющей реальности, можно осознать, какие божественные милости таятся за смутной личиной проклятий.

Принимал ли он собственную слепоту как милость? Как преподнесенную милость освобождения из-под власти окружающего мира с его здравым смыслом, с его отчетливо-зыбкими короткими днями и невыносимо длинными, гнетущими ночами, напоминающими репетицию смерти? Думаю, да. Всё это (что он вернул, подобно Господу, своему напуганному герою в рассказе) в жизни Создатель отнял у него, но взамен, взамен преподнёс куда больший дар: творить, создавать свой

мир, населять его, подобно тому, как Он населил нашу скорбную планету. Плодитесь, – говорит Господь; и не остается пустым желание Его, как и желание автора не оставляет пустынной придуманную им жизнь.

В рассказе герой пробирается в то священное место и уносит с собой несколько камешков. Это обыкновенная галька, гладко обточенная водой. Неясно: морские камешки или речные. Неясно как они попали на вершину горы, как ими оказалась набита расселина в земле, откуда взял их герой. Для нас это неважно, для него тоже. Но оказалось, это не простые камешки. Они не тяжелы, они гладки, удобно умещаются в ладони, они не поют дуэтов с комьями глины, они постоянно множатся. Строптивные камешки. То их больше, то меньше... То вдруг, неведь куда, почти все пропадают, то умножаются прямо на глазах. Большой частью умножаются. Потом их количество вновь идет на спад. Как? Непонятно. Умножение было их целью? Скорее всего, нет. Это была таинственная игра, придуманная автором, чтобы привести героя к неожиданному финалу. Автор вселяет в творение своё страх к тому, что может случиться. Герой не знает, что это может быть. Кажется, автор – тоже, но он начинает понимать: для чего писал свой рассказ. Герой становится перевернутым, кривым зеркалом его самого. Автор принимает проклятие-милость. Герой, испугавшись неведомых, грозных сил, расстается с ними, отдав камешки странному, нищему, слепому старику, и остается с прежними привычками, со здравым смыслом, с обычной своей жизнью. Автор знает, что ужаснее. Герой – пока нет.

Мне приходит странная мысль: этот загадочный, слепой нищий и есть автор. Он сознательно ввел себя в нить повествования, сделал себя персонажем собственного рассказа, чтобы испытать героя, и когда тот отвергает пугающий дар, возвращая его, автор произносит свой приговор. Похоже, он использовал ветхий приём другого слепого поэта, который позволял богам помогать герою в его долгих странствиях. Теперь с прежними богами дело обстоит гораздо сложнее. Автор знал об этом, но его ожидало в темных путешествиях по обратной стороне потухшего зрения великолепное озарение: он и есть всемогущий бог для своих созданий, творя тем самым глубину направленных друг на друга зеркал, в которую его всегда влекло.

ТРЮК

Я нашел книгу. Где? Не помню.

На обложке нет названия, нет имени автора. Пустая обложка. Темно-зеленая или темно-коричневая? Да, скорее темно-коричневая, или нет – просто коричневая. Коричневая, шероховатая обложка, как на истрепанной книжке из детства...

Форзац, фронтиспис, титул книги – пусты. Нет, это не совсем так. Они отсутствуют. Вернее будет сказать: форзац все-таки есть. Чистый, белый... Далее следуют такие же чистые, такие же белые, такие же пустые листы. Они менее плотные, но это, пожалуй, единственное, чем они отличаются.

Наконец, пролистав несколько страниц, вижу надпись. Она не напечатана, она написана чьей-то рукой. Надпись – строка за строкой – тянется до конца страницы, за ней – ещё такая же страница, и ещё... Потом надпись обрывается. Не могу вспомнить: на середине, ближе к началу, ближе к концу или же вместе с поставленной точкой.

Помню: всё написано на непонятном языке, но отчего-то я умею прочесть. Правда, смысл прочитанного немедленно ускользает, но остается ощущение удовлетворенности. Мне хочется, очень хочется, продолжить написанное (верно, всё же мысль в этом тексте не закончена, да, не закончена...). Я беру ручку. Откуда взялась ручка? Не знаю, вот она в моей руке. Я пишу, пишу...

Чистые, белые, пустые листы заполняются. Я знаю, что мне нужно написать, но не понимаю того, что уже написал. Письмена – даже те, которые только-только вывела моя рука, мои сложенные щепотью пальцы – становятся недоступны моему разуму. Едва я отрываю перо от бумаги, смысл написанного ускользает. Это ловушка. Несомненно! Каким образом я угодил в неё? Не знаю. Откуда мне знать? Я не знаю, не знаю, не знаю... Что-то происходит... Я не понимаю. Я этого не хочу, но если это происходит, значит, оно – превыше моей воли, меня самого; значит, оно существует отдельно от меня, и может меня поглотить, уничтожить или совершить со мной то, чего я не хочу. Я этого не хочу...

Вместе с раскрытой книгой, которую сам же и покрыл загадочными письменами, я оказываюсь перед зеркалом. Откуда взялось зеркало? Не знаю. Я вижу перед собой отражение, которое держит в руках отражение раскрытой книги, в которой отражаются письмена. Я могу, могу их прочесть! Я вижу: знаки в зеркале начинают меняться, преображаясь в понятные мне буквы, точно сбылось чудесное заклинание. Начинаю читать отраженные письмена; читать, ставшие теперь понятными слова, предложения, страницы...

Очень скоро понимаю: книга, которую держу в руках, рассказывает обо мне. Или отражение надписей повествует обо мне, а сама книга (загадочный её текст), если подойти к другому зеркалу, откроет вдруг нечто новое, чего я не могу предположить? Кажется, это начинает волновать, беспокоить, тревожить меня...

Я просыпаюсь. Я учащенно дышу. Я чувствую себя в смятении.

Что если в следующий раз трюк с исчезновением из сна не удастся исполнить?

Мария БУШУЕВА

Прозаик, критик. По первой профессии психолог. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литинститута им. А. М. Горького.

Автор нескольких книг прозы, в том числе романа: «Отчий сад» (М., 2012), а также публикаций в журналах «День и Ночь», «Литература», «Московский вестник», «Алеф», «Москва», «Урал», «Дружба народов» и других. Стихи переводились на французский язык.

Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2017)). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

(Четыре рассказа)

ВАСЯ И МИЛЛИОНЕР

Надо сказать, что по странному стечению обстоятельств миллионера тоже звали Васей. Правда, был он лет на двадцать моложе Васи шестидесятитрехлетнего, который так за свою жизнь и не обрел отчества.

Это потом гуру Борисыч, который эту историю нам и рассказал, заметил, что вот всякие там совпадения, повторения и синхронные события еще Карлом Густавом Юнгом описаны. Но даже он, то есть сам Юнг, не смог под них подвести убедительную и доказательную теорию. А у меня, говорит, такая теория есть: когда в силу вступают совпадения, значит, человек попал в свою колею, иначе синхронность событий и всякие так психологические и событийные повторы и параллели – это знаки судьбы. Они проявляются иногда внезапно, из тонкого плана, из Книги судеб, как легкий просвет сини сквозь сплошные тучи обыденности. Умный Борисыч, ей-богу.

И выходит, судьба была у бывшего шофера из близгородской деревеньки встретить свое альтер эго в лице другого Васи, и встреча их – как столкновение двух бильярдных шаров при умелом ударе – каждого определила в свою лузу.

А умелый этот удар произошел в ясное сентябрьское утро, когда душа опять рвется поверить, что лето еще не миновало, когда так весело мчаться по объездной дороге в свой многометровой загородный дом (в виде замка, разумеется), глядя в тупо стриженный затылок своего охранника, (это, как вы понимаете, уже мысли второго Васи), когда в кармане несколько банковских карт, автомобиль ведет личный шофер (не Вася, а Серега, парнишка простой со столичной окраины), а рядом с ним морда

отвратительная, но необходимая – личный охранник Феликс. Это кличка у него такая, причем уже новая, данная ему Васей-миллионером. До этого его звали (у другого хозяина) Фред. А настоящее его имя кануло в Лету вместе с суровым младенчеством, когда он, поднимая голову, видел потрясающей красоты факел нефтеперерабатывающего завода и знал от отца работяги, честного и мирного человека, пьющего в выходные и вкалывавшего всю неделю, что самый главный дядя на земле – это директор завода, но и он, простой работяга, человек уважаемый и портрет его красуется на Доске почета. Феликс-Фред мечтал быть нужным директору, представляя и свой портрет на доске – справа от главных ворот завода рядом с портретом отца.

И нужным стал. Только в другую эпоху и другому директору. Впрочем, то время, время своего отца, Феликс-Фред как-то мало и помнил: ему было всего пять, когда ржавый корабль страны налетел на айсберг перестройки, вследствие чего и развалился, успев выпустить из себя несколько спасательных шлюпок. Сразу можно было от этого с географическим пятном на ленинской лысине такого ждать, за кружкой пива жаловался отец, почитывающий порой газеты. Феликс-Фред грыз сушки и не понимал, кого тот имеет в виду. И сейчас, косясь на светящиеся ухо лысого шофера, вдруг вспомнил этот жалобный вопль своего отца и мельком озадачился: с картой на голове? Родимое пятно что ли? А вроде точно, был еще какой-то президент до Штирлица... Давно был, в самом начале жизни, когда Феликс-Фред пошел в школу. Можно было, конечно, поинтересоваться у шефа, но тот не поощрял личных бесед. А злить его не хотелось. Однако непонятное в башке зудело, зудело и хотело вырваться хоть как-то – будто навозная муха, залетевшая в комнату, скользила мысль по внутренне стороне черепной коробки, жужжа натужно, беспокойно. И тут-то и подвернулась эта бабка. Ну, бабка как бабка. Яблоки у нее красные. Как с картинки.

– Останови! – приказал шеф.

Давно нужно было сжечь эту хилую деревеньку, ведь замки уже подступали почти к ее жалким домишкам. А как могут т а к и е люди, как шеф Феликса-Фреда, жить неподалеку от всякой дряни? Так охранник подумал, поскольку сам уже давно ощущал себе не отдельным от шефа человеком, у которого и родной отец доживал в заводском, еще старого времени, убогом панельном пятиэтажном бараче, нет, Феликс уже был не человеком, а собакой – верной собакой, в меру злой, не в меру преданной, – и собака в нем, увидев старую бабку, своим замызганным серо-бумажным видом унижающую великое достоинство его алюминиевого шефа, встрепенулась, зарычала – и выпустила, наконец, навозную муху из своего черепа.

Как все произошло, Феликс и не запомнил: ну, сунул он деньги бабке, засыпал яблоки в багажник и, отъезжая, уже из окна машины пальнул пару раз ей в ноги из пневматики – нет, не задел даже, он и не хотел ее ранить, он просто муху свою выпустил и преданность проявил, только и всего. Пыль взметнулась у ног, старуха ойкнула и упала. Да не оттого она упала, что в нее он попал, он и не хотел в нее попадать, просто от страха она кувыркнулась, как жалкая курица. Так нечего им здесь, рядом с богатыми, жить, вечным навозным жукам! Так он путано попытался объяснить с шефом, который вмазал Феликсу в рваное ухо и приказал шоферу: гони, бегло подумав, что, пожалуй, пора бы на месте этой старой деревеньки построить какой-нибудь бизнес-центр.

Вася увидел, как старуха его свалилась наземь, точнее, сначала он выстрелы услышал, а с утра так радостно было на душе, такой день светлый. ясный, что даже стихи сочинились:

Лето снова вернулось зеленое
И согрело одинокую душу
И сельцо наше тихое милое,
Только бы его не разрушили...

Надо сказать, гуру Борисыч всегда прав! И про параллели-меридианы человеческих судеб он здорово говорит. Ведь и миллионер Вася иногда, в минуту жизни грустную, пописывал стихи. Правда, не в духе народном, а в стиле японских хокку. И вчера вечером (вот здесь два Васи немного не совпали во времени. И это уже опять же повод для Борисыча поразмыслить – отчего параллельность временная не соответствует параллельности поэтической, так сказать). И вот вчера вечером Вася-миллионер тоже сочинил небольшое и медитативное:

Сентябрь всколыхнул мою душу
И что в ней
Одни сожаленья. Ржавая осень цепями звенит.

Старуха лежала в пыли, местная собака подбежала, попыталась вильнуть хвостом, но не вильнулось – и, опустив морду, она лизнула старую морщинистую руку. Жива, значит, раз пес не забыл, немного отлегло у Васи от сердца, он доковылял до своей жены, хоть и старше она Василия на восемь лет, уже семьдесят справила, а весь дом на ней держится. Она ему, не очень-то путевому, как мать.

Старик-сосед шел мимо.

– Слышь, стреляли, опять, небось, эти балуют, – начал было он, но, увидев лежащую старуху, отступил на несколько шагов.

– Чего это с ней?

– По ней пальнули

– Неужто уби...

– Да нет, вроде не попали, в обмороке она, нужно врача.

– А кто? Эти?

– Кому ж еще! На «мерседесе» своем мчались, вот и пальнули ..

– От скуки выходит...

– Если помрет моя бабка, все их замки пожгу!

Антонина Трофимовна хоть и выжила, но с постели не поднялась: инсульт, объяснили врачи, другими словами, удар.

– А встанет? – с надеждой спрашивал Василий, направляя свой вопрос прямо в зрачки врача, отчего тот начинал нервно тереть глаза. – Встанет?

Через полмесяца приехала дочь Василия, Тамара. Старую Антонину она не любила: та была второй женой ее отца, а Тамара – дочка от первой, Оксаны, которая давно сама ушла от непутевого Василия к инженеру и дочку с собой забрала.

– Сдай в больницу, – сказала Тамара, кивком головы показывая на лежащую. – Ходить кто за ней будет? Ты? И так уже вонь в хате.

Мать Тамары, Оксана, сама из-под Харькова, вот и дочь до си пор их деревенский домишко величает хатой

– За больницу теперь платить надо, да и смотрят за такими старыми там плохо. Мол, пожили, и хватит.

– А что, не так? – усмехнулась дочь. – Давно я тебе говорила: продай-те дом и участок богачам и квартиру себе в городе купите! И ничего бы не было. Они вас тут всех скоро перебьют с вашими козами и курами. Им строиться негде – уже их ограда вон видна... По телевизору сказали – бизнес-центр здесь будет. Глупые вы люди деревенские!

– А ты какая?! – не выдержал он. Не пожалела дочь его старуху и его, замучившегося с уходом за лежачей, а только гонор свой и холодное сердце выказала. Ну ее в пим дырявый.

– Такая, такая есть! – хмыкнула она и, оглянувшись на больную, осеклась. – По-моему... она...

– Зачем ты вообще приехала? – крикнул он, и голос его вдруг будто треснул, и стали разламываться слова: гласные вытекали из них, как смола, застывая на весу, сначала звук «а» выпал из слова, потом вдруг округлился и, оборвав свою протяжность, повис, как застывшая капля, за ним так же выпал из слова звук «о», потом «е», «и»... И слова, распавшись и потеряв гласные, сухо потрескивали: «тб нчг здс ннддо крм блк блк»....

Он понимал, что говорит: «Тебе ничего здесь не надо, кроме яблок», но дочь вдруг испугалась этого распадающегося скрипа, шуршания и потрескивания слов, глаза дочери наполнились сначала слезами, потом ужасом...

Он все-таки нашел его: бывшего летчика, списанного, но по-прежнему горевшего страстью летать. И еще один всплыл откуда-то, весь зеленый, – который приворовывал из соседней военной части. Если есть сильное желание, великий то есть замысел, заверил, то и материал найдется, не бойсь, дед!

И сам Вася будет с летчиком в кабине.

Только бы доктор Борисыч, про их план не пронюхал и не помешал. Больно уж мозговитый, прям Ленин.

ЗАЙКА

Их было два брата: старший семилетний, Славка, симпатичный, черноглазый, всегда улыбчивый, и младший – пятилетний Мишка-зайка. Говорил он так: «я пппп-шел с мммой». То есть множил согласные и проглатывал гласные – в общем, говорил с трудом. Славку все обожали, он был заводилой в дворовых играх, а Мишку только снисходительно принимали и терпели как Славкиного брата, хотя любимое Мишкино занятие мало кому из детей нравилось: он отрывал пойманным мухам крылышки и с удовольствием смотрел, как ползают они по дну его большой стеклянной банки. Эту банку он приносил и ставил на край песочницы, вызывая у меня, четырехлетней, содрогание...

А потом он заболел коклюшем, и все родители запретили своим детям с ним играть: Мишка в полном одиночестве день за днем проводил в песочнице со своей банкой, по дну которой ползали очередные мухмутанты, и захлебывался кашлем.

До этого испытывавшая к Мишке только отвращение, я внезапно почувствовала к нему, такому маленькому, жутко кашляющему и одинокому, сильнейшую жалость и, нарушив запрет мамы не общаться с «больным мальчиком», подошла к нему и заговорила. Он поднял голову, на минуту оторвавшись от созерцания копошащихся в банке полужуков-полумух, и спросил: «Нннндо чччч?»

– Что ты сказал? – переспросила я.

– Ггггврю нннндю чччччего? – на мой жалостливый взгляд его глаза ответил острыми вспышками ненависти..

Коклюшем я не заразилась. Но через неделю, когда карантин с Мишки был снят, он, бегая по двору вместе с мальчишками, поднял с земли половинку кирпича и зло кинул в меня, прыгающую по клеткам «классиков» на асфальте. Я успела закружиться на месте, точно волчок, и кирпич только содрал кожу: было много крови, но сотрясения мозга, к счастью, не оказалось. Врач скорой помощи забинтовала мне голову; именно в это время по телевизору какой-то военный хор исполнял песню о Щорсе:

Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве...

Ощущая себя Щорсом, я сразу после отъезда скорой вышла во двор..

У подъезда сидела мать Славки, а Мишка бился в истерике и рыдал у нее на руках.

– Все рррррвно я ее уууууубью! – кричал он. – УУУУУубью!

Мне стало очень страшно, но я молча прошла мимо.

Вскоре мы переехали. Потерялись в прошлом и Славка, и Мишка, и весь старый двор.

Но через два десятилетия, проезжая по улице, где стоял дом моего детства, я вдруг остановила машину и вышла. Двор показался мне маленьким. Дома – облупленными. Бывшая соседка, когда-то цветущая и полная, теперь почти старуха, вышла из подъезда с сумкой – видимо, направляясь в магазин, – и меня не узнала.

– Простите, – остановила я ее, – здесь жили Слава и Миша, забыла их фамилию... Это было давно.

– Уехали они, – соседка не удивилась, – в ее глазах на миг мелькнули бледные огоньки узнавания, я постаралась их погасить своим совершенно чужим ответным взглядом. – Слава на вертолете летает, летчик, а вот Мишка... – Она помолчала, поджав губы и точно пожевав что-то во рту, но все-таки закончила фразу: – в тюрьме его убили. Два года назад.

Чего-то такого я и ждала от Мишкиной судьбы – и мне не было его жаль: мухи с оторванными крылышками снова поползли по краю моей памяти. Это воспоминание после встречи с не узнавшей меня соседкой стало частым и мучительным. Я не помнила лица Мишки, но черное уродливое копошение на дне стеклянной банки и мучительное жужжание преследовали меня.

Пока однажды я не услышала:

– ...не надо оглядываться...

И гул вертолета заглушил жужжание навсегда.

Кто это произнес?

ТЫ?

Нет, нет, больше никогда и ни за что, а природа всегда, точно в кино, синхронно к грусти льет дождем или параллельно к радости светит и греет... И тут все было так же с природой: первую любовь после тридцати пяти встречать полагается в первых числах августа в солнечный,

но уже чуть пахнувший осенью день, даже два-три желтых листика под ногами, правда, может, и от июльской жары слетевших, но все-таки вполне к месту, и в душе тоже: два-три желтых листика вместо того разноцветного водопада зеленого фонтана голубого фронтона и чего-то там еще, то есть вместо первой любви. Однако, признаюсь, только я его увидела, поняла, что словосочетание, обозначающее фонтан зеленый и фронтон голубой, не меньший миф, чем тот мальчик, который с задней парты мне написал записку с признанием. У него были сросшиеся на переносице брови, как будто застыла в полете чайка по имени Джонатан Ливингстон.

– Дяденька, вы кто? – хотела было спросить, когда он, улыбаясь всеми, которые и раньше были не ахти, но, впрочем, я этого не замечала, мне потом подружка сказала, когда первая моя любовь лопнула, как воздушный шарик, – у него, мол, зато зубы-то не ахти... Может, оттого я в стоматологии и пошла. А в общем, какая чушь. Ну и что? Можно заплачивать, и станут все тридцать два как у звезды – той, что не на небе, а в...

– Ты? – спросил он.

– Я.

– А я тебя сразу... – И он как-то смутился. Сразу узнал? Или сразу не узнал? И тоже обнаружил что-то не ахти? – А я тебя сразу увидел, – повторил он и продолжил: – ты шла по той стороне, у тебя походка такая же детская, как была в школе.

– Да?

– Ты немного, извини, как медведь ходишь...

М-да, подумала я, сто семьдесят восемь моих см, плечи, плаванием увеличенные вдвое по отношению к данным, так сказать, при рождении, и как медведь хожу....

– Но мне это всегда нравилось. – Он улыбнулся застенчиво. Так улыбаются на телеэкране олигархи, получая премию мира или орден за вклад. – Ты где работаешь?

– Зубы выдираю, – сказала я, – стоматолог то есть. А ты?

– У меня свой бизнес, – он снова улыбнулся. Но на этот раз не скромно и либерально, как олигарх, а жестко и саркастично, как мелкий предприниматель, которому никогда не дадут ордена за вклад.

– И чем торгуешь?

– Минералкой.

– Из крана берешь? – Я засмеялась, смягчая резкость иронии.

– Нет, иногда из скважины. – Он тоже хохотнул.

– Четверо детей?

– Нет, что ты, всего двое.

– Это не буржуазно, теперь нужно иметь две машины на одну семью, стометровую квартиру в центре, дом за городом, вклад в зарубежном банке и четверо детей.

– И те близнецы. – Он вздохнул. – А у тебя?

– Ничего из перечисленного, кроме четверых и машины.

– Детей?!

– В определенном смысле: дочь, собака, кошка и попугай.

– Стоматологи неплохо зарабатывают. – Он опять вздохнул.

– И жена должна быть с круговой подтяжкой лица.

– А муж у тебя кто? – Он как-то подергал плечом.

– Отсутствует, – сказала я, – ушел к той, у которой не как у медведя.

– Ну и дурак.

– Наоборот.

И тут вдруг он начал вспоминать, какими-то отрывками-обрывками – упавшими листочками. А вот ты а вот я а вот мы ого-го потом он ты тогда на него так посмотрела я

– Что ты? – сумела вставить я.

ты так посмотрела и я решил ты его то есть вот такая помнишь еще листья кружились и губы были соленые у меня а ты не дала тебя поцеловать почему и красивый такой я решил что ты в него в общем оттого и...

– Оттого – что? – снова сумела я

– Сбежал.

И тут я заметила, что над нами кружится кружится кружится чайка... Дело, в общем, как вы поняли, было у моря.

КАК ЛЯЛЯ ПИРОЖКОВА МУЖА ИСКАЛА

А что образованной девушке Ляле Пирожковой не радоваться жизни? Преподает второй год она химию в частной школе, где в 7-м классе, например, всего восемь учеников: один совершенно гениальный парень, один совершеннейший дебил, но папаша с большими зелеными, шесть девочек, одетых так, что если все с них снять, можно открыть VIP-магазин женской одежды. Правда, зарплата, надо сказать, не ахти какая: сейчас в госшколах больше заработаешь, но там и пахать надо будет раз в сто больше. А тут свободного времени куча, есть возможность начать устраивать и свою личную жизнь. Ляля Пирожкова исключением не была – и потому хотела себе подыскать богатенького с толстеньким кошельком. Первоначально она пошерстила всех школьных папашек: не сменит ли кто свою устаревшую половину на молодую учительницу. Однако папаши оказались несдвигаемыми или же сдвигаемые совсем не в сторону химички – хоть и молодой, но в общем-то не соответствующей всяким там моделям Барби: крупная такая черноволосая женщина с бровями как на фотографиях Буденного, героя Гражданской войны. И грудь у Ляли была как бюст Буденного на аллее революции, такие гранитные выпуклости явно на любителя. Зато ноги! Хоть и сорок третьего размера, но прямые и длинные, точно колонны. А нынче ноги у женщины важнее всего остального. Так Ляля себя утешала, выдергивая буденновские кусты. На салон красоты, где бы все это произвели с меньшими для Ляли страданиями, она денег жалела. Но весна цвела, все порхало, свирстело и опыляло Лялю чувственными ароматами. Ляля читала рассказы Куприна и злилась. Подруга ее единственная только что вышла замуж и уехала в дальние страны, а Ляля осталась одна-одинешенька, без ближайших перспектив, так сказать. И тут-то ей и попался рассказик про классную даму Наталью Давыдовну, в свободное от воспитания благородных институток время превращающуюся, ну как бы это определить помягче, нет, не в путану, так как про деньги Куприн ничего такого не сообщил, просто в искательницу сексуальных приключений. У Натальи Давыдовны, когда она выходила, закрыв лицо вуалью, на поиск очередного объекта утех, даже походка менялась, это Лялю особенно как-то впечатлило, и все мужики сразу понимали – куда она движется и зачем. Эге, смекнула Ляля, а ведь нынче только такие Натальи Давыдовны и ловят героев нашего времени, он ведь, герой, в Ленинку не зайдет, а пронесется мимо на черной ослепительности

за несколько миллионов, а тут-то, не возле Ленинки, конечно, а где-нибудь между кудрявых тополей, Ляля, подчеркнувшая черными чулками свои колонны, и проголосует. Она и походку потренировала: бедро сюда – бедро туда. Но плечи у нее были их значительно шире и такого трепетного колыхания, как, наверное, у Натальи Давыдовны получилось, у нее не вышло. Но и времена, господа, не те! Так что колонны и бюст, отозвавшись ностальгически в герою нашего времени, могут ему колыхание вполне заменить, так снова утешила себя Ляля, стиснув зубы, покупая ягуаровый бюстгальтер за четыре тысячи. В этот миг ее охватило некоторое сомнение: а надо ли тратить такие деньги, не клюнет ли, мол, герой нашего времени на чистоту и бедность? Она шмыгнула носом, сама этого шмыганья не заметив, оглянулась: по торговому залу вышагивал он, герой, с намечающимся пузом и золотыми часами на волосатой лапине. Нет. Не клюнет он на чистую бедность, не клюнет. Ляля опять шмыгнула носом (звук получился впечатляющий, даже продавщица как-то озадаченно на нее скосила глаза) и достала из кошелька деньги. Ягуаровая секс-деталь легла сначала на прилавок возле кассового аппарата. Потом красиво изогнулась, но заметно как-то скрючилась, съежилась и оказалась помещенной в картонную упаковку, а затем в пакет с красовавшейся на нем ягуаровой девицей. Девица была так отвратительна Ляле как возможная и удачливая конкурентка, что Ляля, выйдя из магазина, коробочку с бюстгальтером вынула, а пакет выбросила. Хоть и жалко было: можно было кому-нибудь в него что-нибудь поместить – для дела то есть.

И вот вечером в пятницу, обрядившись и для уверенности поколыхав перед зеркалом хоть и не бедрами, как Наталья Давыдовна, а могучей грудью, двинулась Ляля в сторону самого дорого в городе казино, жевательной резинкой заглушая запах сигареты, которую она выкурила от большого волнения. И герой не заставил себя ждать. Морда у него была волчья, зубы искусственные, но великолепного качества, на каждом просто сверкала невообразимая сумма, на его блеск затраченная, в придачу костюм шикарный, выговор торопливый, слова до неузнаваемости комкающий и выплевывающий прямо в лицо собеседнику. Он так и на Лялю выплюнул: «Поедм с мной хчу пзнкмтся!» – и Ляля пошла. Он посадил ее в машину, шоферу выплюнул: «Дмой!» И поехали. И тут Ляля смекнула, что нужно его образованностью своей поразить и поинтересовалась кошачьим, так ей казалось, а на самом деле громовым учительским голосом: – А вы читать любите? – Считать? – удивился он, приоглянувшись. Сел он возле водителя, а не возле Ляли, то есть до примитивных обниманий в автомобиле не опустился. – Читать, – повторила она, – книги? – Чттать кчно лблю у мна ест любмй пстль, – начал радостно плевать он во все стороны... И Ляля почему-то подумала, что, конечно, любимый его пстль Пелевин – как-то это бы оказалось в рифму процессу его речевыражения, в общем. Но не угадала. – Лбмый пстль у мна Тлстой, я сбе косу кпил, чтоб ксить смаму ... – Он заржал, облив смехом всю машину. Даже на стекле появились ползущие капли. – Моя жна как Анн Крнина, – он внезапно перестал хохотать и вроде даже смахнул слезу, – погбла... Мы с ней ехли, псадил ее за рль, сам вт жв остлся, Измнила мне с прдрком – влдльцм кзнино и тово-о-о! Последнее слово он не выплюнул, а пропел. И Ляля поняла, похолодев: это судьба.

Русская классика рулит.

Юриус МАРИЙСКИЙ

Родился в 1995 году в Николаеве, Украина. Окончил Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского (факультет иностранной филологии), получив диплом переводчика с английского. Работал менеджером по продажам в магазине музыкального оборудования, репетитором по английскому языку для детей и взрослых. Публиковался в журналах «Мост» (Санкт-Петербург) и «Союз писателей» (Новокузнецк). Автор сборника рассказов «Пробуждение». Живет в Николаеве.

КАРЛ

Он – одинокий, он – старый, всеми забытый, никому не нужный писатель с плешивой макушкой и больным животом. Неужели он и вправду когда-то был счастлив? В каком-то призрачном, несуществующем прошлом, где никогда не бывало холодных ночей и тошных мечтаний о том, чтоб убить... В этом прошлом он – молодой, литератор, супруг, и ни мысли о смерти, ни намёка на её ледяной, неизбежный визит. Он был успешен, читаем, любим – в год по книжке, и так тридцать лет; он засыпал и просыпался с улыбкой и с женщиной – её звали Ларой, и он не знал других женщин, кроме неё. Она вдохновляла его на рассказы, повести, пьесы, а когда родился их сын, он засел за роман. Роман назывался банально и пафосно: «Исповедь», и, возможно, поэтому он провалился.

«Как же так! – мучился в бессонницах молодой литератор. – Вещь вроде как стоячая».

Критики его распекали, разбомбили, а один господин, коллега по перу, знакомый, не то прозаик, не то поэт, некто Ч., довольно крепко стоящий на своих литературных ногах, поругал его дерзко в письме.

«Прочитал на днях ваш романчик и, честно признаться, Антон Николаевич, разочаровался в вас не на шутку. Видимо, крупная проза вам не по зубам. Лучше и дальше всякие пьески выдумывайте, рассказыки. Повести мне ваши, к слову, тоже не нравятся. Всё напыщенно как-то выходит у вас, ненатурально... Однако некоторые ещё ничего, неплохие. Вот, к примеру, та, где вы о сиротах пишете. А роман ваш дрянной, Антон Николаевич. Мне бы на вашем месте стыдно было такое в массы нести. История пошлая и сырая. Больше вам ничего не скажу. Боюсь, что если начну говорить всё, что думаю о вашей “Исповеди”, то и к утру не кончу. А у меня, знаете ли, режим. Кстати, что за название такое чудное – “Исповедь”? Уж не любитель ли вы духовных излияний Толстого?»

Знаю, вы меня не слушаете, но я всё равно хотел бы вам посоветовать... Антон Николаевич, не пишите больше романов, не стоит. Вы эдак всех читателей своих распугаете, вы эдак щелкопёром рискуете сделаться. Сердечно прошу вас, Антон Николаевич, не гордитесь, прислушайтесь. Я хоть писатель и маленький, а всё же со вкусом, а некоторые говорят, что и с талантом.

Кланяюсь, Антон Николаевич. И желаю удачи.

Ч.»

После этого письма он ещё хуже спать стал, ещё мучительней; то было тёмное пятно в его писательской деятельности. Он даже бросил писать и ушёл с головой в домашнюю суету.

«Писатель из меня не вышел, так, может, хоть отец выйдет», – думал он и возился с подгузниками.

Через две недели ему надоело играть в папу, и он принялся обдумывать новую книжку. Он поклялся перед женой и Богом, что напишет такой роман, который наделает шуму, возбудит восторги и зависть, и помнить его будут и читать десятилетиями и веками.

Клятва не оказалась бесплодной. Второй роман его вышел в свет под названием «Полночь» и принёс автору и похвалу, и гонорары. Со всех сторон сыпались письма с комплиментами и благодарностями – ему писали читатели, критики, знакомые и друзья. Ч., правда, не написал ни слова.

Антон Николаевич продолжал писать книги и купаться в золотой, сладкой славе, но пришёл день, и кончилась слава – люди потеряли интерес к его сочинениям, а ему больше не о чем было писать. С ним приключилось то, что принято называть творческим кризисом. Антон Николаевич запил и покатился ко дну. Докатившись до дна, он стал алкоголиком. Жена боролась с его алкоголизмом самоотверженно, рьяно, но побороть не смогла. Она состарилась, заболела и умерла. И остался Антон Николаевич один-одинёшенек.

«Вот он – великий писатель... – сказал он своему отражению в запятанном зеркале, – такой старый и пьяный... Тьфу!»

И он плюнул себе в лицо с таким омерзением, так чудовищно страстно, что ему тотчас же сделалось жутко и ещё противней, чем прежде. В тот день он разбил в доме все зеркала, чтоб не видеть в них свою кислую, испитую рожу.

И как же так жизнь могла испоганиться?

«Ах, Лара, если бы ты знала, как мне жаль... если бы ты только знала...»

Он пообещал надгробию Войцех Ларисы Андреевны, что прежде чем умертвить себя – бросит пить.

И вот сорок шесть дней без коньяка и без водки. Он шепчет хвастливо надгробию: «Бросил... теперь мне пора», – а сам себе думает: «Сказать сыну перед смертью “прощай” или так уйти, по-английски?»

И он решил, что лучше уйти по-английски. Незачем тревожить сына. Американцы – народ занятой.

«Лет двадцать не виделся с тобой, Николенька, – он вертел в костлявой беспокойной руке фотографию молодого мужчины, обнажившего в смелой улыбке белоснежные зубы. – И на похороны матери ты не приехал. Что ж, видно, некогда...»

Пора. Зачем жить? К чему это блеклое, унылое существование? Ни к чему. Сейчас он сядет, сочинит что-нибудь напоследок и уйдёт навсегда. Последняя история. Последний герой. Антон Николаевич задумал рассказ – на большее он уже не способен.

Со вздохом, кряхтя, уселся он за письменный стол и принялся думать. Как бы так ладно изобразить ему последнего в его жизни героя? Это должен быть юноша, непременно должен быть юноша, но злобный какой-нибудь, сорвиголова; мужчина, на худой конец, но обязательно молодой. И вот этот юноша... или мужчина... шагает по городу – улицы кругом солнечные, ароматные; красивые, довольные люди радуются дружелюбному маю, они улыбаются друг другу, смеются... Вот за тем столиком в пивном баре – крепкая мужская дружба, а на той лавочке в сквере – нежная, молодая любовь. Но как же он выглядит, этот последний герой? Нужно вкрутить в его физиономию что-нибудь гадкое, отталкивающее, какой-то изъясн...

Трудно. Писать – это каторга. И как только ему удалось сочинить столько книжек? О чём он писал в них? О ком? Антон Николаевич вспомнить не мог. Всё это было так давно, в какой-то другой, лучшей жизни и будто не с ним. Столько лет прошло с тех пор, как он усаживался за свой письменный стол, лакированный, весь в царапинах, брал в руки чёрный, иногда тёмно-серый, свежоотточенный карандаш и, словно кубик сахара в кипящей воде, растворялся – в белой бумаге с бледными голубыми полосками. И тогда он писал, писал, писал... И ничего больше не существовало вокруг – ни комнаты его, нежащейся в тёплых, вечерних лучах старого, ни верного торшера, ни любимой кошки, свернувшейся чёрно-белым комком на диване; и дивана не было, и его самого не было. Эх, золотые, утонувшие годы... Он был писателем. А теперь он никто. Существо. Комар без улыбки, дряхлый, в морщинах, сжимающий в руке карандаш, чтоб засеменить им по белой бумаге и бледным голубым полоскам и кончить свою мутную, ненужную жизнь.

Антон Николаевич вывел старательно первое тёмно-серое слово (карандаш ему тёмно-серый попался), склонился над ним, рассмотрел хорошенько и с раздражением зачеркнул. Слово было «весна».

«Фу, ну и дрянь, ну и банальщина, – ругался Антон Николаевич. – А, впрочем, плевать. Какая, собственно, разница? Всё равно помирать. Всё равно это никто не увидит».

И он опять написал: «весна», но уже не старательно, уже как попало, с какой-то особенной, ему одному свойственной, небрежностью, с какими-то крючками и завитушками. И побежал карандаш по бумаге всё дальше, всё дальше, оставляя за собой следы безобразного, только ему понятного, почерка...

Весна. Молодой человек, его звали Карл, гулял по бульвару. Это был не парижский бульвар и даже не одесский бульвар; это был просто – бульвар. А город тот был безымянным, город не нуждался ни в каком особенном имени, каждый называл его как-то по-своему. Счастливые называли его мечтательно «Городом-счастьем», больные величали едким «Городом-хворью». Карл называл город «Убийцей».

– Это Город-убийца, – буркнул себе под нос Карл.

Мимо проезжал мальчонка на красном велосипеде. Он был одет в красный костюм и красную кепку. Локти и колени его были сбиты в свежую кровь.

– Вы что-то сказали, сэр? – мальчонка бросил крутить педали и повернул шею к Карлу. Тот посмотрел на мальчонку грозно, но безучастно.

– Вы что-то сказали, сэр? – мальчонка вновь запищал своим десятилетним, девичьим голоском. Карл отвернулся от него и отошёл к дереву. Мальчонка укатил прочь.

Это было красивое дерево, зелёное, пышное, похожее одновременно и на акацию, и на каштан. Карл решил постоять в его шевелящейся, круглой тени – он знал, что отчего-то устал...

«Пока он отдыхает под деревом, я расскажу, как он выглядит», – подумал Антон Николаевич.

Молодость Карла казалась обманчивой. Ему исполнилось на днях двадцать пять лет, но лицо его был так густо забито щетиной, что никто не дал бы этому лицу меньше сорока трёх. Такая щетина бывает только у сорокалетних...

«Стоп. Почему только у сорокалетних? – замер в растерянности тёмно-серый карандаш. – Ах, всё равно».

На лбу у Карла красовался глубокий, уродливый шрам, он начинался у правой брови и заканчивался почти у левого уха. Ещё в детстве его кто-то в шутку порезал ножом. С тех пор Карл боится ножей.

Волосы у него светлые; можно сказать, что Карл – блондин, но блондинистость его будто грязная и какая-то ненатуральная. Вообще, в его волосах торчит и жёлтый, и серый цвет, так что причёска у него неопределённая – известно только, что она состоит из тонких, длинных ниток и эти нитки ложатся на самые Карловы плечи. Чёлки нет. Глаза у Карла сине-зелёные, узкие, но он часто их широко открывает. Губы отсутствуют, их похоронила та самая густая щетина, но вообще они ярко-розовые, почти женские, но не пухлые. Скулы и щёки похоронены вместе с губами – о них можно сказать только то, что когда-то они были светло-коричневые, как у людей из Латинской Америки. Карл любил загорать на крышах. Нос его касался щетины, но поглощён ею не был, это был обычный, ничем не примечательный нос. Уши Карл носил маленькие, но слышали они хорошо. Роста он выше среднего, руки и ноги тощие, живот чуть упитанный, грудь – вся в волосах. По этому поводу Карл комплексовал. Несмотря на то что он был злобным и наглым человеком, его всегда обижали шуточки, бросаемые недоброжелателями в сторону его волосатой груди. От этого Карл всегда застёгивал рубашки на все без исключения пуговицы и никогда не раздевался на пляже. Больше о внешности Карла ничего неизвестно...

«Ну ты и разошёлся, старик... Будто голую женщину описал. Во всех, кхм, подробностях. Ах, всё равно».

Карлу надоело стоять под деревом; его раздражал шелест листьев, к тому же он уже сполна отдохнул.

«Поплывать бы... жарко», – взмечталось вдруг Карлу.

И Карл двинулся в сторону пляжа.

«Сейчас освежусь, и за дело...»

У него было какое-то дело – он пока не знал, какое именно дело, но вскоре собирался узнать. А сейчас – плавать.

Бульвар давно кончился. Улица, которая несла Карла к морю, была худенькая, дома громоздились на ней крошечные совсем, но уютные. Позже Карл поймёт, что в домах этих нет ни капли уюта, потому как и домов никаких нет, ибо это не дома, а только одни раскрашенные фасады. Он наверняка сразу бы обо всём догадался, если б не женщина в короткой оранжевой юбке, вертящая пухлым задиком прямо у него под носом. Тут Карл понял, как сильно он любит женщин.

«Вот сделаю дело, и сразу в бордель – наслаждаться весной», – кольнула сердце игривая мысль.

Оранжевой юбке оказалось с ним по пути. Карл уселся удобно на своих крепких, двадцатипятилетних ногах и доверился им, как доверяются лучшим друзьям; ноги шли сами, а он упивался женщиной с пухлым задиком. Он сверлил и сверлил её своими узкими, широко распахнутыми глазами, эту юбчонку, и ему вдруг почудилось, что он непременно умрёт, если сейчас же, сию же секунду, не задерёт её – чем выше, тем лучше, и не рассмотрит хорошенечко – что же там скрыто под ней.

Карл ускорил шаг и приблизился вплотную к женщине, с которой прямо на улице прелюбодействовал в сердце своём. Он протянул руку и тотчас же почувствовал зажатую в пальцах материю – тонкую и оранжевую. Карл задрал эту юбку и ахнул: на женщине не было трусиков; на него уставились мягко два белоснежных, сладострастных шарика... эх, шлёпнуть бы их, ущипнуть... Карл вернул юбку на место и восторженно заскулил. Женщина обернулась, возмущённая, резвая, с нахмуренными бровями и румянцем на круглых щеках, и залепила Карлу пощёчину. Карл перестал скулить и залепил ей пощёчину в ответ. Женщина издала какой-то звук, похожий на стон, и зарыдала.

Подул неожиданно ветер. Оранжевая юбка вновь задралась. К Карлу вернулся прежний восторг. Женщина стыдливо попятилась, замерла на секунду, на две и убежала туда, откуда только что пришёл Карл. Карл кинулся в обратную сторону – к пляжу. Там на женщин он не смотрел, он только нырял и плавал в прохладной волнистой воде.

Возвращался он с пляжа с закрытыми глазами, чтоб не обжигать развратными талиями своё дряблое сердце. Да, сердце у Карла было дряблое. Кстати. Большое. Порок от рождения. Карл редко думал об этом.

Он собирался выпить в кафе чего-нибудь прохладительного, пожевать солёных и вредных закусок, а затем выяснить – что за дело сегодня ему уготовлено.

Карл зашёл в первое попавшееся кафе возле пляжа, уселся под зонтиком на деревянный, но вполне удобный стул, положил руки на горячий, почему-то влажный, стол и принялся ждать официанта. Кто-то крикнул ему, что официанта здесь нет, потому как это кафе; тогда Карл выругался по матери и, недовольный, ворчливый, поплёлся к стойке делать заказ.

Ему больше не хотелось солёных и вредных закусок. Ему хотелось мороженого.

– Мороженое закончилось, – растянулись в улыбке губы мальчонки за стойкой. Он был одет в красный костюм и красную кепку.

«Не тот ли это щенок, что разъезжал на велике по бульвару?» – задумался Карл.

И он тут же понял, что это не тот, потому что тому было десять лет, а этому явно не меньше одиннадцати.

– Ладно, тогда колу, – смирился, насупившись, Карл.

Он взял свою колу и принялся её без трубочки пить...

«Почему без трубочки? – недоумевал Антон Николаевич. – Где трубочка? Должна же быть трубочка. Ах, всё равно».

Вдруг Карл увидел девочку. А девочка с мальчиком. Они о чём-то смеялись и лизали мороженое.

– Смотри, дети, – сказал самому себе Карл.

Он пошёл и отобрал у детей мороженое.

– Целых две порции, – улыбнулся удовлетворённо Карл и начал лизать. Дети перестали смеяться.

Не успел Карл долизать своё честно сворованное мороженое, как подошёл к нему какой-то бугай.

– Вы обидели моих отпрысков, – это был лысый мужчина в усах.

– Да, – согласился Карл.

– Сейчас я буду вас бить, – бугай закатил рукава. Он был одет в пляжную голубую рубашку, рукава на ней были короткие, но бугай их всё равно закатил.

– Пойдите, – выставил Карл угрожающую ладонь. – Зачем же нам драться? Давайте лучше сыграем в шахматы. Я чёрными.

Карл моргнул на бежевую с разноцветными кружочками сумку, из которой торчали пачка печенья и шахматная доска. Сумка висела у бугая на плече.

Усы на лице бугая растаяли в улыбке, он развёл удивлённо руками и уселся на край жаркого, вспотевшего стола. Стол качнулся, но не грохнулся. Бугай перестал сидеть на столе.

– Как? Вы играете в шахматы? – заворковал он глубоким, озорным басом. Карл кивнул. Бугай прогнал своих детей прочь и вынул из сумки шахматы.

Они играли до самого вечера. Аж когда солнце жечь перестало, а печенье бугая прожевалось до самой последней крошки, игра кончилась.

– Вам опять мат, – гордо засвидетельствовал Карл и поднялся с деревянного стула.

Бугай схватился за голову.

– Боже мой! Двадцать шесть матов! – причитал он едва не в слезах.

Карл смерил его презрительным, насмешливым взглядом и обронил невзначай:

– Мне в грядущем году двадцать шесть лет исполняется.

Бугай зыркнул туго, с недоумением.

– Не смотрите на меня так. Я не по-французски тут изъясняюсь, – Карл поправил свою несуществующую чёлку и вызывающе хмыкнул. – Вы – слабак. И дети у вас – слабаки. В шахматы я вас обыграл, а мороженое моё растаяло. Теперь это ваше мороженое. Подарите его вашим детям. За печенье спасибо.

Карл выставил повелительно указательный палец – по столу растеклись, капая на прохладный песок, сиреневые глотки уже не мороженого.

– Мне пора. Дело ждёт, – Карл похлопал бугая по спине и зашагал прочь.

Бугай шесть секунд смотрел на капающую со стола жижу, затем понюхал её и скривился пренебрежительно.

«Нет, это я есть не буду, – подумал он. – И детям есть не позволю».

Бугай осознал, что шахматный партнёр его удалился, всплеснул в тревоге руками и крикнул ему вслед:

– Вы позвольте мне когда-нибудь взять у вас пару реваншей?

Карл остановился на мгновение, повернул коротко шею и гаркнул в ответ твёрдо, безжалостно:

– Нет!

«Всё, пора кончать этот бред. У меня уже спина затекла», – Антон Николаевич зевнул, хрустнул пальцами и принялся заканчивать свой рассказ.

Карл стоял перед высоким, кирпичным забором. В темноте он казался айсбергом или горой. Карл заметил, что над его головой растёт светлый фонарь и этот фонарь хорошо светит своим светом на кирпичный забор. И Карл понял, что забор не похож ни на айсберг, ни на гору.

Забор перелезть не понадобилось. Калитка, бордовая, не облупленная, но и не новая, оказалась открытой. Карл скрипнул этой калиткой и попал в жуткий двор. Во дворе пахло цветами, но цветов не было. Должно быть, они когда-то давно здесь росли. Карл прошёл по двору и увидел крыльцо. На крыльце мяукнула чёрно-белая кошка. Но кошки, как и цветов, не было.

Карл поднялся на крыльцо, постучал в незапертую дверь, затем вошёл в дом. Нет, он не стучал в дверь; он вошёл без стука.

В доме послышалось счастье. Смех красивой, молодой женщины. Топот тонких мальчишеских ног. И кто-то шепчет: «Я люблю тебя, Лара...»

Но ничего этого не было. Карлу ничего не послышалось. В этом доме не было счастья, не было ни красивой молодой женщины, ни её смеха. И топота тонких мальчишеских ног – не было.

Нет, кое-что Карл всё же услышал. Кто-то шепчет: «Я люблю тебя, Лара...»

Этот «кто-то» существовал.

Карл прошёл в комнату, куда поманил его густой жёлтый свет. Это горел торшер. Под торшером поблёскивала облезлая, подрагивающая голова. Голова всхлипывала. Карл увидел, что у головы есть рука – в ней был зажат карандаш; карандаш был тёмно-серый, угрюмый, он что-то писал, водил по бумаге.

Карл почувствовал, что у него в руке нож. Он подошёл к облезлой, подрагивающей голове и...

«Нет, зачем нож? Не надо ножа, – передумал Антон Николаевич и зачеркнул три последние строчки. – Карл боится ножей. Да и потом... ножом было бы чересчур больно».

Карл почувствовал, что у него в руке пистолет. Он подошёл к облезлой, подрагивающей голове и нажал на спуск...

Андрей КУЗЕЧКИН

Родился в 1982 году в городе Бор Горьковской области. Окончил филфак Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Работал сельским учителем, охранником, дворником, рабочим на производстве защит картера двигателя, музейным смотрителем. В настоящее время – сотрудник библиотеки. Музыкант, коллекционер губных гармошек.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Октябрь», «Урал», «Дружба народов». Автор книг «Менделеев-рок» (2007), «Не стану взрослой» (2012), «Свинг странного человека» (2017), «Я другая» и «Стеклянные стены» (обе – 2018).

Живет в Нижнем Новгороде.

КЛИЧУТ ВОРОНЫ

С чего начать мою историю? Начну с середины.

Вселенная посылала мне шанс стать обычным человеком. Представьте, что Сизифу сказали: хватит катать камень, иди лучше в офисе поработай! Даже не знаю, что лучше... Но я действительно работал в офисе одной крупной компании. В отделе печатной продукции. Верстальщиком. Делал корпоративную стенгазету, рекламные буклеты, брошюры, памятки. Работы хватало. И мне, и двадцати другим неудачникам – горе-журналистам, горе-художникам, горе-фотографам, которые не нашли себе места получше. И все были уверены, что это временно. Дескать, ещё немного попишу или снимаю для стенгазеты, а потом уж точно – в глянцевый журнал. Одного меня всё устраивало. Я не хотел никуда двигаться. Знал, что всё бесполезно. Либо спокойный офис, либо... гора и огромный камень.

Всё испортила наша начальница. Нами, скопищем тридцатилетних оболтусов, командовала строгая девочка, недавно окончившая экономфак. Лилия. Ни в коем случае не Лиля, и тем более не Лиличка. В курилке только и разговоров было о том, что она такая сердитая, потому что у неё личной жизни нет. Мол, надо ей это устроить... но дальше разговоров дело не шло. Даже самые невинные шуточки в свой адрес она пресекала жёстко, одним взглядом давая понять, что меньше чем от нефтяного олигарха она такое не потерпит.

Приближался грандиозный корпоратив в честь Дня Компании. Лилия объявила, что будет концерт и каждый отдел должен организовать музыкальный номер. Народ зароптал: что мы вам, школьники, чтобы самодеятельность устраивать? Наша начальница была готова к такому

развитию событий и предложила: а пусть Сачков выйдет на сцену и изобразит Саймона. Был такой певец в 90-е годы, прославился с хитом «Вороны». Лилия меня иногда подкалывала, что я похож на Саймона, ещё бы бороду сбрить.

Весь отдел был рад, что меня назначили крайним. Песню, кстати, знали все, а кто-то даже клип вспомнил и подтвердил: да, Сачков похож на Саймона. Потом Лилия задала резонный вопрос: господин Сачков, а вы, собственно, петь умеете? Учтите, это песня моего детства, только посмейте её испортить!

И отчего-то я разозлился. Подумал: хочешь Саймона? Будет тебе Саймон.

Представьте себе: полный зал народа, фуршет, присутствует всё крупное начальство, все разодетые. А я сижу в импровизированной гримёрке и жду своего часа. Ведущий объявляет номера концерта, и вот я выхожу...

Когда я запел, в зале наступила тишина, остановилось всякое движение. Люди замерли с бокалами в руках. Песню помнили. А если даже и не помнили, её магия всё равно работала. И публика потянулась к сцене, позабыв про фуршет.

И вдруг я заметил в толпе... его. Мой друг Платон стоял среди всего этого офисного народа в своей любимой позе, скрестив руки на груди, и ехидно смотрел на меня.

Я выдержал. Голос не дрогнул, гитару я не уронил. Допел Песню до конца, а потом бросился со сцены прямо в толпу. Мне аплодировали, меня хлопали по плечам и пытались обнять, но я разгребал человеческое месиво, искал знакомое лицо, но видел лишь чужие скалящиеся рожи. Нет, я не был пьян. Я с этим завязал окончательно, чтобы опять не сорваться. Но мне было душно, кружилась голова... это было похоже на приступ клаустрофобии. И я метался по залу, пока не очутился в каком-то маленьком тёмном помещении, держа в объятиях Лилию, которая шептала: «Так это действительно ты...» Какая пошлость!

Запись моего выступления кто-то выложил в социальные сети, которые только-только появились. Это вызвало маленькую сенсацию: Саймон жив и снова выступает! Мне вскоре написали, предложили деньги за выступление на другом празднике. И пишут до сих пор.

* * *

Недавно мне прислали оцифрованную запись пятиминутного сюжета про меня, который сняли в середине 90-х для местечкового телеканала. Я тогда победил на районном конкурсе «Скворец и лира» в номинации «Лучшее исполнение песни». Песня Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».

Забавно было смотреть на этого застенчивого юношу. Его спрашивают: «Почему Высоцкий?» Он отвечает: «Просто люблю. Ещё Окуджаву, романсы, современную эстраду... Пугачёву». Следующий вопрос: «А сам не пробовал сочинять?» Ответ: «Задумки есть, но пока не берусь, слишком серьёзное дело». Ведущая кивает: «Ты ещё всем покажешь! Ты ещё сочинишь и споёшь свою Песню!» Так и сказала. В единственном числе, с особым значением: Песню с большой буквы.

А я и не думал о музыкальной карьере. По совету родителей уехал поступать на исторический факультет и поступил. Когда заселялся в общагу – был потрясён, сколько же там обитает неформалов. Повсюду

были парни в чёрных майках, кожаных куртках, с длинными волосами или ирокезами, цепями, ошейниками... Первые дни я их боялся. У нас в городке выделяться было не принято.

Оказалось, напрасно волновался. Неформалы – милые и безобидные ребята. Пока трезвые, по крайней мере. Мне достался отличный сосед по имени Платон. Его так и звали по паспорту. Мы быстро подружились. И я стал таким, как все. Отпустил длинные волосы, привык много пить. И конечно, играл на пьянках песни, которые все знали. Впрочем, на гитаре там играли многие. А Платон – даже на фортепиано. В общаге имелся настоящий зал для концертов, там стояло пианино. Мы с Платоном туда иногда приходили, помузицировать, комендант не возражал.

Как-то раз он сказал мне, сидя за инструментом: «У меня что-то сочиняется... Вот послушай». И наиграл мне какие-то аккорды. Слова пришли ко мне сами собой. «Кличут вороны, во все стороны, в небе порванном ветер воет...» Мы быстро сочинили остальное. Простые стихи легли на простую музыку. Обычно так всё и бывает... наверное.

Песня стала хитом наших застолий. И если бы только этим всё ограничилось...

Платон предложил мне зарабатывать деньги музыкой. У нас многие ребята играли в переходах и на улицах, орали пьяными голосами «Маму-анархию» и «Что такое осень» – это называлось «аскать». Но Платон сказал, что это не мой уровень, и посоветовал мне сразу идти выступать в кабак. «Репертуар у тебя подходящий», – сказал.

И я отправился в ближайший бар. Вежливо попросил у бармена позвать хозяина. Вышел здоровенный дядя, как в анекдоте – два на три. Спросил на своём языке, чем обязан визитом. Я трухнул, конечно, но нашёл в себе силы сообщить, что я музыкант и хочу выступать здесь. Дядя оглядел меня с ног до головы, задержав взгляд на чехле с гитарой, и усмехнулся: «Музыкант? Ну, вот тебе сцена, приступай». Дело было в три часа дня, в баре никого не было. Я вышел на сцену и сыграл своего коронного Высоцкого.

Ожидал какой угодно реакции. Но хозяин лишь коротко кивнул и сказал: «Сегодня работаешь с семи вечера до трёх ночи. Полтос баксов». Сразу видно – деловой человек.

Так я получил работу. Пока в баре был народ – пел известные песни, если никого не было – отдыхал. Ставка оставалась неизменной. Иногда мне совали деньги пьяные посетители, требовали исполнить что-то на заказ, и я исполнял. Подчас подбирал на ходу. Это было нетрудно. В нашей стране все песни – рок, попса, блатняк – играют на одних и тех же аккордах.

Если народу было немного, я позволял себе попеть для удовольствия. Романсы, например. Или нашу Песню. Или что-то ещё из моего: я же поверил в себя и начал сочинять.

Как-то раз меня подозвал к себе один невысокий малозаметный человек, который всегда сидел один и вёл себя тихо – не подпевал мне пьяным голосом, не буянил, не лапал официанток.

Пожал мне руку и спросил: «Чья это песня? Кличут вороны, во все стороны...»

Я сказал: «Моя».

«Ясно. Я так и подумал. Я Штопор – знаешь, наверное».

Эта блатная кличка никак не вязалась с его интеллигентным видом и правильной речью, но я, на всякий случай, кивнул.

«Я тебя познакомлю кое с кем... – сказал Штопор. – Он из тебя человека сделает».

Я от счастья чуть не рухнул. Всё как в кино! Меня представят знаменитому продюсеру, он будет меня раскручивать, и я стану знаменитым!

Встреча с продюсером состоялась через неделю. Как я понял, он друг детства Штопора, работает в столице, но иногда приезжает сюда. Первым делом продюсер потащил меня в музыкальное училище. Его там все знали и любили, он у них спонсором был. Пришли в пустой концертный зал – сказал, там акустика хорошая. Я рассказываю ему про себя, а он мне, с наигранным одесским акцентом: «Ша, молодой человек. Меньше слов – больше дела». Ясно, ещё один бизнесмен. Я взял гитару, поднялся на сцену и сыграл ему Песню.

Он сидел в первом ряду. Смотрел на меня так ироничненько. Спросил: «Ещё что-то есть?» Я ему ещё песни три сыграл, но он каждый раз обрывал меня после припева. Жестом приказывал остановиться. Потом где-то полминуты сидел, думал. И сказал: «Так, у меня остался один вопрос. Первая песня как называлась?» Я ответил. Он из своего портфеля достал бумажку, вписал туда что-то и говорит: «Почитайте. Если нравится, подпишите внизу». Я читаю – это контракт на покупку песни. У него, наверное, в этом портфеле были бланки на все случаи жизни... Вот читаю я один раз, другой и глазам поверить не могу. По условиям контракта я продаю ему Песню, за очень хорошую сумму. При этом моё имя, как автора, нигде не указывается. И исполнять её я больше права не имею. Проще говоря, продал и забыл, что она вообще у меня была.

И вот я уже бегу по улице, обратно в общагу, со слегка потяжелевшим рюкзаком. Думаю лишь об одном: возьмёт ли Платон свою долю?

Возможно, он скажет: «Это не мои деньги». Хотя это я бы так сказал на его месте. А Платон – это Платон.

Молча примет пачку денег, сделает вид, что ничего не произошло, а вечером того же дня устроит грандиозный банкет для всей общаги – это уже больше на него похоже.

Молча откроет окно, молча швырнёт туда пачку, полюбуется, как порхают в воздухе купюры, оседая серым облаком на серый снег, а потом как ни в чём не бывало спросит: «Кстати, а есть чё пожрать?» Вот это – скорее всего.

Впрочем, это была всего лишь одна из версий. Платона невозможно просчитать.

Я застал его в нашей комнате. Платон – всегда там, где он нужнее всего.

Лежал на кровати и читал.

Отложив книгу, мой друг бодро спросил: «Ну что, я имею честь разговаривать с героем шоу-бизнеса?»

Я ответил: «Не совсем». И рассказал всё как было.

Он молчал. Я достал пачку денег. И сказал: «Вот твоя половина».

Платон пожал плечами и положил деньги себе в рюкзак.

Я спросил: «И что, ты на меня не сердишься?»

Он спросил: «За что?»

«Что я продал нашу Песню».

«Мы этот вопрос закрыли давно. Песня твоя. Ты всё правильно сделал. Возможно, это самое взрослое решение во всей твоей жизни. Молодец. Я серьёзно».

«И что, ты ко мне не будешь хуже относиться?»

Он фыркнул, как на глупый вопрос. И от этого мне стало совсем погано.

«Знаешь, какое у меня чувство. Будто я близкого человека продал», – решил сказать я.

«Близкого человека нельзя продать. А если можно, то значит, не такой уж он и близкий. Пойду, прошвырнусь. Скучно мне!»

Он взял рюкзак и ушёл.

* * *

Меня отчислили со второго курса. Провалил сессию из-за пьянок. Пришлось вернуться в свой городок районного масштаба. Я стал жить с родителями. Зарабатывать музыкой уже не пытался – в тех краях за это не платили. Восстанавливаться в институте я не собирался, а куда ещё поступать – не знал. Да и зачем поступать? Ради диплома? От армии у меня был отсрочка по состоянию здоровья... И всё бы ничего, но из-за него, здоровья, я не мог работать ни грузчиком, ни на стройке, ни даже дворником, а другой работы там не было. Так и жил на шее у родителей и сам не заметил, как прошёл год.

Однажды у нас дома зазвонил телефон. Мама взяла трубку и сказала, что это меня. И я услышал знакомый голос:

«Молодой человек, вы всё ещё настроены на сотрудничество?»

Чтоб вы понимали: в те времена отыскать человека было не так просто. Какой там Интернет – даже мобильники были только у избранных. Но, как говорится, захотят найти – найдут.

Как оказалось, достойного исполнителя для Песни не нашлось. Продюсер записывал версии с разными певцами и певицами, но каждый раз понимал своим сверхъестественным чутьём: не то. Не звучит. Вместо полноценного хита получалась проходная песня. Наконец он всё-таки пришёл к простому выводу: лучший исполнитель песни – её автор. К тому же, сказал он, мальчики с гитарами опять в моде.

И я поехал в столицу. Над сценическим именем долго не думали: Саймон. Просто Саймон.

«Воронов» мы записали всего за день, на настоящей студии, и вот она уже звучит на радио в горячей ротации. Потом мы сняли настоящий клип – и он быстро угодил в хит-парад «Муз-ТВ». Образ, который вы помните, – распахнутая рубашка, волосы, развевающиеся на ветру, вот это всё – оттуда.

Планировалось записать альбом и рвануть в гастрольный тур, но сказка кончилась так быстро, что я даже не успел понять, что это было.

Моего старого знакомого, Штопора, взорвали в его машине – конкуренты по бизнесу. Вместе с ним погибли водитель, охранник... и продюсер, который приехал, чтобы отпраздновать успех нашей Песни.

Проект осиротел. Заниматься мной больше никто не собирался. Альбом так и остался недописанным, и записи куда-то пропали. А я, не успев толком побыть Саймоном, снова стал Семёном.

Моя Песня ещё долго звучала в маршрутках, музыкальных ларьках и питейных заведениях, её заказывали радиослушатели и телезрители... А что делал я? Искал на столичных улицах группы неформалов, прибавался к ним, легко находил с ними общий язык – опыт общаги! – и беспробудно пил, просыпаясь в самых неожиданных местах.

Однажды рано утром я очнулся в парке, на скамейке, еле живой. Услышал чьё-то негромкое многоголосое пение и пошёл туда в на-

дежде, что это мои ночные собутыльники. Может, они смогут меня опохмелить...

Быстро понял, что ошибся, увидев счастливые, юные, трезвые лица. Люди сидели кружком и синхронно тянули что-то неразборчивое. Должно быть, мантры. И вот я уже сижу в кругу и пою вместе со всеми. И мне отчего-то светло и хорошо.

Следующие несколько лет прошли как сон. Я жил в общине, ел варёный рис, пел мантры, делал простую работу и был безмерно счастлив. Пробуждение было похоже на ледяной душ: нашего гуру арестовали, а общину распустили. Меня забрали домой родители. Как оказалось, всё это время они искали меня.

Папа с мамой держали меня под замком, заставляя круглые сутки смотреть телевизор, чтобы вернуться в реальный мир. Всё, что я понял – что нахожусь в какой-то другой стране. Клипа на Песню я не видел ни разу. Да и был ли он вообще? Было ли всё это – Песня, Платон, Штопор, продюсер?

Мне помог бывший одноклассник по просьбе моих родителей. Подарил старый ноутбук, научил работать с основными программами. Сказал, что сейчас везде нужны офисные работники, образование никого не интересует – важен лишь опыт работы, но его и придумать можно. Мол, де, работал в фирме, без официального трудоустройства, фирма закрылась... Ври как хочешь, лишь бы взяли на испытательный срок.

Так я и попал в компанию, в отдел печатной продукции. HR-менеджера подкупили мои интеллигентные манеры и свежий внешний вид. Спасибо общине, про алкоголь я давно и думать забыл, плюс работа на свежем воздухе и вегетарианская пища... Наверное, я со стороны казался немножко странным, но у нас в отделе все были со странностями. Непризнанные гении, что с них взять.

Может, я и работал бы до сих пор в этой компании. Но всё решил тот злополучный корпоратив.

Так у меня появилась новая работа. Работа, к которой я приговорён пожизненно.

Петь Песню.

Снова и снова петь Песню.

Я до сих пор сочиняю. Сейчас другая эпоха: можно записывать песни дома, снимать любительские клипы, выкладывать в Интернет. Но то, что я делаю сейчас, никому не интересно. У моих роликов с новыми песнями – сто-двести просмотров. Зато у того, легендарного клипа – миллионы.

Мой менеджер... простите, менеджерка говорит, что у меня всё ещё впереди. Я ей не верю. Мои песни – я имею в виду все остальные, кроме Той Самой, – никому не нужны.

Мой менеджер – Лилия. Она бросила работу в компании, загубила карьеру, чтобы работать со мной. Она с детства была влюблена в того юношу из клипа.

Ещё одна жизнь, загубленная Песней. По крайней мере, Лилии повезло больше, чем Платону.

Его убили в тот самый день, когда я продал Песню. Он слонялся по вокзалам и подземным переходам и раздавал доллары нищим. Кончилось тем, что его ударили по затылку и унесли рюкзак. Платон умер в больнице.

У меня другая судьба.

* * *

Очередной праздник в очередном маленьком городке. Очередной Дом культуры или сцена на площади. День Города, День Конституции, Праздник Народного Единства... Повсюду флаги, плакаты, лотки с пирожками. Толпы народа. Уж на что не могу пожаловаться – так это на отсутствие публики.

Я обычно выступаю на разогреве у кого-то или участвую в сборном концерте под вывеской «Дискоотека 90-х». Ностальгия сейчас в моде, пропади она пропадом.

Мне и моей группе выделяют пятнадцать-двадцать минут. Это много.

Мы начинаем с какой-то из моих неизвестных песен. Иногда играем две. Публика слушает из вежливости. Все ждут Песню. Мы, конечно, сыграем её, но чуть позже. Деньги надо отработать.

Зато когда звучит Песня – подпевает вся толпа. И неважно, где мы играем: в сельском клубе или на стадионе, на фестивале или на корпоративе.

Когда Песня заканчивается, публика глядит с интересом: неужели он ещё что-то будет петь? Обычно напоследок я играю что-то известное, чтобы все могли подхватить. Народную песню. Или военную, если 9 Мая. Ну, вы понимаете. Провожают нас овацией.

Потом ночёвка в местной гостинице за счёт организаторов, питание для всей группы. Лилия умеет договориться, это да. Бывает, идём на экскурсию по музеям и прочим достопримечательностям. А потом садимся на автобус и едем в следующий город. И я опять буду петь со сцены Песню. А в толпе, у самого края сцены, будет стоять Платон и ехидно смотреть на меня, скрестив руки на груди.

Пока я пою Песню, он жив.

Милена ФИЛИППС

Родилась в 2000 году в Челябинской области. Уже восемь лет живет в Германии (в Берлине). Автор романов «Вэнстен» (опубликован на немецком) и «Предел разума» (нем. Grenze der Vernunft). Также пишет сценарии и рассказы.

ПРАВО ОСТАТЬСЯ

Реальность – парадокс, а логика – убежище, специально построенное нами, чтобы оградить себя и своих близких от таких весьма неприятных явлений, как отсутствие объяснения некоторым феноменам. Точно так же уютные дома и квартиры спасают нас от других неприятностей, например от проливного дождя, подобного всем слезам когда либо пролитым с момента возникновения чувств.

Это довольно странно, конечно, но весенние цветы встречаются везде: в щелях потрескавшегося асфальта, у дороги, где проносившиеся мимо машины постоянно заставляют маленькие беззащитные растения раскачиваться туда-сюда, окружая их испорченным воздухом. Они были даже у мусорки возле дома, что всегда заставляло меня задуматься о микроскопическом шансе с самого начала оказаться в самом подходящем для нас месте, в самых подходящих условиях для развития индивидуальной личности. Цветы похожи на людей нехваткой выбора, где им расти, и в то же время отличаются от нас, потому что действительно не в состоянии изменить эту ситуацию, а мы, не осознавая собственного везения, иногда просто предпочитаем нарочно обманывать себя, чтобы оправдать бездействие, делающее настоящее сносным, а будущее – бесперспективным.

Каждое воскресенье весной и летом я ездила на автобусе в парк, где собирала букет цветов, который потом стоял несколько дней на подоконнике в старой величественной вазе, принадлежавшей еще моей бабушке. Это постоянно менявшееся украшение квартиры служило доказательством течения времени, движения вперед, освежающего, как прохладный морской ветер, может быть, и не в сторону новых ощущений, но к новой поездке на природу, тесно связанной с эстетическими удовольствиями.

Таким образом моя жизнь тянулась от выходных до выходных, почти не меняясь. Только розовых цветов, растущих у мусорки, становилось тем больше, чем яснее силуэт летящего к нам лета выделялся на горизонте.

– Странное явление, – заявила соседка из квартиры напротив, с которой мы каждый вторник пили особенный турецкий чай, обсуждая наши повседневные дела, наблюдения и догадки о сущности окружающего мира, – похоже, они чувствуют себя здесь так же хорошо, как и в твоём любимом парке. Ты ведь ещё едешь туда за новыми цветами или больше не утруждаешь себя?

– Да, все еще часто бываю там, – ответила я удивленно, голосом, перешедшим на оборонительную интонацию, почувывшим в воздухе невидимое эхо своего главного противника – перемен, возможность которых моя знакомая не потрудилась исключить, что бросило вызов моим привычкам, уютно устроившимся в этом районе, не требовавшим от будущего ничего, кроме его сходства с настоящим, а также ожидающим меня на автобусной остановке подобно верным друзьям, всегда догадывающимся заранее, что ты всё-таки сдержишь свое слово и твой силуэт, без сомнений, скоро появится в их поле зрения, становясь все больше и больше, превращаясь в настоящего человека с активным разумом и бьющимся сердцем.

Я заставила соседку устремить свой взгляд на подоконник с вазой.

– Ты что, не заметила новый букет? Не почувствовала запах свежего творения весны?

Она встала, подошла к окну, держа в руках свою чашку чая, излучающую тепло, дарящую нам призрак жарких солнечных дней, характерных для далеких стран, отделенных от нас пустынями и океанами. Моя знакомая поспешила отвергнуть все обвинения:

– Да все я вижу! Только откуда мне знать, где ты нарвала свой букет?

– Но по воскресеньям всегда...

– Времена меняются, а я из-за моей природной глупости предположила, что они не пощадили даже тебя, – саркастично ответила она. – Посмотри вниз.

Мой взгляд прыгнул с девятого этажа, устремившись к двору, где он обнаружил все ту же полную, всеми забытую мусорку, претендующую на пост главного украшения двора. Гору черных и белых пластиковых пакетов окружали цветы, о существовании которых мне давно было известно. Однако я не считала нужным уделять им больше внимания, чем требовала мимолетная вспышка сочувствия, быстро угасающая в моей душе, продолжающей напевать все ту же загадочную, переменчивую, но никогда не теряющую саму себя ритмичную мелодию жизни.

Цветы, и все. Когда я проходила мимо мусорки, мне запомнилось всего лишь слово из пяти букв, а не образ, даже не призрак настоящего – поэтому было очень странно осознать, что тот нежный оттенок розового, видневшийся у мусорки, был идентичен цвету украшения подоконника, найденного в особенном месте.

– Видишь? – спросила соседка. – Вот я и подумала, что ты просто сходила за букетом во двор. Только не злись на меня, ведь эти цветы одинаковы. А ты что, никогда не замечала сходства?

– Странное дело. Но все же должна существовать хоть малейшая разница. Может быть, мы не видим ее, но чувствуем тем сильнее! Цветы в парке другие, более похожие на самих себя, потому что росли они на природе, как полагается. Лучи солнца чаще посещают парк, придают растениям больше жизнерадостности, более яркие цвета, более приятный запах, а около мусорки они со временем превращаются в сорняки.

– Верь в это, если тебе так нужен повод для поездок в парк.

Мы сменили тему разговора и уютно посидели еще часа два, забыв о цветах, наблюдавших с подоконника за своими далекими, менее удачливыми родственниками, которым, как я уже говорила, солнечные лучи реже дарили бодрящую улыбку весны. Она была нужна не только растениям, но и людям, особенно жителям грязных, серых районов, не привыкшим наслаждаться спокойствием природы, позволяющим нашей фантазии представить себе лицо вечности, бесстрашно наблюдающей за потоком перемен. Вот и я в следующее воскресенье снова собралась на остановку, предвкушая наслаждение, приготовленное для меня предстоящей прогулкой.

В парке аромат весенних цветов, природы и свежего, еще не отравленного углекислым газом воздуха, сразу взял верх над запахом грязного, шумного города, где время неслось быстрее, как будто убегая от настоящего, догоняя слабое пламя надежды на изменение к лучшему, может быть, представляющее собой что-то большее, чем просто мечту, этот красивый, улыбающийся призрак с разноцветным фонарем в руках, сопровождающий нас в темноту неизвестных последствий наших сегодняшних действий, предосторожностей и ошибок.

Даже если бы меня со всех сторон окружала глубокая пропасть, наполненная раскаленной, угрожающе яркой лавой, я все равно видела и чувствовала бы только тот зеленый и нежно-розовый оазис, которым являлся парк в центре лабиринта широких улиц, полных машин, спешащих навстречу завтрашнему дню. Постоянно приезжая сюда, я со временем привыкла ощущать только присутствие природы, слышать радостный гимн приходящей весны, исполняемый птицами, вместо песни тысяч моторов. В руках у меня была корзинка, верная моя спутница, готовая приветствовать новый, такой же нежный букет, готовый потратить всю свою жизненную энергию, подаренную ему солнцем и теплом, на то, чтобы послужить достойным украшением подоконника и озарить оптимистичным лучом мои будние дни.

Голубое небо, обещавшее задержать хорошую погоду надолго, пригласило меня уединиться на удобной скамейке у речки с новой книгой — трагичным романом о потерях и долгом пути, полном трудностей, разбивающих душу главного персонажа на все более мелкие осколки. Тщательно отобранные слова автора, незаметно подкрадывающиеся к моей фантазии, создавали с ее помощью картинки в моей голове, контрастирующие с окружающей гармонией и учащие меня ценить ее еще больше, за что я была благодарна эху чужой печали, томящемуся в надежной клетке из тысяч строчек на тонких страничках дешевой бумаги.

Настало время, надев маску безразличия, отвернуться от трагедии, чтобы посвятить себя привычным радостям. Предвкушая другие приятные ощущения и захлопнув книгу, я наконец направилась к знакомой поляне, где, несомненно, росли самые прекрасные цветы во всем городе. Радостная мысль об их несомненном превосходстве нечаянно превратилась в неожиданную картину, представшую перед моим удивленным, совершенно не готовым к столкновению с ней сердцем: оно увидело свой двор, окруженный со всех сторон высокими домами, выполнявшими роль преград на пути у лучей солнца, огромную гору мусора, особенно примечательную благодаря розовым пятнам, выделяющимся на фоне асфальта и грязи. Присмотревшись, мои глаза поняли то, о чем душа уже успела догадаться: это были цветы, все те же цветы, потерпевшие одну неудачу, сказавшуюся на их дальнейшем жизненном

пути. Отведенный им судьбой уголок заставлял каждого отвернуть от них свой взгляд, потому что тогда в поле зрения попадало слишком много неприятного – действуя по такому же принципу, мы игнорируем чувства, обстоятельства, информацию.

Не хотелось мне ставить в вазу моей бабушки цветы с мусорки, это ведь можно понять? Кто знает, чем отравлена почва, питающая их? Вот я и приехала в парк с корзинкой, направилась к разноцветной весенней поляне, защищенной от ветра стеной могучих деревьев. Газон украшала новая табличка, очевидно поставленная на днях. «Срывать цветы запрещено!» – казалось, что яркий знак почти выкрикивал свой лозунг навстречу каждому подозрительному прохожему, слишком долго любующемуся разноцветными лепестками вестников новой и все же такой знакомой весны.

Я приготовилась сделать вид, что угрожающей таблички не существовало, и незаметно шагнуть на полянку, но в последний момент почувствовала преследовавший меня взгляд охранника. Мужчина в форме, с дубинкой, очевидно, считал себя важным персонажем каждой драмы или комедии, поставленной здесь судьбой, так как именно он давал событиям разрешение развиваться дальше. Мой план этот человек точно не одобрит, ведь я собиралась намеренно идти против указаний пластиковой таблички! И ради чего? Чтобы похитить волшебные растения, распространяющие радость и улыбки? Как эгоистично. Даже жестоко, если подумать о том, что в моей красивой вазе каждый цветок ожидает только медленная смерть, а поляна дарит им жизнь. С другой стороны, это всего лишь бесчувственные цветы, не замечающие ничего вокруг, не ощущающие ни мир, ни самих себя в нем, не видящие реальность так отчетливо, как видят ее глаза человека, через очки воспоминаний. Каждый цветок просто существует, не думая об окружающем, о достоинствах или недостатках своих лепестков, о том, растет ли он на уютной поляне или у мусорки, не думая ни о чем – и в этом тоже есть своя философия.

Вернувшись обратно в мой район с пустыми руками, проходя мимо мусорки, которую окружали все те же розовые цветы, так похожие на своих дальних родственников из парка, я ощутила, как во мне заколебалось пламя надежды возместить потерю. «Может, сорвать их? Никто не заметит подмены на подоконнике», – подумала я, остановившись понаблюдать поближе, как они качаются на ветру. Затем мне стало ясно: не надо. Здесь, конечно, никто не поставил табличку, напоминавшую об одной важной истине, но теперь я все понимала: у цветов с мусорки тоже есть право на жизнь вместо существования в ожидании смерти. Когда же первое становится частью реальности? Вот настоящая загадка.

Поэзия

Наталья ДЕНИСОВА

Родилась в 1989 году в селе Чернобаевка Херсонской области. Окончила факультет журналистики КубГУ. Финалист фестиваля поэзии и драматургии им. Леонида Филатова «Филатов Фест» (2016), лонглистер премии «Лицей» и «Волошинской премии», лауреат ряда журналистских конкурсов.

Автор четырех книг стихотворений и одной книги сказок, режиссер документальных фильмов «Пропадают наши Веснушки» и «Переводчики с мертвого языка». Живет в Нижнем Новгороде.

СВЕТ В ТЕБЕ ГОВОРИТ – ИДИ!

я это только флаг

вот считалочка для тебя,
идушей за молоком
мимо плюща теплотрасс,
оранжевых лун телефонных будок.

весною в ельце гроза,
такая в ельце гроза,
так пахнет восточным медом.

ты здесь у своих равнин.
дрожишь, что ковыль небесный.
а в вечности делает нил
решительный шаг в бездну.

и там высоко-высоко
гагарин летит, что ангел,
и звезды падают в молоко
соседних универмагов.

взрастаем мы робко так
в наш русский отдельный космос,
я – это только флаг
моего панельного острова.

я – это только звук
дыхания спящего ленина.

зачем же ты сотворил, бог,
во мне трепещущую вселенную?

зачем говоришь на одном
со мной языке, отче?
я – это только дом,
который ты покидать не хочешь.

башенки

вот стоим мы,
словно башенки из красного кирпича.
кровь настоена терпким временем,
отмолена божьим именем – горяча.

наши скулы вытесал ветер-батюшка
с южных, пеной льна вздымающихся, берегов.

мы по камушкам, мелким камушкам
со дна реченьки наберем для вас верных слов.

мчится мимо нас,
мчится мимо нас
век диковинный –
мы дрожим.

и молочное солнце падает
камнем за гаражи.

говорили нам, говорили нам,
так кричали нам, что летим.
и с тех пор не вытравить
эту веру. мы – лишь пунктир

перед звуком, что после произнесут.
мы – предвечное эхо
бога, что никогда не менял маршрут.

и однажды пройдёт он
по нашим выцветшим городам,
словно это – спящий иерусалим,
словно каждый камень молитвы шепчет.

а пока мы кутаем наши плечи,
и вам кажется, что мы так живём.

только, будто зёрнышки в чернозём,
падаем мы, падаем в вышину.

и это чувство – оно сродни
чувству птицы,
что под ружьями сберегалась.

будет день – будет пища и будет власть.
но ведь нам никто не указ теперь,
потому, что мы плоть от плоти вот эта твердь,

потому, что расставлены мы,
словно башенки из красного кирпича,
чтобы бог дорогу по нам сличал.

Белое молоко Волги

В белое молоко Волги,
В вышитый водой север
Сгинем мы, если смолкнем –
Каждому да по вере.

В мглистые сны деревьев
Мы превратимся, брат мой,
В пахнувший домом клевер
Если шагнём обратно.

И под шатром высоким
От края страны до края
Дикие, одинокие
Как тишина растаем.

Нам говорить за племя,
Что в нас вдохнуло души,
Вглядываться в темень,
В звезд степных крошево.

Мы не имеем права
Молча бродить по свету.
Нам строить переправы
В вечность, что пахнет мятой.

говорит во мне

это степь моя говорит во мне,
это поет ее ковылевый снег.

это я как будто за крупами в магазин,
а на самом деле к богу,
что ночь растил кизил,
что творил рыб,
да и сотворил

прозрачноглазых,
диковинных.

и душа моя этим телом поймана,
в детских прятках найдена
в темном углу двора.

это дышит во мне урал,
словно бы бежал-бежал,
да не выдержал.

это братья мои навтыяжку
полегли один за одним
иже херувимы, иже
серафимы. мы говорим
«здравствуй»,
мы говорим
«здравствуй»,
и это значит
«вот крест мой.
мне тяжело, помоги.
мне зябко,
словно соткала меня сибирь
словно ее огромные реки обняли меня,
и никому у них меня не отнять».

тревнолиственный лес шумит.
я – это только свет, это только свет
горящих век напролет
окон.

вот расцветают щек маки
и руки выбеливаются зимой
у тех, кто станет назавтра мной.

притворяться

свет в тебе говорит – иди!
мир вокруг говорит:
– стой! я стар, я видел,
как орды шли по твоему пути,
и никто из них не дошел.

я видел, как стенка разин песни свои запевал,
как море поля мертвого его принимало,
как матери рыдали у пахнувших черным цветом шпал,
как для войны этого было мало.

таких как ты, несломленных и живых,
о, сколько их ко мне приходило!
и каждый чем-то отличался от всех остальных –
другое сердце, другое тело.

но знаю я, это ты, мой предвечный бог,
стучишь, стучишь в мои космические глазницы.
ты создал меня сложным, как безъязыкий крик,
для того, чтобы в каждом из них повториться.

для того, чтобы приходить сюда вновь и вновь
робким мальчиком, белой птицей,
для того, чтобы превращать все вокруг в любовь.

для этого и дальше я готов притворяться.

законы робототехники

«примет ли меня отец?»,
– сквозь сон говорил сын.
«примет ли меня отец
оплётанным и босым?
гнущимся, как и все,
под тяжестью микросхем,
примет ли меня отец
ником?»

я не добыл руды
человеческих алых душ.
если сейчас уйду –
простишь ли меня? простишь?

я не узнал закат –
смотрел на него,
как на гаснущее табло.
я приведением бродил мимо цветов эстакад,
и чувствовал, как сердце внутри жгло.

несовершенно так
тело, дарованное тобой
лучше мне больше рук,
лучше другой край.

но отними вон то,
что не могу назвать.
словно бы звезды мне вшили
около рта,
чтобы все время тебя окликать».

Антон ВАСЕЦКИЙ

Родился в 1983 году в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал на телевидении, в электронных и печатных изданиях.

Публиковался в различных изданиях, в том числе - «Волга», «Дружба народов», «Октябрь». Лауреат нижегородского поэтического фестиваля «Литератерра-2007». Автор поэтических книг «Стежки» (2006) и «Монтаж все исправит» (2018).

Живет в Москве.

ЛЮБИТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ПРИНИМАТЬ ЛЮБЫМ...

* * *

Топографический дурдом заводов, тюрем, стадионов.
Мы задыхаемся, но пьем флуоресцентный сок неона.
Мы все растаем без следа. Мы растаемся на Восточной,
взорвав мосты и поезда: «Скучать не будешь?» – «По вас – точно».
Мы остаемся. Днища дней не так уж ясны, когда вместе.
И так ужасно нюхать клей воспоминаний об аресте.
Мы влипли, словно кур во щи. Мышь не попала бы так плево.
В котле – не только овощи, еще полпалубы живого:
трубопроводов вен и жил, чей пульс – неровный, рваный зуммер.
Я тоже здесь когда-то жил, пока не вышел в DOS и умер.

* * *

В снежном форте
на главной городской площади
разогретый человек
неопределенного возраста
сражается с ледяной воронкой
для катания малышей.
Снова и снова
отбивая колени,
впечатывая ладони
в липкий лед,
он пытается
выкарабкаться.
Вот уже достиг края,
почти вылез,

но опять срывается вниз.
– Протяни руку, – кричат ему.
Но человек отвергает помощь.
– Я сам, – еле слышно шевелит он
обветренными губами.
– Дайте мне сделать.
Хотя бы это.

Выпускной

Девочки в черных юбочках,
мальчики в белых рубашках.
Взгляды ясны, рассудочны,
искренни и бесстрашны.
Даже ни капли порчи на
лицах, а что за жесты.
Брови упрямо сморщены
в знак расставанья с детством.
Мысли потонут в гуле
и растворятся в бале.
Как же их всех надули,
предали и так далее.

* * *

Ты можешь сказать что хочешь:
«Привет», «Как дела?», «А помнишь?» –
любому, кого не стало.
Хоть бабушке, хоть отцу.
Никто тебя не осудит.
Надень только гарнитуру.
И паузы, больше пауз.
И штекер сожми в руке.

* * *

Спотыкаясь и падая,
ковыляют вдвоем
утомившийся Павел,
изможденный Антон.
Через зимнюю реку,
чертыхаясь, бредут
по блестящему снегу
и черному льду.
Лишь луна светит бешено,
озаряя их путь
и печаль, что прошедшего
ничего не вернуть.
Ни наивности сердца,
ни надежд филигрань.
Потому – косорезы,
баламуты и пьянь,

чтоб в коротком покое
упасть, замереть.
Все смотреть в ледяное.
Лежать и смотреть.

* * *

Не вспоминается, хоть убей,
кто прошептал: «Сумасшедший мальчик».
Будто проехался шлифовальщик
тщательно по мозговой резьбе.
Ни географии, ни числа.
Лишь интонация – сумасшедший –
и ощущение под одеждой
бережно спрятанного тепла.

* * *

Мужчина хмурится, не глядя
на отражение в стекло.
Он вспоминает все, что за день
сегодня с ним произошло.
И вдруг бормочет хриловато,
срезая мысли по прямой,
что все закончится когда-то,
и ты отправишься домой.
И улыбается устало
проклюнувшемуся словцу,
невидимое покрывало
растягивая по лицу.

* * *

Алкоголиков и наркоманов
просьба не беспокоить,
заступается за слабых мира сего
порядочная женщина
из Подмосковья.
Кому, как не ей, знать,
что отсутствие вредных привычек
еще ничего не значит.
Вот у нее их нет,
и все равно она одинока.
Ни детей, ни животных.
Пытается снять комнату
в чужом и холодном городе.
Пусть на недлительный срок,
за своевременную оплату,
через стенку,
но ощутить
живое дыхание и тепло.

Четверг

Я буду видеть чертовски дурные сны.
Что-то по Фрейду и Юнгу, а может, даже,
впрочем, неважно. Последняя ночь весны.
Мы с другом в том же городе, где все та же
главная улица нас направляет в клуб.
Стрелки часов показывают двенадцать.
Друг бледноват, почему-то похож на труп
и вообще, если честно, не любит танцы.
Я с напряжением думаю про дресс-код,
свой внешний вид и последствия злой отравы,
что добавляет пикантности в наш поход
вместе с опасностью кончить его за ржавым
длинным забором в сырой полутьме аллеи.
И в результате, еще поразмыслив малость,
в нескольких метрах от толстых стальных дверей
я замираю, предательски просыпаясь.

* * *

Как после Гуантанамо, живой,
но с пережженным внутренним динамо,
заблудший сын ведет свой путь домой,
сводя с ума все GPS-программы.
Задраенная дверь в его подъезд
не проявляет жалости ни грамма
к утратившему ключ, зато есть мама,
которая не выдаст и не съест.

Зачем и почему он удирал
отсюда, как от злобных печенегов,
ступнями синтезируя крахмал
из жалящего сквозь подошвы снега?
В чем убеждал кусты, забор и дым
кирпичных труб, когда и так понятно:
любить – не значит принимать любым,
но значит – отпускать и ждать обратно.

Анатолий МОВШЕВИЧ

Родился в 1955 году в Дзержинске Горьковской области. Окончил филологический факультет Горьковского госуниверситета. Преподавал в школах и гимназиях мировую художественную культуру и литературу, работал журналистом.

Автор сборников стихов и прозы «Ива. Мороз. Скрипка», «Дерево над обрывом», «Вечернее утро», «Молчаливый голос», а также книги «На встречу прошлому в поисках настоящего», посвящённой произведениям русской и мировой классики. Публиковался в журналах «Студенческий меридиан», «Смена», в ряде зарубежных изданий. Живет в Дзержинске.

ВОЗДУХ ХРАНИТ НИЧЕЙНЫЕ МЫСЛИ...

* * *

Есть переулки, сочинённые дождём.
И города, придуманные снегом,
И крыши, созданные летним сном,
И ветер, рвущийся с ночного берега.

Как хрупок камень,
И так прочен свет.
Живая память
Безымянных лет.

* * *

Не узнаю привычные дома
и в окнах вижу незнакомые деревья.
Все говорят, что вновь пришла зима,
но пар не валит из открытой двери.

Под новый год зелёная трава.
Сама себя не узнаёт природа.
А вместо снега – мёртвая листва,
нагие ветки. Странная погода.

У зим и вёсен правота своя.
Но этот день без солнца и без снега.
И даже память словно не моя.
И душит искушение побега

в морозный день, где в стёклах ломкий свет.
Там были все, кого теперь уж нет.

* * *

Как в восточной сказке
Разбойник помечает крестом
Дом своего врага,
А хитрая служанка его стирает,
Так в утреннем сне ты идёшь
По солнечной лестнице без перил
И пытаешься найти то,
Что давно потерял наяву.
А в усталых глазах
Ты ищешь ломкий отблеск
Утраченных лет (в его двояком свете
Мир таинственно прост и обыденно
Необъясним).

И хотя все пути пройдены,
И все слова сказаны,
Всё же наступает рождественский вечер.

Долгий снегопад похож на лабиринт,
Лишённый стен.
Ночное солнце прячется под покрывалом
Сновидений.
Шахерезада продолжает дозволенные речи.
А я – свой путь к самому себе.

Памяти Всеволода Грехнёва

Я не знаю, есть ли другой мир
И существует ли там иной свет,
И какая там растёт трава,
И какие деревья тянутся
К неведомому небу?

Но если всё же существует
Некто, управляющий
Пространством и временем,
Нашей жизнью
И нашей смертью,
То я хотел бы,
Чтобы Вы оказались
В одном из дней позапрошлого века,
И встретились с теми,
Кому посвятили
Свою не очень долгую
Жизнь.

Кассандра

Её речь похожа на блики солнца.
Её голос сродни порывам ветра.
Слова, будто тени, сплетённых веток.
Воздушный корабль, скользящий по стенам.

Её речь сумбурна, но всем понятна.
И в этом знанье скрывается ужас.
Никто не хочет быть собою,
Никто не хочет жить в этом мире.
Так хорошо, что есть другие.

Наша вера – толпа и площадь.
Будем смеяться над сумасшедшей.
Будем поддакивать друг другу.
Воздух хранит ничейные мысли.
Лишь бы не слышать неведомый голос,
Что звучит в глубине сознания.
Он так похож на речь безумной.
Полно слушать – пора расходиться.

Но обернувшись, каждый увидит,
На лицах отблеск горящей Трои

* * *

Мы постоянно пытаемся укротить время,
И тем самым подчинить его себе,
Разделяя на минуты и секунды, на часы и месяцы,
На годы и десятилетия, на века и эпохи.
Мы проводим невидимые линии,
Отмечаем вехи и даты.
И нам кажется, что мы что-то понимаем.
И время послушно тикает у нас в кармане.

Но однажды...
Это было в зимнем Хельсинки.
Я вышел из автобуса и,
Пройдя сквозь мерцание семисвечников
И усталый блеск сувенирных лавок,
Я вошёл в пространство скалы.
И услышал тишину давно ушедшего моря.
Здесь были люди, но были и те, другие.
Смех и смущённые голоса,
Что это – концертный зал или церковь?
Я шёл по ступеням и долго смотрел
На тёмные стены, застывшие некогда волны.
Здесь было время.
Время до времени,
Время вне времени.
Но куда мы спешим,
Оставаясь внутри и вовне?
Я коснулся скалы,
Погружаясь в молчание моря.
Бесконечное время.
И зимний, обрывистый день.

Андрей ДМИТРИЕВ

Родился в 1976 году в г. Бор Горьковской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Служил в милиции, работал в частных охранных структурах. Редактор отдела экономики газеты «Земля нижегородская».

Автор трех сборников стихов. Лауреат премии имени Бориса Пильника, дипломант межрегионального конкурса «Наймалы» и международного конкурса «Мирсконца-2015», проводимых музеем В. Хлебникова в Астрахани. Живет в Нижнем Новгороде.

КУБОК СЕРДЦА ПОДНИМЕМ...

* * *

Поддел врага тугой и острой пикой
 свет кочевой, что резвым зайцем прыгал
 по липким стенам нынче поутру,
 ну а к полудню прекратил игру
 и, обретя начищенные латы,
 стал всадником отважным и крылатым.
 Мы верили нерадостным прогнозам,
 мы ожидали ветер, дождь и грозы,
 но не сбылись пророчества шаманов,
 и свет остался в нашей точке шара.

Однако в своде кочевых законов
 нет правила всегда быть за окном, и
 поэтому неудержимый свет
 пришпорит и умчится по росе,
 как только стан обременит застоем,
 туда, где можно прыгать зайцем снова.

Территория ливня

I

У окна – геометрия,
 у яблока – физика.
 у ветра... А что у ветра?
 У ветра, высказавшись
 абстрактно – лишь интуиция.
 Раскачиваются проекции.
 Мимо летит синица
 в проём невидимой дверцы.

Метод познания – сон –
 исчерпал себя часам к девяти
 утра, когда набор хромосом
 так и не смог дойти
 до критериев потусторонних.
 Накрапывал дождь,
 переосмысленный вскоре
 в стёкол разбуженных дрожь.

У улицы – литература,
 у воды – живопись,
 у неба хмурого...
 А что у него де-юре,
 когда из жил весь
 этот лоб его тусклый?
 Должно быть, Бах – иными словами, музыка.

II

День потерян:
 подстреленным тетеревом
 падает в мокрые тернии.
 Да, потеря:
 территория ливня.
 Терракотовым воинам
 древнего императора
 теоретически
 всё это – театр
 одного актёра
 в контексте того, что нескоро
 закончится дождик,
 не отпускающий вожжи,
 не отпускающий в город
 вчерашних прохожих...

* * *

Пуговица висит на нити:
 дёрнешь – и ход событий
 оборвётся на том,
 будь ты хоть конь в пальто.
 Полетит в распахнутый ворот
 всё, что наплакал город, –
 дождь, подхваченный ветром,
 и снег, который, засыпав кюветы,
 запеленает грязь,
 пока не вылеплен новый князь...

Зыбко, всё зыбко.
 В переходе – играют на скрипке,
 ухо улиц кладя на весы.
 прохожие в шляпу за тщетную эту попытку
 бросают медные пуговицы.

* * *

Виноград торжествует:
он зрел, благороден,
он горит сквозь листву
и венчает угодыя.
Он лозой обвивает
любую преграду,
что возникнет, бывает,
на пути винограда,
поднимаясь по ней
над землёй человечесьей,
чтобы сделать видней
результат свой конечный.

Золочёные гроздья
и чёрные серьги:
восхищаются гости
с холодного севера
той беспечной возможностью
быть вровень с солнцем,
что плодам тонкокожим
как право даётся.
Виноградарь поделится
ей из кувшина –
кроветворными тельцами
в знак: быть бы живу.

* * *

Останешься один
среди картин,
написанных то маслом, то углём,
но вновь увидишь пустоту равнин
под слишком предсказуемым углом.

Лишняя сцену
пёстрой шелухи,
шагаешь вдоль, а мыслишь поперёк –
пусть коридоры кажутся глухи,
они нащупали себя посредством ног.

Застынешь у окна,
одёрнешь тюль,
дыханье форточки почувствуешь во тьме
и, отойдя, опустишься на стул
тотемным зверем с пеплом в животе.

Круги, круги –
геометричен взор,
но по линейке не отмерить вдох,
как и клубящееся это всё,
за что давно не ставят на горох.

* * *

Каменная простыня,
брошенная на постель,
образовала складки –
горную эту грядку.
В главном картина проста:
ода о высоте
без выкрутасов эстрадных
взлёт и имеет в виду.

Солнце в зените – под ним
точками и запятыми
птицы вносятся в текст –
орнитология речи.
Строчку собою продлим,
кубок сердца поднимем
полный хмельных чудес
за неслучайную встречу.

Проза

Павел ТУЖИЛКИН

Родился в 1953 году в селе Плюхино Горьковской области. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт. Работал инспектором отдела гражданской обороны, военным руководителем в школе, секретарем городского комитета ВЛКСМ, начальником отдела администрации города Сарова.

Публиковался в журналах «Роман-журнал XXI век», «Крокодил», «Нижний Новгород», ряде других изданий. Автор 39 сборников стихов и прозы. Лауреат национальной премии Союза писателей России «Имперская культура» за роман-предположение «Пламенный» о жизни Серафима Саровского (2011). Награжден золотой медалью «Василий Шукшин» (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Сарове.

КУСОЧЕК ХЛЕБА

Посвящается моей маме Т.П. Тужилкиной

Деревня медленно погружалась в густой майский вечер. Оранжевый шар уже не слепящего, а какого-то ленивого, неяркого солнца готовился упасть в овраг за бугром, заросшим кудрявым сосняком. Стояла глухая, чуть позванивающая в ушах тишина. Птицы, налетавшие за день в голубых просторах, угомонились в своих укромных уголках. Петухи, сорвавшие голоса за световой день, взгромоздились на насесты, чтобы выспаться к ранней утренней побудке. Собаки и те, высунув длинные, словно ремни, языки, валялись у домов, ленясь даже побрехать на редкого прохожего. Сладковатый пьянящий запах черемухи витал в воздухе, кружа голову, туманя сознание и лаская, словно материнские объятия. Пахло свежей травой, теплом только что прошедшего стада и пылью, еще не успевшей осесть на дорогу после коровьего нашествия.

Но сильнее всего пахло хлебом и щами из кислой капусты. Возле одного из домов стоял длинный стол, вокруг которого на скамейках сидели черные, будто черти из сказок, трактористы и хлебали вареву из общей полуведерной миски большими деревянными ложками с облезлой хохломской росписью. Под полные ложки они подставляли куски ржаного хлеба, который так благоухал, что у шестилетней девчужки,

стоявшей неподалеку, трепетали ноздри и рот то и дело переполнялся слюной, будто где-то внутри организма вдруг только что открылся родник. Девочка, мотая, словно лошадь, головой, плотала теплую обильную слюну, словно безуспешно хотела насытиться ею.

Танька, так звали девочку, незаметно для себя, шажочек за шажочком приближалась к усталым и голодным трактористам, сосредоточенно и молча поедавшим угощение, что им приготовила ответственная за кормежку работяг вдова Устинья, высокая жилистая баба, снующая между избой и общим столом.

Таньке очень хотелось есть, и поэтому она, несмотря на мамкин наказ не кланчить еду, как замороженная двигалась на вкусные запахи, что кружили ей голову похлеще черемушного дурмана. Конечно, скоро и ее посадят дома за стол и дадут кружку молока с куском ржаного хлеба, и голод перестанет постоянно напоминать о себе. Но хлеб, что мамка выкладывала вечером на стол, совсем другой. Он выпекался из отрубей, привезенных из города с мукомольного комбината, и был весь каким-то клеклым, рассыпучим и кислым. В нем не было ничего хлебного. Молоко тоже не очень сытное: сметану с него собирали, пахтали из нее масло и относили заготовщикам – обычный крестьянский налог на корову.

Времена были голодные. Тятка уже год как ушел на фронт. Мамка работала в колхозе, но на ее трудодни зерна не выдавали, только немного гороху. У Таньки было два брата – Семка и Шурка. Один старше на четыре года, другой на три года младше. Семку, как только он окончил три класса, мамка отправила на заработки. От учебы сытым не будешь. Всю зиму он уже работал как взрослый мужик – в бригаде лесорубов. И наравне со всеми – а это были в основном старики да подростки – валил ручной пилой деревья, складывал на сани и отвозил в соседнее село на лесопилку. А летом он работал в поле наравне с мамкой. Танька сидела с младшим братишкой. Но около дома одной скучно. Хотелось к друзьям и подругам. Танька сажала Шурку на закукорки и тащила на конец деревни, где играла в свои непритязательные игры прочая малышня. Шурка был пухлым и тяжелым, и приходилось через каждые две избы останавливаться и отдыхать. Но зато потом можно было скакать, бегать и хохотать вместе со своими сверстниками, изредка поглядывая в сторону братика – чтобы он куда-нибудь не ушел. Водиться с младшим братом было не очень радостно, но это лучше, чем работать в поле. Танька уже попробовала крестьянского труда. В прошлом году мамка брала ее на уборку хлеба. Ей дали в руки серп с ужасно толстой, пузатой ручкой и показали, как захватывать стебли ржи и отрезать их. Поначалу это воспринималось очередной забавой, а потом заломило спину, серп все время выпадал из маленькой ладошки, стебли кололи голые руки. Босые ноги, исцарапанные высокой стерней, кровоточили и саднили. Солнце, будто огромная печка, так накаляло макушку, что, казалось, можно было на ней жарить яичницу. Приходилось следить и за Шуркой, который все время куда-то исчезал – то спрячется в шалаше из снопов, то заберется в овраг, то залезет на березку и, шлепнувшись оттуда, заорет благими матом. За таким непоседой глаз да глаз. Если Шурка что-нибудь вытворял, доставалось опять Таньке – она числилась его нянькой. А попробуй-ка тут и с серпом управляться, и ноги не исколоть, и снопы увязывать, и за братиком приглядывать. Тяжело Таньке в поле. День тянется будто бесконечный. Единственная награда за этот адский труд – мамкино похвальное слово:

– Вы с Семкой-то молодцы: вдвоем за одного взрослого норму выполняете. Может, зерна дадут – хлеба настоящего испеку.

Но настоящего хлеба так и не было. А есть хотелось всегда. Особенно по весне. Это летом хорошо – и лук на грядках поспел, и горох стручками манит, и морковка в земле в розовую вкусную толстушку превратилась, и репка бока желтые показала, и щавель повсюду растет. Ешь не хочю. Выдернешь морковку из грядки, оботрешь о траву и хрум-хрум! Сладко, вкусно. Да и сытно. А весной что? Одна крапива. Так ее ведь много не съешь. Без хлеба от зелени сытости нет.

Запах хлеба, словно за невидимую, но прочную веревочку, тянул и тянул Таньку к столу. И вот она оказалась уже совсем близко, шагах в пяти от трактористов. Глаза ее были прикованы к ломтю хлеба, от которого жадно откусывал большие куски белобрысый тракторист из соседней деревни. Ему было всего-то лет шестнадцать, но он совсем по-взрослому сурово сводил брови и степенно тянул ложку к общей миске, а после сигнала бригадира стал тягать оттуда куски свиной солонины. В очередной раз подчерпнув щей и оправив ложку в широко открытый рот, белобрысый отвлекся от еды и взглянул на Таньку, которая стояла уже совсем близко, шевеля крыльями носа, словно пытаясь насытиться запахом хлеба. Тракторист понял, куда смотрит худенькая, как былинка, девчонка в сером застиранном платице, отломил от своего ломтя небольшой кусок ржаного хлебушка и молча протянул его Таньке. Та, не веря своему счастью, сначала замерла, недоверчиво глядя на тракториста. Тот хмуро кивнул ей и снова потянулся расписной ложкой к миске. Танька схватила кусок и во всю прыть бросилась к дому, даже забыв поблагодарить щедрого тракториста.

Спрятавшись за палисадник, в котором исходила белой пеной черемуха, она смаковала настоящий ржаной хлебушек. Сначала Танька откусила маленький кусочек и стала размягать его слюной, которая в избытке скопилась во рту. Хлеб таял так вкусно, что кружилась голова. Танька давила языком пахучую массу, не спеша ее проглатывать. И только когда весь рот оказался заполненным вкусной и сытной массой, она начала потихонечку, маленькими порциями глотать ее. Чуть-чуть проглотит и подождет, а глоточек тем временем идет по кишочкам, а те и радуются. Вот оно, лакомство долгожданное, вот она, радость неземная, вот, оно счастье сказочное. Таким макаром пару укусов проглотила и паузу держит. Кусочек хлеба совсем маленький, вот-вот и закончится, а удовольствие надо продлить подольше. Нюхает Танька хлебушек и глаза закатывает – так это приятно. Такого запаха нет ни у чего на свете. Ни один цветок в лугах не пахнет так вкусно и сытно, ни одно деревце, ни одна травинка не имеет такого волнующего запаха. Кто же это придумал такую радость – настоящий ржаной хлебушек? Нюхает Танька и думает: «Вот вернется тятка с фронта, вот заработает он целый мешок зерна, и напечет мамка тогда целую ковригу такого вот духовитого и сытного ржаного хлебушка. Неужели будет когда-нибудь у нее такое счастье?»

Сумерки тихо сгустились над деревней, и на небе, словно светлячки, стали загораться звездочки...

Будут в ее жизни, конечно, и праздники. Через два года одноруким инвалидом вернется с фронта ее отец и станет работать бригадиром в колхозе. И заработает он трудовни, которые позволят ей такой хлебушек есть каждый день. Правда, не сразу. Еще лет пять мамка будет

мешать муку с тертой картошкой, которую, срывая до крови пальцы, будет натирать Танька.

Придет пора школы, в которую она с товарищами будет бегать за три километра в соседнее село. Для деревенских детей это совсем уж и не далеко. Только зимой трудновато – утром, пока дорогу санями не пробьют, тяжело ступать большущими валенками по сугробам на переметном пургою пути. А весной и того хуже. Подтаает снег в овраге, зашевелятся ручьи под снегом. Пока через овраг перейдешь, сапоги уже воды набрали, так и сидишь целый день с мокрыми ногами. А когда совсем разольется половодье, тогда разувались ребятишки, снимали сапоги и ботинки и босиком переходили вброд разбушевавшиеся ручьи. Никому и в ум не приходило, что можно уроки прогулять. Как же – тебя от тяжелой работы освободили, чтобы ты учился. Какие уж тут прогулы?

В отличие от Семки, который только три класса окончил, Танька восемь лет отучилась. А потом – работа в колхозе, замужество, родилось двое ребятишек... Как бы тяжело ни было, а жизнь она прожила справную, толковую, работающую. А потом и внуки пошли. Есть уже и правнучки, которые, слава богу, и не знают, как вкусен бывает маленький кусочек настоящего ржаного хлеба.

Никита КРИВЦОВ

Родился в 1955 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук.

Трэвел-журналист. Публиковался во всех ведущих отечественных журналах о путешествиях. Автор более десяти книг и путеводителей, изданных в России и Англии. Победитель конкурсов среди трэвел-журналистов («Лучшая статья о Португалии», 2001 г., «Лучшая статья о Норвегии», 2008 г.).

Рассказы печатались в журналах «Сельская молодежь», «Мир Аэрофлота», «Север», «Новый берег» и других. Опубликовал также ряд переводов с английского, в частности несколько рассказов Джона Леннона.

Живет в Москве.

РАБОТАЯ НАД ДИПЛОМОМ

Занятие закончилось, и он вслед за студентками вышел из аудитории. За дверью, в коридоре его окликнула девушка:

– Здравствуйте, Николай Викторович! Вы меня помните? Я ходила к вам на спецкурс...

Он ее, конечно, сразу вспомнил. Яхонтова... Он еще спрашивал, не имеет ли она отношения к тому известному священнику-просветителю из Вологодской области, который был репрессирован. Нет, она была из других краев, правда, прадед тоже был священником. Но запомнил он ее из-за другого. Как-то он дал задание написать эссе по «Островам, не тронутым временем» Лоуренса Грина. В ее тексте он оценил, что она нашла какой-то любопытный эпизод из детских лет Грина, причем в англоязычной, а не русской Википедии. Но главное, она, заметив, что Грин сравнивал остров Дассен по форме с морской звездой, не поленилась и посмотрела карту в Google и написала, что ей форма острова больше напомнила взлетающую птицу...

Потом она что-то писала ему про Тарусу и даже привезла оттуда в подарок синюю чашечку с блюдцем.

Николай принес ее подарок домой, но вскоре блюдце было разбито. Жена из-за вечной спешки часто бьет посуду. Но почему-то особо достается подаркам, которые приносит он и которые ему романтически дороги...

А на зачет Юля, всегда ходившая на занятия в джинсах и в какой-то куче нахлобученных друг на друга маечек и кофточек, пришла в коротенькой юбочке и закинула ногу на ногу. Он внутренне улыбнулся распространенной среди студенток наивной вере в то, что это прибавит

шансов на хорошую отметку у преподавателя-мужчины... Конечно, ему эта форма скрытого соблазнения даже импонировала, но ее морская звезда, похожая на самом деле на птицу, значила для него гораздо больше, чем короткая юбка...

– Здравствуйте, конечно, я вас помню... Как ваши дела? Только напомним, как ваше имя?

– Юля, Юля Яхонтова.

Она улыбнулась, и он увидел серебряные брекеты со звездочками, которые тоже вспомнил.

– Я бы хотела писать у вас диплом.

– Ну, почему нет.

Николай уже привык, что к нему иногда приходили бывшие студентки – писать курсовые работы и даже дипломы, помня о его либеральном отношении и готовности помочь. Он часто просиживал с ними часами, чтобы порой примитивную работу выстроить и привести в божеский вид, а отметки всегда чуть завывшал. Так что не удивился.

Юля снова блеснула своими брекетами:

– Но у меня немного необычная тема...

– Да? И что?

– Я бы хотела писать о Пожнев, ну, такой эстетический и философский анализ его творчества...

– Пожнев?

– Вы его знаете?

Имя он слышал, что-то читал... Не более.

– Но он ведь не только и не совсем о путешествиях писал. Почему так узко?

– В том-то и дело! Я разговаривала с куратором, она сказала, что тема больше по кафедре литературной критики или даже философии. Но мне бы хотелось писать у вас.

Он молчал.

– Она сказала, что если руководитель кандидат наук, то можно и с другой кафедры.

Он пожал плечами.

– Ну, Николай Викторович! Мне бы так хотелось, чтобы именно вы были моим руководителем!

За ее вопрошающей улыбкой с брекетами и молящим тоном где-то маячила мини-юбка, но Николаю больше вспоминал морскую звезду.

– Юль, а почему вы Пожнева выбрали?

– Ой, он очень интересный человек. У него своя философия... А вы Гурджиева знаете?

Он хмыкнул.

Вспомнил, как в Сент-Поле, в Макалистере, узнав, что он из России, его спросила Лиза – студентка с синими глазами, копной черных волос, с прямым взглядом и в каких-то дурацких тапочках: «А что вы думаете о русском философе Трубецком?»

Николай замялся, ибо Трубецкого-философа не читал. А тут он, в принципе, знал о Гурджиеве, но все же сказать что-то однозначно и – главное – честно не мог.

Это имя Николай впервые услышал в середине 80-х, от одного датского музыканта из Ольборга. Он спросил его о «русских философах Гурджиеве и Успенском». Николай эти имена тогда не слышал, но потом не поленился отправиться в Ленинку. И нашел и Успенского книжечку по-русски, и кучу работ о Гурджиеве по-английски. Запомнил название

одной – «Детство с Гурджиевым». Читал о его странствиях по Ближнему Востоку, воспоминания о его жизни во Франции и Америке, про его с Успенским занятия где-то на Северном Кавказе в первые послереволюционные годы, пытался разобраться в его учении... Но все это было быстро, просто для ознакомления – вдаваться во все ему казалось слишком сложным. Зато оказалось, что один его друг тоже знает о Гурджиеве. Тот даже вытащил обтрепанную стопку пожелтевших листков – отксерокопированный перевод каких-то тезисов. Друг что-то еще говорил о суфизме, а потом вообще сказал, что учение Гурджиева близко к фашизму. Да, это были 80-е годы, о Гурджиеве тогда никто не знал, точнее, знали избранные... А Николай, порывшись в книжках о его учениях и путешествиях, ничего толком не понял – да это и трудно было понять. И все...

Вместо того чтобы все это сообщать Юле, он только сказал:

– Конечно. Кстати, вы знаете, у Кейт Буш есть песня о Гурджиеве?

– Да? Я не знала? А какая?

Николаю задерживаться не хотелось. Он посмотрел на часы.

– Юль, ну что? Если вы договоритесь с куратором, я не против. Держите меня в курсе!

– Спасибо! – снова блеснули брекеты Юли.

Вечером дома, садясь ужинать, он сказал жене:

– Знаешь, сегодня студентка приходила... Ну, та, что мне синюю чашку подарила. Помнишь? Хочет писать у меня диплом.

– А, ну да... – безразлично отозвалась жена...

Юля позвонила только в конце января. Он уже забыл про ее разговор со ним – так бывает: студенты загораются какой-то идеей, потом передумывают, находят более легкий вариант.

– Николай Викторович, когда можно было бы встретиться с вами, поговорить по диплому?

– А меня в качестве руководителя утвердили? С темой все нормально? Обговорили с куратором?

– Да, все нормально. Она только сказала, что хочет у вас что-то уточнить. Вы по каким дням бываете в универе?

– У меня занятия по средам, в полпятого. Аудиторию не помню. Вы найдете?

Николай полез в Интернет. При поиске на Пожнева тут же всплывала его книга «Дорога Света». Можно было купить в «Озоне» подержанный экземпляр. Потом, в ссылке «Спрашивают вместе», Николай нашел еще одну, более старую его книжку. Были ссылки и на его статьи о путешествиях, но в основном в еще доинтернетовскую эру, поэтому не выложенные в сети. И еще выудил мемуары какого-то литератора, где тот вспоминал редакционную жизнь, – там среди прочих упоминался и Пожнев, «автор, отличавшийся ото всех своей какой-то западностью, знанием английского и казавшийся немного чужим. Он был увлечен учениями мистика Гурджиева, ездил по его следам и воплотил многие его идеи в своей “Дороге Света”»...

Видимо, Юля и была этим вдохновлена...

С кураторшей Николай столкнулся случайно.

– А... Что-то вас хотела спросить... Вы ведь у Яхонтовой будете диплом вести?

– Ну... вроде как получается... Она сказала, вы не против...

– Она хорошая девочка... Но почему у вас? Вы ведь путешествиями занимаетесь.

– Ну, там у Пожнева тоже путешествия... Да, это будет биографическая, мировоззренческая работа, но через путешествия... Вот как «Дао» у Теру или «Семь столпов мудрости» у Лоуренса Аравийского...

– Лоуренс Аравийский? Он ведь разведчик был. Это, извините, по расследовательской журналистике или по военной вообще надо...

– Да нет... Он же и писателем был, и ученым. И творческая биография у него очень интересная...

– Ну ладно...

Юля держала под мышкой папочку.

– Что-то принесли?

– Нет, там только наметки. План. Хотелось бы обсудить с вами, как раскрывать тему.

– А вы тему уже как-то сформулировали?

У Юли зазвонил телефон.

– Ой, извините. Я сейчас...

Она отошла чуть в сторону.

– Привет! Как я рада! Я сейчас немножко занята... Да, в универе... По диплому... Да все фигня... Я уже жду не дождусь... Так соскучилась... Думаю, быстро... Буду у тебя... С тобой... Ой, Игорь, милый... Ну да, немножко... Перезвони, хорошо... Целую...

Николай ждал ее у двери в пустой кабинет.

– Извините.

– Ничего. Ну, показывайте! Что у вас?

– Это распечатка. Я «Дорогу Света» в инете скачала. Так удобнее с ней работать будет.

– А тему сформулировали? План?

Опять блеснули брекеты:

– Пока нет, хочу вот с вами обсудить.

– Мне трудно что-то говорить. Я «Дорогу Света» не читал. Нашел ссылки на какие-то статьи Пожнева. Вообще материала, как мне кажется, очень мало. Даже не знаю... Если что-то писать об авторе, нужно знать его биографию, кто и что о нем говорил, а тут почти ничего... У вас какие-то материалы есть?

– Знаете, я нашла ссылку: что-то о Пожневе есть в Литархиве.

– В архив пойдете? – Николай действительно удивился: студенты не то что в архивы, в библиотеки теперь редко ходят, все в сети ищут...

– Да, я даже узнала, что туда нужно письмо от факультета сделать. Мне обещали на кафедре подписать.

– Ну, дерзайте. Хотя... Что вы там найдете? Не уверен... Вы такую тему взяли... Времени-то мало осталось. И я пока даже не знаю, чем смогу помочь.

– А я вам могу дать распечатку книги. Почитайте. Я через неделю перезвоню...

Дома, раздеваясь в прихожей, он сказал жене:

– Встречался с дипломницей. Ну, той, которая чашку синюю подарила.

– А... Понятно...

– Удивительно, серьезно настроена. Собирается в архив пойти, искать... Мне распечатку книги принесла. Буду читать...

– Ну да. Читиво на ночь. Делать тебе нечего... Хочет, чтобы ты за нее что-то придумывал. Ничего больше не подарила?

Николай хмыкнул.

– И какой архив! Да не пойдет она никуда. Будет из тебя только мысли и идеи высасывать. И еще непонятно, что сделает. И сделает ли вообще...

Юля опять ждала Николая у двери в аудиторию после его занятия.

– Вы прочли книгу? Как вам?

– Знаете, не успел, – соврал он, потому что просто забыл о папке, что дала ему неделю назад Юля. – Извините, а вам нужен текст?

– Нет, пока нет. Я ведь в архиве была. Там действительно кое-какие материалы оказались, правда, немного. Сейчас ими занимаюсь. Там рукописи, некоторые заметки, газетные вырезки. Какие-то документы из редакций... Никогда так в бумажках не копалась...

Аудитория, где Николай до этого проводил занятие, была свободна. Они зашли и сели за стол.

– Я нашла кое-что любопытное. Позже классным дядькой оказался. Когда он в Саудовской Аравии был, он с одним местным даже в Мекку ездил. Куда немусульманам нельзя. Он арабскую одежду надел, до носа укутался и с этим саудовцем на машине туда поехал. Он об этом не писал нигде, ну, чтобы страстей не накалять. Просто упоминает, что был во всех священных городах Ближнего Востока.

– Прямо как Бертон.

– Бертон?

– Это английский путешественник, писатель и переводчик. Он чуть ли не первым из европейцев попал в Мекку. Тоже под видом какого-то паломника. Чуть ли не из Африки...

– А, да! Позже что-то про него писал.

– Это все здорово. Но ведь нужны и биографические данные. Ведь без биографической части вам работу не сделать...

– Я ищу. Все как-то по крохам... А вам что-то удалось найти?

Юля осеклась. Замолчала, вскинув на Николая глаза и сразу опустив их. Искать должна была она, а он должен был ей только помочь. Советом. Возникла пауза.

– Но зато я вот что поняла. «Дорога Света» связана с учением Гурджиева. Гурджиев считал необходимым разбудить спящую мысль и ощущение истинной реальности в человеке. Он искал «четвертый путь к счастью» – это и есть в «Дороге Света». Посмотрите, я законспектировала некоторые постулаты Гурджиева. Их можно увидеть и у Пожнева в его книге. В распечатке, что у вас, я даже пометила некоторые места. Вы принесете, я вам покажу. А пока вот смотрите, что я у Гурджиева нашла.

Юля выложила стопку листов и стала показывать отмеченные маркером куски.

Трансформация, высшая энергия, плотность материи, множественность «я»...

Юля была увлечена. Николаю было понятно и даже близко ее увлечение, но надо было как-то переводить все это в практическое русло. Однако перебивать ее было как-то неловко...

Ему помог звонок.

Юля вынула телефон, посмотрела на дисплей, на секунду засомневалась, потом обернулась ко нему:

– Можно, я на минутку?

Он кивнул.

Юля ответила в трубку «да» и вышла, не прикрыв за собой дверь.

– Привет, милый! Я рада тебе... Еще в универе, тут по диплому разговариваем. ...Я уже заканчиваю... Не волнуйся... Мы ведь скоро увидимся? Я очень жду этого... Что ты говоришь! Как могу тебя забыть... Просто хочу поскорее с дипломом разделаться и приеду к тебе тут же... И совершенно свободная!

Юля вернулась в аудиторию и убрала телефон в сумку:

– Извините.

– Ничего. Тем более, думаю, пора заканчивать. Но вы к следующему разу тему как-то сформулируйте. О чем будет работа, я уже представлю, но для кафедры нужна такая формулировка, которую бы они утердили. Что-то такое наукообразное... Хорошо?

– Чего-то ты совсем поздно.

– Да с дипломницей засиделись.

– Это та, которая с синей чашкой?

– Да... Занятная девчонка... Увлеченная... Правда, куда-то ее несет... Не знаю, как она в русло работы вырулит. Но с ней интересно. И очень милая, искренняя какая-то...

– Конечно, интересно. Перед молоденькой девчонкой петухом ходить. Небось смотрит на тебя восторженными глазами, а ты и счастлив. Еще бы – будет милая!

– Но она действительно умненькая. Мне правда ей хочется помочь.

– А мне кто поможет? Приехала уставшая, тут же к плите... Ведь небось, сейчас скажешь: а что на ужин?

Николай еще раз перекопал интернет. Вначале Пожнев писал про Север – мелькали его публикации про Карелию, Архангельскую область, Финляндию, Скандинавию... Потом появилась экзотика: Турция, Арабский Восток, Индия, Израиль, Кавказ... В своих статьях он нигде не говорил, что является последователем Гурджиева. Лишь в одном месте Николай нашел его слова: «Побывав у всех столпов мудрости, я вдруг понял, что иду по следу Георгия Гурджиева. И это не могло меня оставить равнодушным».

Потом Николай переключился на Юлину распечатку книги «Дорога Света». Про свои ранние поездки Пожнев говорил там скупое. Лишь как бы отсылая читателя к своим воспоминаниям. Там были рассуждения о смысле жизни, потрясающие описания пейзажей, ощущение счастья, какие-то невероятные размышления о сути бытия...

– Что ты все читаешь? Уже день не встаешь из-за компьютера.

– Да, понимаешь, любопытные вещи у этой Юли...

– Ты чего-то на этой студентке совсем заиклился. То-то ты так из-за этого блюдца тогда расстроился. Прямо любовь какая-то...

– Я ведь ее руководитель. Надо помочь девочке. Тем более, говорю, не дура, любопытная, умненькая...

– Помочь? У тебя сын школу оканчивает, поступать будет. Ты бы ему столько времени уделял.

Когда он выходил после занятия из аудитории, Юли за дверью не было. У него в руках были ее тексты с его замечаниями, где-то совпа-

дающими с пометками ее маркера, где-то ставившими вопросы. А в голове были заранее заготовленные слова и мысли.

Юлино отсутствие его немного озадачило и расстроило. Да и разозлило...

Но ненадолго. Зазвонил мобильник.

– Николай Викторович, извините, пожалуйста. Я задержалась. Вы еще на факультете?

– Нет, я уже выхожу, – сказал он с досадой и даже какой-то безапелляционностью. Словно, желая отрезать.

– Я уже из метро выхожу...

– Ну, не знаю...

Они с ней столкнулись на улице. Она почти бежала, пальтишко было расстегнуто, шарф лишь наброшен.

– Здравствуйте! Извините еще раз, пожалуйста.

Ее глаза были искренними и просящими.

Ему стало ее жалко.

– Ничего, бывает.

– Я ведь работаю... Меня задержали... Сменщица опоздала... Не отпускали...

Юля стала рыться в сумке.

– Я еще тут кое-чего нашла...

– Что, вы мне прямо здесь будете показывать? Так... Вы, наверное, лучше знаете, здесь где-то присесть, кофе выпить можно?

– Да, здесь вот рядом совсем.

Они прошли к метро, свернули за угол и оказалось, что в большом здании, где располагаются всякие государственные конторы, внизу есть кафе.

Они сели за столик.

Юля перестала выглядеть несчастной и виноватой, а стала просто какой-то доброй и домашней.

– Николай Викторович, вы прочли книгу? Я перерыла все, что нашла. Мне теперь почти все в ней понятно. Сейчас я вам объясню.

– Я ведь обещал. Кстати, обратил внимание на ваши пометки – все очень по делу. Молодчина!

– Вы знаете, путешествуя по Ближнему Востоку, Пожнев в какой-то момент познакомился с идеями Гурджиева, оказалось, что он чуть ли не по следам его ходил! Но ведь и у нас есть точки притяжения, которые отметил своим пребыванием Гурджиев. В 1918 году он с Успенским и группой последователей жил в Эссентуках. Там они ходили в походы, поднимались на гору Бештау... И книга «Дорога Света» – это путешествие по его следам. Пожнев отправился на Северный Кавказ, чтобы побывать там, где бывали Гурджиев с Успенским, хоть он и не пишет об этом. Нет, я как раз нашла в архиве его объяснение поездки в Эссентуки. Но в книге этого нет. Но и без указаний на это там и так все понятно. Вот, смотрите...

Юля взяла у него папку с распечаткой, вытащила из сумочки файл со своими листками. Николай тогда впервые обратил внимание на ее пальцы. Точнее, на ногти с нейл-артом – какими-то узорчиками, которые смотрелись наивными.

Говорившая уверенно Юля показалась ему совсем девочкой.

– Юля, а вы хоть перекусили после работы?

– Ой, нет...

– Давайте что-то к кофе вам закажем.

– Нет, спасибо...

– Ну, вот вижу, здесь пай яблочный есть. Может, съедите?

Юле принесли пай – большую тарелку, где кроме самого яблочного пирога была еще сахарная пудра, корица, мятные листики и карамелевые завитушки, которые делали блюдо не только красивым, но и дорогим.

В течение нескольких минут, пока она ковыряла ложкой пирог, чувство неловкости, даже детской застенчивости на лице Юли постепенно переросло в скромную, но все же слегка кокетливую улыбку.

– Вот, смотрите, – Юля выложила очередной лист с текстом. – «Из морозного марева заката среди степи вдруг выплывали диковинные очертания горы Верблюд, то белыми прожилками снега в лощинах контрастно очерчивалась Бештау, а темными контурами пологих вершин синела на фоне горящих верхушек камышей Змейка...» И дальше: «Эти одиночные горы среди степи появлялись в полумраке словно призраки, фантастические образы нашего прошлого, настоящего и будущего, что в руках тех самых неведомых сил. Сил, которые и наполняли вдруг мир этими странными гигантскими созданиями, несущими и мир, и любовь, и разрушение, и хаос»... А смотрите, что есть у Гурджиева...

Юля читала выписанные цитаты, а Николай следил за ее пальцами с наивным нейл-артом на ноготках.

– Мне кажется, «Дорога Света» – это не просто путешествие вслед за Гурджиевым в окрестностях Пятигорска и Ессентуков. Это поиск смыслов. Пожив, побывав там, мне кажется, передал образами его мысли и идеи. А смотрите, какое там описание прогулки по склонам Бештау. Сейчас я найду...

Раздался телефонный звонок.

Юля встала из-за стола и отошла на пару метров.

– Привет, Игорь! Да, могу... Но не очень долго... Здесь немного шумно... Я в кафе... Нет, мы по диплому с научным говорим... Ой, наверное, я зря тебе сказала, милый... Ты неправильно поймешь... Просто я на работе задержалась, на факультете уже поздно было встречаться... А мне тут надо кое-что обсудить важное... Не сердись... Ведь я скоро приеду. Игорь, ну чуть-чуть подожди... Почему он важнее тебя?.. Да что ты говоришь?! Я в таком тоне с тобой говорить не хочу... Все, пока!

Юля решительно завершила разговор и вернулась к столику.

– У вас все здорово получается. Знаете, есть такое направление в трэвел-журналистике «in the steps». Когда ты путешествуешь по следам какого-то своего знаменитого предшественника... Но как вы тему диплома все-таки сформулировали? Ведь со дня на день у нас потребуют.

Юля была явно выбита из колеи телефонным разговором. Потом все-таки собралась.

– Да, думаю что-то типа... «Философия путешествия у Владимира Пожнева». Так нормально?

– Суть понятна. Но как-то очень общо. Надо бы поконкретнее. Может, «Путешествие как поиск смысла бытия»? Или слишком претенциозно? Подумайте!

– Ой, класс! Давайте запишу.

– Но вы еще подумайте.

– Да, конечно... Спасибо...

Юля быстро записала что-то на одном из своих листков, а пока Николай расплачивался, вытащила телефон и быстро набрала смс: «Игорек, милый, не обижайся! Я тебя целую. До скорой встречи».

- Ну ты вообще офигел. Что так поздно?
 - Ты же знаешь: преподавал, потом с дипломницей встречался.
 - Что, неужели на факультете в это время еще кто-то есть?
 - Ну, мы с ней в кафе зашли.
 - В кафе? Ты уже своих студенток по кафе водишь? Ну-ну! Меня ты уже сто лет никуда не приглашал.
 - Ой, ну что ты говоришь... Мы просто кофе выпили. У нее...
 - А, да, это твоя «уменькая девочка». Любимица.
 - У нее серьезная работа, и она действительно уменькая.
- Николай пожалел, что сказал жене про кафе. Но уже было поздно.
- Скажи: у тебя с ней роман?
 - Ну что ты несешь! Просто ты же знаешь, как я к своему преподаванию отношусь.
 - Да уж, а платят тебе копейки. Сколько там за час? А ты еще столько времени в них вбухиваешь... И потом еще по кафе водишь! Нашел развлечение для себя! Я понимаю, тебе приятно, что тебя слушают, раскрыв рот, ты перед девчонками гоголем ходишь. Посмотри на себя! Седина в бороду – бес в ребро!
 - Ну что за фигня...
 - Я вкалываю, дом тащу на себе, а тебе все для удовольствия, для своих нереализованных амбиций...
 - Но это правда серьезная работа. Она в архивах все облазила, кучу интересного нашла...
 - Да я знаю студентов, сама преподавала! Они ведь как вампиры. Умеют высасывать все, что им нужно. И пока им нужно. Думаешь, эта твоя «синяя чашка» о тебе вспомнит, после того, как защитится? Да никогда.
 - Какая разница: вспомнит – не вспомнит. Я ведь не для этого с ней сижу, ей помогаю. Просто раз взялся за что-то, надо делать это на все сто. Тем более она действительно хорошая девчонка.
 - Хорошая девчонка, да, милая еще?! Не, ну ты точно на нее запал. То-то так расстроился из-за разбитого блюда.
 - Да причем здесь ее блюдо? Я бы из-за любого расстроился... Хотя это особенно жалко – это было так трогательно...
- Жена хлопнула дверью.

Юля не появлялась несколько недель. Потом позвонила:

- Я могу к вам в среду подъехать, как всегда, после вашего занятия?
- Да. А вы куда-то пропали. Уезжали? Время поджидает.
- Нет, я работала. У меня уже почти все готово. И тему утвердили. Так что все нормально.

Николай был готов ей не поверить, но когда они встретились, Юля вынула аккуратный файл с распечатанным текстом и протянула ему.

- Здесь практически все. Посмотрите. Я не стала высылать вам на почту, вы же говорили: любите читать на бумаге.

Читать страниц тридцать текста прямо при Юле было бы глупо. Но, даже лишь пролистав, пробежавшись по диагонали, можно было убедиться, что текст добротный, все представлено довольно грамотно. Вначале шла речь о первых – северных – очерках Пожнева, потом перечислялись его восточные путешествия, от которых был переход к «Дороге

Света», и Юля довольно элегантно пыталась выстраивать мостики между северокавказскими впечатлениями писателя и смыслами Гурджиева.

Николай пролистал работу, сразу увидел какие-то мелкие огрехи, нестыковки, стилистические шероховатости, но было видно – диплом практически готов.

– Вы хорошо поработали, Юля. Я даже не ожидал... Нет, я всегда был в вас уверен, но уж больно непростую тему вы выбрали. А вроде все получилось. Я посмотрю... Давайте через неделю встретимся. А пока можете отдыхать от трудов праведных.

– Ой, спасибо! Здорово! Мне самой было интересно работать. И если так все получилось... Отлично...

Потом, уже прощаясь, Юля сказала:

– Знаете, там в архиве такая тетенька хорошая есть, Седа Абрамовна, она ко мне прониклась как-то...

– Да уж немудрено. Вы, видимо, там так старательно работали.

– И вот она сказала, когда я была у них в последний раз... Она вспомнила, что у них еще есть коробка с неразобранными документами Пожнева. Она попала к ним недавно, ее даже не успели разобрать и зарегистрировать. Седа Абрамовна сказала, что может мне ее дать, покопаться в ней...

– Ну что, покопайтесь, хотя, я думаю, вы что-то принципиально новое едва ли там уже найдете.

– Я тоже так думаю, но все-таки съезжу еще. Так, для очистки совести...

– Ну, удачи. До встречи, Юля!

Юля в автобусе вынула телефон.

– Игорь, привет!

– Привет!

– Я думаю, что послезавтра мы уже увидимся. До среды я свободна!

– Неужели?

– Ты что, не рад?!

– Ты мне про «увидимся» говоришь уже два месяца...

– Ну ты же знаешь, у меня диплом. Теперь все...

– Ты правда хочешь меня увидеть? Правда соскучилась? А как же твой препод?

– Игоряша, не надо. Видишь, я сама очень рада. Я звоню...

– Рада? А то такая деловая стала...

– Конечно, рада. Завтра с утра в архив заеду, а потом в кассу за билетом. И к тебе! До встречи, милый!

– До встречи, Юлька!

На следующий день вечером, когда Николай ужинал, зазвонил его мобильник.

– Алло, Николай Викторович? Это Юля. Юля Яхонтова, ваша дипломница.

– Да, слушаю вас, Юля.

– Знаете, мне очень нужно с вами встретиться.

– Да, конечно. Но мы ведь на среду договорились.

– А раньше нельзя? Это срочно.

– Что-то случилось?

– Нет, но понимаете... Мой диплом... А защита уже совсем скоро...

– Что с дипломом? Вроде все нормально, есть какие-то мелкие замечания, вы, думаю, все за пару дней сделаете.

- Я просто нашла кое-что новое.
- Ну, если что-то важное, суперважное, добавьте. А если нет, то черт с ним... В любом случае время есть.
- Но это действительно важное. И так просто не добавишь. Я бы хотела с вами обсудить. Когда это можно?
- Хм...
- Он думал. И смотрел на жену. Она тоже смотрела на него – испытующе и с вызовом.
- Так, завтра я занят... В субботу... В субботу у меня встреча на Водном стадионе...
- На Водном? А когда? Я могу туда подъехать. Там «Макдоналдс» есть, там можно было бы встретиться, если вам удобно...
- Хорошо! Мне нужно к двум. Давайте в час в «Макдоналдсе». Только не опаздывайте!

- Это кто звонил?
- Дипломница.
- Я так и поняла. Ты с ней так сюсюкал.
- Я сюсюкал?! Где? Она по делу звонила/
- По делу в десять вечера. Наглость какая! Посадил себе на шею.
- Но у нее что-то срочное.
- Срочное? Что может быть срочное по диплому?
- Не знаю.
- Не знаешь... Может, она беременна?
- Что ты хрень какую-то говоришь?!
- Это я хрень? Поздние встречи, походы в кафе, такая небывалая забота... Я уж ни чему не удивлюсь.
- Кончай! Просто надо встретиться. В субботу я к Лешке еду, перед этим с ней пересекусь.
- Знаешь, мне это уже надоело! Даже в выходные к своим девкам ездишь! Раз они так тебе нужны, можешь вообще выматываться. У тебя есть своя квартира, стоит пустая, давай – живи там! Я уже сколько раз тебе говорила: не устраивает жизнь в семье – живи один. И можешь водить к себе кого угодно, любых девок!

В это время Юля набирала другой номер:

- Игоряша, привет!
- Юль, ну ты взяла билет?
- Знаешь, я сейчас не приеду.
- Что?
- Понимаешь, тут так получается...
- Что получается?! Ты мне это «получается» уже сколько времени твердишь ...
- Но это правда серьезно. По диплому... Не знаю, что делать... Мне с научным нужно обсудить, срочно...
- С научным? Я давно уже чувствовал, что у тебя с ним что-то. Дурак...
- Кто дурак?
- Я... Раньше мог все это понять. А то слушал: подожди, я приеду, приеду... Можешь не приезжать!
- Игорь...
- Но в трубке уже были гудки.

Когда Николай зашел в «Макдоналдс», Юля уже была там. На столике перед ней лежали бумаги.

– Добрый день, Юля! Что там у вас?

– Здравствуйте, Николай Викторович!

Она улыбнулась, показав свои брекеты, но вид у нее был серьезный и даже обескураженный.

– Понимаете... Все, что я написала в дипломе... почти все... можно выкинуть... Это не имеет никакого смысла. Это все – неправда. Точнее, неверно. Мои домыслы...

– Почему? Что вы имеете в виду?

– Я в четверг была в архиве. Седа Абрамовна дала мне эти неразобранные документы...

– Ну и что?

– Это оказались записи и письма Пожнева. Они хранились у его близкого друга. Друг этот недавно умер.

– И?

– Я стала смотреть их. И, оказывается, там все по-другому. Какого-то особого интереса к Гурджиеву у него не было. Да, он, оказавшись на Северном Кавказе, хотел найти следы Гурджиева и Успенского. Но только вначале...

– И что?

– Там у него была любовь! У него был роман с женщиной из Пятигорска. Я читала письма... И это была не какая-то случайная связь, а настоящая любовь! Я думала, такое бывает только в кино или в романах... Я читала... У них были такие чувства... Они могли не видеться по многу месяцев, общаясь только через письма. И при этом сохраняли свои чувства...

– А как же его походы, подъем на Бештау?

– Да, все это было, но он ходил, ездил с ней! А Гурджиев стал... оправданием, отмазкой... Для близких, для жены, для друзей...

– Отмазкой?

– Ну да, он всем говорил, что занимается Гурджиевым, а на самом деле... Это была его тайна. О которой никто не знал, только этот его самый близкий друг. Которого тоже больше нет...

– Да... Вот как бывает...

– Я снова прочитала «Дорогу Света». И теперь все поняла. Когда я писала работу, находила какие-то философские объяснения мыслям и чувствам Пожнева, мне все время казалось, что чего-то не хватает. Я не понимала чего... Я пыталась что-то связать, соединить, все было вроде логично. Но чего-то не хватало! И теперь все стало понятно. Все встало на свои места. Это книга о любви. Только любовь может дать то, о чем он писал, те чувства, мысли, образы... Даже восприятия пейзажей, звуков, запахов... Ведь он там был не один... И там неслучайно звучит эта мысль – то ли Ошо, то ли дао: «для хлопка нужны две ладони»...

– А кто была эта женщина?

– Не знаю. Не знаю, кто именно. Но, как я поняла, самая обычная. Просто женщина. Которую он очень любил... Он к ней ездил... Они там были вместе. И об этом, не называя никого и ничего, он писал... Я поняла, что такое его книга. «Дорога Света» – это любовь...

Юля замолчала. И он молчал... Потом собрался:

– И что вы по поводу всего этого думаете? Я имею в виду... вашу работу.

– Вот я и хотела с вами посоветоваться, как мне быть. Ведь это перечеркивает все то, что я сделала.

– Ну, почему перечеркивает... Времени у вас до защиты всего несколько дней. Переписывать всю работу, а тем более менять тему времени уже нет. Да если бы даже и было, нам бы по башке дали, что мы в последнюю минуту все меняем. Тем более что и так нам на кафедре со скрипом все утвердили. А тут еще про любовь...

Николай задумался.

Что делать? Вообще отмахнуться, будто ничего и не было? И по-быстренькому защититься, без всяких напрягов? Нет, ведь Юля сделала настоящее открытие! Как можно это обойти, скрыть! Такое не удастся и состоявшимся ученым, а тут – девушка-студентка! Отказываться от такого везения!

Тут взгляд Николая упал на часы. У него до встречи оставалось пятнадцать минут.

– Так, Юль, что можно сделать... Вы эти новые документы как-то законспектировали?

– Да, и все сняла на телефон. А многое уже в компьютерный текст перевела... Вот, принесла вам...

– Отлично. Что я предлагаю: вы оставляете в своей работе все как есть. Предисловие, первую главу, ту часть, где ищите в «Дороге Света» параллели с философией Гурджиева, сокращаете, и добавляете третью главу, где раскрываете секрет книги.

– А как это можно соединить?

– А в конце второй главы вы напишите что-то типа: «Несмотря на такие параллели, поиски смыслов и так далее, главный секрет – в личной жизни писателя». И дальше то, что вы сейчас нашли. Все вполне логично, все складывается. Ничего друг другу не противоречит. Как вам кажется?

Юля откинулась на спинку стула, как-то расслабилась и впервые за всю встречу улыбнулась:

– Николай Викторович! Вы – гениальный человек!

– Все, Юль, давайте. Мне пора! Успеете? Должны успеть! Вы же умница!

– Спасибо, Николай Викторович! Успею!

Накидывая куртку, он обернулся к Юле:

– А знаете... Ведь вы сделали реальное открытие! По существу, вы переписали биографию писателя. Прямо Иракий Андроников. Да, Пожнев, конечно, не Лермонтов, но все же... На кафедре исследовательской журналистики могли бы защищаться. Там бы многие вам позавидовали.

– Ну, это же случайно получилось...

– Таких случайностей не бывает. Ведь мало кто бы так в архиве сидел. А вы – сидели. И не поленились все до конца изучить. Поэтому и говорят, что при некоторых обстоятельствах случайность становится закономерностью. Молодец, Юля! Удачи вам, и давайте постарайтесь побыстрее. Времени в обрез! Счастливо!

В понедельник, поздно вечером, позвонила Юля.

– Николай Викторович?

– Да, добрый вечер Юля.

– Я не очень поздно? Извините...

– Нет-нет, ничего.

Юля молчала... Паузу нарушил он:

– Ну, как ваши дела? Как работа? Все нормально?

– Да, работаю...

– Успеваете? Ведь через два дня защита.

Юля молчала...

– Я уже посмотреть окончательный вариант не успею, но, надеюсь, вы все сделаете так, как мы обговорили. Я в вас верю. У вас есть какие-то вопросы?

– Знаете, что я подумала... – неуверенно начала Юля. И снова замолчала... – Ведь теперь мы с вами единственные, кто знает тайну этой книги. Тайну Пожнева.

– Да...

– И нужно ли, чтобы эту тайну узнал кто-то еще?

Николай в ответ пожал плечами, будто она могла его видеть.

– Алло? – переспросила поэтому Юля.

– Да-да, я вас слушаю.

– И вам не кажется, что, как любая тайна, она теперь связывает и нас с вами?

Юля говорила медленно, очень тихо, и было очевидно, что эти слова давались ей с трудом.

Она, наверное, была права, но он не знал, что ей ответить.

– Вы молчите? Вы со мной не согласны? Или просто думаете, что я вздорная глупая девчонка, которая невесть что себе напридумывала?

– Нет, ну что вы, Юля... Вы... вы... верно говорите, вы ум...

– Умница, да? Умница-разумница... – рассмеялась она каким-то вдруг охрипшим голосом...

Потом голос у нее исправился:

– Извините... Все будет нормально. Не волнуйтесь...

На следующий день Юля заехала в Литархив.

– Седа Абрамовна, я еще можно кое-что гляну, проверю?

– Ой, да конечно, Юлечка.

Юля взяла уже знакомую коробку, поставила на стол и стала возиться с папками. Когда Седа Абрамовна вышла, она вытащила оттуда стопку листов, сложила их и спрятала под свой обычный наряд из футболки, кофты, толстовки.

Спустя минут двадцать она уже шла по бульвару. Увидев дымящуюся кучу прошлогодних листьев, Юля вынула стопку бумаг и бросила в тлеющий костер. Бумаги тут же полыхнули ярким пламенем к радости бегавших вокруг детишек. Юля пошла было дальше, но потом остановилась, вынула телефон и стала один за одним удалять снимки, что сделала несколькими днями раньше в архиве.

На защиту Николай пришел заранее, чтобы все обсудить с Юлей в последний раз и глянуть текст ее выступления.

Но ее у аудитории не увидел. Остальные дипломники были в сборе, члены комиссии тоже постепенно подтягивались. Он нервничал.

Вошла заведующая кафедрой.

– И где же ваша Яхонтова?

– Сейчас подойдет. Куда ж она денется...

Заведующая неодобрительно покачала головой:

– Ох, какие все-таки они неорганизованные. Даже на защиту не могут вовремя прийти. Вообще-то Яхонтова хорошая девочка. Правда, такую тему себе выбрала... Ну, посмотрим, посмотрим... Может, правда что-то интересное нам поведает.

– Да, Виктория Федоровна, Юля молодец. У нее диплом – настоящее открытие!

– Хм... – покачала головой та. – Послушаем, что за открытие...

Юля вошла, когда уже председатель комиссии поднялся, чтобы начинать заседание. Она прошмыгнула в дверь и села рядом с Николаем.

Завкафедрой бросила неодобрительный взгляд – на него, не на Юлю.

– Где вы пропадаете?! Вы же меня подводите! – не сдерживая раздражения, стал отчитывать он Юлю.

– Я распечатать кое-что не успела, а у меня флешка не открывалась. По всему зданию бегала, принтер искала...

– Ладно... Теперь уж что говорить. Сосредоточьтесь и не нервничайте. Все будет нормально, – взяв себя в руки, приободрил он ее.

Юля защищалась последней.

Она начала выступление немного застенчиво, но потом обрела уверенность, и Николая даже поразили ее четкость и лаконизм. Она, лишь иногда заглядывая в бумажку, сыпала цитатами, очень к месту привела подсказанные им ей слова Ливингстона о том, что путешествовать гораздо проще, чем писать о путешествиях, сравнивала пассажи из Пожнева с постулатами Гурджиева и гладко вышла на яркое рассуждение, позаимствованное у Теру, о странствиях как поисках смысла бытия.

Николай думал, сейчас она перейдет к самому главному, к своему открытию о тайне любви, которая-то и наполняла «Дорогу Света». Но Юля опустила листик со своим выступлением и поблагодарила собравшихся.

Виктория Федоровна обернулась к Николаю с выражением недоумения на лице. Он сделал вид, что не понял ее взгляда.

Члены комиссии уже приустиали, некоторые переговаривались. Председатель, листавший Юлин диплом, пока она выступала, заговорил первым:

– Ну что... По-моему очень крепкая и добротная работа. Интересные параллели... Даже вот не ожидал, что такие широкие и разнообразные познания у наших студенток. И вижу, вам самой было интересно. Это очень важно. Какие-то замечания, вопросы у членов комиссии будут?

Похоже, вопросов не было; члены комиссии стали переговариваться и шушукаться еще громче: все понимали – защита подошла к концу.

– Вот у меня к вам, Юлия, есть вопрос, – вдруг раздался голос Виктории Федоровны. Прежде чем продолжить, она взглянула на Николая. – Да, у вас интересная работа. Видно, что вы хорошо поработали с материалом. Но удалось ли вам сделать какое-то открытие?

Юля посмотрела на Николая, помолчала, а потом еще более уверенно, чем когда выступала, ответила. Ответила так, будто ждала этого вопроса:

– Да. Я сделала одно очень важное открытие. Важное для меня самой, да и, думаю, для всех. В жизни человека, прежде всего человека творческого... потому что именно таких обычно рассматривают под микроскопом... должна быть тайна. Тайна, которую никому не должно знать.

И она опять посмотрела на Николая.

Он отвернулся к окну.

За стеклом через двор пролетала птица.

Она ему показалась похожей на морскую звезду...

Александр ГРИГОРЬЕВ

Родился в 1973 году в Горьком. Окончил Нижегородский областной колледж культуры. С 1997 года работал журналистом в Нижнем Новгороде, на Сахалине, в Сибири, в Перми, в Санкт-Петербурге, в Москве.
Живет в Перми.

ОК, ОКСАНА, ОК

Посвящается 50-летию О.Е.П.

Я протянул ей букет крымской лаванды, и мы прошли в частное домовладение общего товарища, ровно 20 лет назад работавшего с нами в одной дальневосточной компании. Они, двадцатидвухлетние молодые люди, попали ко мне в подчинение по объявлению в газете. Их начальнику было 26, невелика разница, но тогда она казалась почти пропастью. Плюс статус «человека из Москвы», только-только начинался XXI век, у меня единственного в организации был мобильник и т. д., и т. п.

- Я до последнего мгновения не верила, что ты приедешь.
- Даже когда звонил из такси?
- Даже когда выходил из такси.
- Почему?
- Такая уж у тебя репутация.

Моя репутация. Как говорили когда-то, скомпрометировать коммуниста может только сам коммунист. В моем случае это работает на все сто.

В прошлом году ее ближайшая подруга и моя девушка (мы прожили вместе две зимы и три лета) предложила мне встретиться. Она приехала в Москву на неделю, я тогда обретался между Бибиревом и Медведковом, заканчивал не слишком успешный проект. В мессенджере ее предложение выглядело игриво, озорно, а смайлик с сердечком совершенно меня растрогал. На память пришли пара-тройка эротических эпизодов, в общем, я с радостью согласился. Спустя какое-то время Н. написала мне снова (уже строго, даже повелительно, без какой-либо игривости, озорства, тоном, не подразумевающим смайликов). «По графику у меня в пятницу Исторический музей, закупка книг для ребенка, выставка шоколада и с 19.00 – ты». Наверное, стоило не обращать внимание на то, что меня, как жирного гуся, вписали в разное меню между шоколадом и утренним поездом, но я взбрыкнул и, сославшись на форс-мажор на работе, в пятницу на свидание не пришел. Подозреваю, что Н. своей подруге привела немало остроумных ругательств в мой адрес.

– Мама удивилась, что в твоём сборнике рассказов только один имеет посвящение и это посвящение мне. Помнит, говорит, забыть не может!

– И никогда не забуду.

Так уж устроена моя жизнь, что я все время в разъездах. Я завидую по-хорошему своим друзьям, особенно многодетным. У каждого из них прекрасный дом, жена, две машины, дети, коты, собаки, а у некоторых и куры. Но у самого ничего похожего не получается. Я даже не знаю, где буду через полгода, в каком краю.

В тот год я жил и работал в Питере. Я расстался с Н. и впервые узнал, что такое депрессия. Бросил работу, пил и спал сутками, а потом рванул на Дальний Восток.

– Я хочу тебе признаться кое в чем.

– Валяй.

– Помнишь, как я прилетал во Владивосток?

– Конечно.

– Я хотел рассказать тебе, как потерял голову от любви, какие-то, помню, образы даже в тетрадке писал, чтоб не выглядеть шаблонно и уныло. Но так и не решился. Я очень хотел, чтобы ты стала моей женой, единственной и все такое. Не могу опять подобрать слова, прости.

Я прожил две недели на съемной квартире, я не находил себе места в буквальном смысле, как собака в конуре, подвывал ночами. Но страх был сильнее. Я боялся ее, она казалась мне идеальной девушкой. К тому же ее мать работала в правительстве региона, однажды мы познакомились, боже, какой взгляд был брошен на меня. И я улетел.

Потом мы не виделись много лет. Благодаря появлению в России Фейсбука я нашел ее и стал невольно наблюдать за ее жизнью. Вот она с мужем на море, вот у них родился сын, а вот и дочка, с мамой в театре, с Н. на дружеской вечеринке.

– Помнишь, что ты мне сказала в нашу последнюю встречу?

– Нет.

Это было восемь лет назад. Мы совершенно случайно столкнулись в одном кабачке – она с мужем и друзьями, я с девушкой и приятелем. Поговорить, естественно, не было возможности. Не знаю, честно говоря, в каком статусе я прохожу у них в семье, но так как она не подходила к моему столику и вообще не смотрела на меня, делаю вывод, что статус так себе.

Вечер подходил к концу, к крылечку подкатывали такси. В курящей толпе я протиснулся к ней.

– Ты сказала тогда: чего ты добиваешься? Ждешь, когда мне будет 50 лет?

– Мне было тогда 36, теперь мне 42. Я – верная жена, чем горжусь. А главное – я совсем не тот человек, которого ты себе придумал. Я вяжу, не слежу за новостями кино и музыки, в пандемию я пять месяцев с детьми сидела дома, и мне было так хорошо.

Я знаю, знаю. Мы никогда не жили вместе, не вели хозяйство, я не вставал на колени и не просил прощения после очередной интрижки, она никогда не целовала меня на рассвете, не прижималась ко мне и не шептала «давай, пока наши детки спят». Но почему же тогда десятилетия меня так волнует и тревожит она? Настоящая, с картинками в Фейсбуке и мужем под локоток.

– Можно, я сделаю снимок? Никогда и никому его не покажу, он будет только у меня.

Над набережной вот-вот обещала разразиться гроза. Черное небо, черная речная вода и ее улыбка. Такой получилась фотография.

– Смотри-ка, я на ней не женщина, а огонек!

До отправления поезда оставалось около пяти минут. Я видел, что она разнервничалась.

– Супруг знает, что ты со мной гуляла по городу?

– Да. Я долго думала, но потом позвонила ему и сказала, что мы будем гулять. Он сначала хотел запретить, а потом рассмеялся.

Как описать эту женщину? Не знаю, дело же не в волосах и бровях, ногах.

– Кстати, знаешь, когда я влюбился в тебя?

– Само собой, не знаю.

– Вы с ребятами стояли в курилке на площадке, а я поднимался снизу. Окна на этаже были распахнуты, и вдруг рванул ветер. Белая юбка задралась сзади, а ты потянулась к стеклу, не обращая ни на что внимание. И вот я стою внизу, надо мной ты во всей красоте, мне стало так смешно.

– Жопа моя так рассмешила?

– Нет-нет, я просто вдруг понял, что люблю тебя, девушку, которая всего неделю, как появилась в офисе.

– Я думала, что ты полюбил меня за интеллект, за наши разговоры о литературе.

– За это тоже, не сомневайся.

Проводник стал вежливо выпроваживать меня из вагона.

– Представь, что нам нет и 30 лет, и мы вдвоем уезжаем из Владивостока, и ты сделал все-таки мне предложение.

– Поцелуй меня, пожалуйста.

– В щеки три раза, как заведено на Руси.

Я понимал, что она разволновалась, что пытается за шуточками скрыть свои эмоции.

– Помнишь, как Грушенька просит служку передать Мите Карамазову, мол, любила я его всего-то один часочек своей жизни, но пусть Дмитрий Федорович запомнит его навсегда. Скажи, была ли хотя бы минута подобная в твоей жизни?

– Пиши мне иногда. Ок?

– Ок, Оксана, ок.

Поезд тронулся. Я спустился в тоннель. Позвонил любимый друг.

– Проводил, что ли?

– Проводил, Сереж.

– Как все прошло?

– Хорошо.

– Было?

– Что?

– Ну как что. Ну, это, не знаю уж как и сказать.

– Изменяют не в спальне, а в сердце.

– Так изменила или нет? Нет?

Через два дня я улетел на Север в командировку. Распечатал ее фотографию и повесил на стене в спальне очередной съемной квартиры. «Огонек» греет меня, а я прилагаю огромные усилия, чтобы не писать ей, не вторгаться в ее счастливую жизнь неуместными вопросами и историями, вполне подходящими для маленького рассказа, но не для мессенджера замужней женщины.

Вероника ВОРОНИНА

Родилась в г. Сарове Нижегородской области, Окончила журфак МГУ, получила дополнительное психологическое образование. Трижды делала доклады для конференций и семинаров Института этнографии и антропологии РАН. Научные статьи публиковались в альманахе «Архетипические исследования», журнале РАН «Медицинская антропология и биоэтика», в сборнике статей ИЭА РАН «Эпическое наследие и духовные практики в прошлом и настоящем». Проза печаталась в альманахе «Ни два ни полтора», журнале «Литерра Нова», коллективных сборниках.

Живет в Люберцах.

КАРАСЬ, КАСТАНЕДА И ПОНТИЙ ПИЛАТ

Так спасибо, Мастер, ворота отныне открыты.

Борис Гребенщиков

Свободен! Свободен! Он ждет тебя.

(...)

И он почувствовал, как кто-то отпускает его на свободу, как сам он только что отпустил им созданного героя.

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Часть 1. Карась

Подростковые годы были одним из самых трудных периодов моей жизни. К обычным проблемам этого возраста добавлялась тягостная и нездоровая ситуация в семье. Окружающая реальность давила глухим каменным мешком. Я годами жила с тоской пожизненного заключенного. Но история эта не о проблемах подростка из неблагополучной семьи, а о свободе и освобождении. Внутри и снаружи.

Однажды мама купила свежих карасей. Большая часть рыбин уже заснули, но две были еще живы. Первая двигалась довольно бодро, активно вырывалась и не собиралась мириться с уготованной участью. Вторая была ни то ни се: подергивалась и хотела жить, но сил уже не осталось. Карасей купили много, так что этих двоих милостиво отпустили поплавать в ванну. Напоследок жизни порадоваться.

Я смотрю на рыбин, мама на кухне разделявает и жарит их собратев. Второй карась так и не очнулся, попав в воду. А первый заметно оживился и энергично нарекает круги, не зная, что скоро дойдет

очередь и до него. Возможно, ему кажется, что худшее уже позади и есть шанс на побег. Рыба стучится упрямой головой в края ванны, ища несуществующий выход. Пока я смотрю на нее, мама забирает вялого карася. Выхода нет. Свободы нет.

И я беру большой полиэтиленовый пакет, наливаю в него воды, зачерпываю рыбку. Она энергично бьется, пытаясь выскользнуть. Осторожно держа ношу, выхожу на улицу, в тоскливый день позднего октября. В пяти минутах от моего дома узенькая речушка с запрудой и маленькое озерцо. Довольно грязные, с плавающим мусором, консервными банками и пивными бутылками. Кое-где над водой склоняются голые ветви деревьев.

Я спускаюсь к пляжу с пакетом в руках. Выпуская карася в озеро, думаю о своей свободе, которой нет. О его свободе. Вокруг безлюдно и уныло. Серый песок в жухлых листьях и мусоре.

Рыба всплеснула плавником на прощание, исчезая в холодной воде среди качающихся пакетов и бутылок. Я не знала, выживет ли он. Понятия не имела, живет ли вообще в этой загаженной воде хоть одна рыба. Но, отпустив карася, словно сбросила тяжесть с плеч, и легко пошла по песчаному пляжу, глядя на темную воду. Пока не заметила на грязном песке вынесенную волной пятикопеечную монету. Солидную, советского образца, с позеленевшими боками. Она была как благодарность.

Вдруг мне стало хорошо. И я пошла домой, легкая и свободная. Жизнь больше не была бессрочным заключением. Я узнала, что смогу найти выход.

Пришлось пережить еще несколько мучительных лет, прежде чем мне удалось по-настоящему сбежать из дома, утонувшего в тоске, из города, утонувшего в октябре. Но это все это было потом, а в тот момент я чувствовала себя такой свободной.

Часть 2. Кастанеда

О чем я думаю, вспоминая того карася? С той давнишней реальной историей у меня «рифмуются» две очень красивые и сильные литературные. Для меня они поют на три голоса одну и ту же песню о важном.

Я ведь понятия не имела: какая вода нужна тому карасю – пресная или соленая, выживет он или нет, побежденный наступающей зимой, найдет ли себе еду или его самого съедят. Просто верила.

У Карлоса Кастанеды есть история о двух котах. Их везли в ветклинику усыплять. Один кот доверчиво сидел на руках у хозяйки, вверяя ей свою судьбу. А второй до последнего искал выход и потом все-таки сбежал. Домашний, толстый, изнеженный кот по имени Макс, выпущенный случайным свидетелем, пулей скрылся в подворотне, чтобы обрести свободу. Неизвестно, что с ним стало: он мог угодить под машину, умереть от голода, погибнуть в битве с другими котами – дикими, закаленными в уличных боях.

Есть только один принцип, пишет Кастанеда, – «должен верить». Тот, кто помог коту сбежать, должен был верить, что с ним все будет в порядке. Что тот выживет, преодолеет опасности, сможет использовать дарованный ему «кубический миллиметр шанса». Он должен был верить, что дар свободы не напрасен. Потому что вместе с тем котом он отпустил самого себя.

Что касается карася, то я понимаю: тогда я тоже «должна была верить», что он выжил среди мусора загаженного городского озера, холодной осенней порой. Что у него был шанс и он этим шансом воспользовался. У моей тогдашней тоски о свободе было лицо этого карася.

Для освобождения всегда есть время и место. Своего ли, чужого ли. «Должен верить» – молитва того, кто выбирает свободу.

Часть 3. Понтий Пилат

Вы спросите, при чем же здесь заявленный в названии Понтий Пилат? Как он может быть связан с этой историей о карасе и изнеженном коте Кастанеды? А ведь это еще одна история, «срифмовавшаяся» для меня с первой и усилившая ее.

В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» пятый прокуратор Иудеи ждал много тысяч лун, прежде чем услышал от Мастера: «Свободен! Свободен!» и смог покинуть свое почти вечное пристанище. А после этого и сам Мастер «почувствовал, как кто-то отпускает его на свободу, как сам он только что отпустил им созданного героя».

Вы можете сказать: а не слишком ли много пафоса? Но иногда это именно то, что нужно, чтобы найти точку опоры, таинственный отблеск смысла и значимости в ситуациях мучительных и беспросветных. Мне захотелось поделиться этим отблеском.

А у вас есть свои «истории силы»? Те, которые дают ресурс и поддерживают, когда этого так не хватает?

ЛЁВА, ТЫ НЕ ОДИН!

– Прислушайтесь к этому лаю, – сказал дон Хуан. – ...Это самая печальная вещь, которую может услышать человек.

Лай одинокой собаки был настолько печален, а тишина вокруг настолько интенсивной, что я ощутил щемящую боль. Она заставила меня думать о моей собственной жизни и о моей печали.

– Лай этой собаки – это ночной голос человека, – сказал дон Хуан. – Человек кричит через свою собаку, выкрикивая печаль и запутанность. ...Этот лай и то одиночество, которое он создает, говорят о чувствах всех людей.

Карлос Кастанеда. «Сказки о Силе»

Однажды моя соседка – женщина за пятьдесят – именно такими словами попросила звать через стену её песика. Тот тоскливо подвывал днями напролет, оставшись один.

Лёва был карликовой таксой. Рыжевато-коричневый, общительный и очень подвижный, несмотря на коротенькие лапки. Я часто видела их с Галиной – так звали его хозяйку – гуляющими во дворе. Они были под стать друг другу – оба живые и непосредственные, приземистые и шустрые.

Бывало, встречая меня на улице, Галина подходила и доверительно заговаривала так, словно мы только что расстались. У нее была манера общаться естественно и очень лично, без социальных условностей, принятых между посторонними людьми, живущими бок о бок. Когда мы знакомились, она даже отчество свое не стала называть: «Просто Галина, без формальностей».

Сначала меня удивила её манера делать соседское общение настолько личным, а потом я оценила эту непосредственность и открытость среди обычной отчужденности едва знакомых людей, вынужденных жить бок о бок. Так что довольно скоро я стала получать удовольствие от наших коротких случайных встреч.

Видясь во дворе, мы обсуждали то погоду, то местные новости, а чаще всего милого Лёву, проворно семенящего поблизости на коротеньких лапках. От радости, что его взяли гулять, он лаял и гонялся за голубями.

И вот Галина обратилась ко мне, когда мы очередной раз столкнулись в общем коридоре у наших дверей:

– Ну что, мой-то опять грустил сегодня без нас? – начала она, как обычно, без предисловий.

Так оно и было. Компанейский и общительный пёсик тяжело переносил одиночество. Я через стену слышала его жалобное поскуливание и подвывание. Маленький Лёва плакал, совсем один в большой пустой квартире.

– Стучите в стену и кричите ему. Тогда он перестанет скулить, – попросила Галина.

– Что кричать-то? – удивилась я.

– «Лёва, ты не один!» Он же от одиночества плачет. А так услышит и успокоится.

Её слова были сказаны очень просто. Но для меня они прозвучали не столько как беспокойство хозяйки о домашнем питомце, сколько как участливое сострадание и для других тоскующих в одиночестве. Как рука, протянутая в ответ на призыв о помощи. У каждого бывают периоды покинутости и уязвимости – у меня-то точно, сколько угодно: и один из них длился как раз тогда. И я отчаянно нуждалась в том, чтобы кто-то перебросил мостик через пропасть моей изоляции – постучал в стену и сказал, что я не одна.

С тех пор я звала пёсика и говорила с ним каждый раз, когда маленький Лёва начинал плакать, тихо поскуливая тоненьким голоском.

Я сама была похожа на этого Лёву. Мучительно нуждаясь в том, чтобы кто-то разделил мое одиночество, я представляла, как пёсик сидит у стены и слушает. Видимо, он действительно слышал и понимал мою речь: поскуливание затихало. Мне и самой становилось легче.

Потом соседи переехали. Я сожалела, что больше не увижу ни Лёву, ни Галину, и скучала по ним обоим.

Поэтому я так обрадовалась случайной встрече с ними у магазина несколько месяцев спустя. Тепло мне улыбаясь, Галина объявила как важную новость, что Лёва больше не чувствует себя покинутым. На новом месте есть кому оставаться с ним на весь день.

Я увидела в этом хороший знак. И продолжила стучать в «стены» своего одиночества в надежде быть услышанной, а иногда и «подвывала», как Лёва. И наконец дождалась: однажды меня тоже позвали по имени и сказали, что я не одна.

Но это уже совсем другая история...

Павел ПУШКАРЁВ

Родился в 1981 году городе Петропавловске-Камчатском. В 2008 году по семейным обстоятельствам переехал в город Химки Московской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар И. Л. Волгина). Поэт, прозаик.

ДАВНЫМ-ДАВНО...

Не выходи из комнаты.

И. Бродский

Мне часто снится один и тот же сон, как я просыпаюсь ранним утром. Еще не открыв глаза, я начинаю осознавать, что наступил новый день. Я слышу голоса близких, чувствую запах только что приготовленного завтрака. Открываю глаза, встаю с кровати и подхожу к окну.

– Доброе утро, – слышу знакомый голос.

– Привет, – отвечаю я. Но, когда просыпаюсь, наяву понимаю, что рядом никого нет.

Я жил совершенно один в огромной квартире. Сколько в ней было комнат – сто, двести, тысяча – я не знал. Однажды я попробовал сосчитать, но бросил эту затею, боясь не найти выход обратно к тем комнатам, которые были мне знакомы.

Окна этих комнат выходили в разных городах на разных этажах. Окно моей спальни первым этажом смотрело в уютный пейзаж тихого летнего городка. Я предполагал, что именно в этом городе я и родился. Вернее, в этой спальне, выходящей окном на этот городок. Я мог подолгу сидеть на своей кровати и смотреть в окно на высокие холмы и небольшое живописное озеро у их подножий. Но порой не меняющийся пейзаж мне изрядно надоедал, и я шёл смотреть в окна других комнат.

Зал моей квартиры выходил шестым этажом в зимний серый мегаполис с высокими одинаковыми многоэтажками и повсюду припаркованными автомобилями. Но и здесь я ничего не находил, кроме угрюмых стен домов, беспрерывно падающего снега и ощущения полной безысходности и тоски.

Кто я и кто мои родители – я не помнил. Мне всегда казалось, что в этой квартире ещё живут и мои близкие, которых я надеялся когда-нибудь отыскать. Может быть, однажды мы каким-то образом потеряли друг друга и теперь бродим в одиночестве по бесконечным лабиринтам

коридоров и лестничных проёмов. А может, бродит кто-то ещё? Ночью я на всякий случай запираю свою спальню на ключ.

В квартире была достаточно большая библиотека, а ещё картинная галерея. В разных комнатах то там, то здесь я находил старые музыкальные инструменты, на которых, по всей видимости, уже давно никто не играл. Но однажды ночью мне довелось проснуться от странного звука, который мог произвести, как мне показалось, струнный инструмент – скрипка или что-то в этом роде. Я стал внимательно вслушиваться в еле уловимый скрежет. Но чем больше вслушивался, тем отчётливее осознавал, что это всего лишь ветер болтал незакрытую оконную раму в какой-то одной из комнат.

Шли дни, недели, годы, а может, века. Целыми днями напролёт я слонялся по запылённым необитаемым комнатам, пытаюсь составить карту их расположения. Но, как бы далеко ни заходил, ближе к ночи я обязательно возвращался в свою спальню. Мне было так необходимо заснуть среди знакомых стен, в той самой кровати, на которой я, по всей видимости, родился – и я засыпал, а проснувшись утром, чувствовал себя словно заново рождённым.

В моём большом и просторном доме существовала ещё одна комната, в которой я появлялся крайне редко. Через мутные стёкла окна первого этажа я видел город, где царил хаос. Небо застилал дым от многочисленных крематориев, трубы которых торчали над городом как надгробные плиты над могилами. Везде, куда бы я ни бросил взгляд, можно было увидеть груды разлагающихся трупов. Что произошло в этом городе – эпидемия, экологическая катастрофа?

Как-то вечером, созерцая через окно этой комнаты печальный уличный пейзаж, я увидел, как из-за угла полуразрушенного здания вышла группа каких-то странных существ. Они тут же бросились обглаживать изуродованные мёртвые тела. Глядя на них, я думал, что у меня остановится сердце. На их безобразных мордах висели острые клювы, которыми они впивались в гниющую плоть мертвецов. В ужасе я бежал оттуда, по пути несколько раз теряя сознание. Но и в своей спальне, запертой на ключ, я долго не мог прийти в себя.

Весь последующий день меня мучил вопрос: «Что это всё-таки за город такой и кто эти живые существа?» Может быть, они что-то знают о моём происхождении, знают то, чего не знаю я? Моё любопытство перебарывало страх. И я решил установить контакт с этими безумными пожирателями падали, чего бы мне это ни стоило.

Ночью я опять проснулся всё от того же скрежета.

– Надо бы найти эту комнату и закрыть проклятое окно.

Уснуть заново у меня не получилось. Я долго ворочался в кровати, потом оделся и направился в комнату, из которой накануне бежал в испуге. Загадочные существа что-то целенаправленно искали под её окном. Когда я появился перед ними в открытом окне – несколько монстров проворными прыжками запрыгнуло в мой дом. Меня сбили с ног, и я почувствовал, как их острые клювы стали свирепо впиваться в моё незащищенное тело, с каждым разом вырывая из него всё большие куски мяса. А ещё через мгновение я уже наблюдал со стороны, как они растаскивали мои внутренние органы по углам.

– Смотри, что я тебе принесла, – женщина протягивала в постель только что проснувшегося ребёнка маленькую, испуганную птицу.

– Где ты её взяла?

– Утром случайно залетела в нашу комнату.

– Она не кусается?

– А ты погладь её, не бойся. Вот, видишь, она не кусается. Одевайся, пойдём вместе выпустим её на улицу.

Я сидел на кровати спальни, потом встал, взобрался на подоконник и выпорхнул в окно.

– Ну, лети же с миром, – услышал я знакомый голос, когда пролетал над зеркальной гладью живописного озера. В последний раз я видел холмы, огромный дом с бесконечным лабиринтом комнат, распахнутое окно своей спальни, это озеро – на которое так любил смотреть долгими закатными вечерами.

– Да, лечу, – ответил я и растворился в воздухе.

А в это время группа чудовищ уже пробиралась по длинному коридору квартиры. Они шли на звук, который напоминал то ли скрежет, то ли скрип. Но это не ветер болтал незакрытую оконную раму. Это в одной из комнат пытался играть на скрипке старый беспомощный человек. Он не мог самостоятельно передвигаться и поэтому по ночам, страдая бессонницей, брал скрипку, и извлекал из неё некоторую гармонию звуков – в надежде, что кто-нибудь живой его услышит, кто-нибудь найдёт.

ВЫБРОШЕННЫЕ

Я любил гулять по вечернему городу вместе со своим закадычным дружком. Мы покупали дешёвого портвейна в пластиковых бутылках, а потом уходили в какой-нибудь малонаселённый район и выпивали его. И не важно, что портвейн был суррогатного производства, а у дружка больные почки – ведь здесь всё равно мало кто доживал до пятидесяти. Когда дружок пьянел, он начинал говорить о грядущих революциях.

Вообще мы любили выпивать в различного рода необычных местах, будь то помещения каких-нибудь разрушенных зданий или полутёмные подъезды жилых домов. А иногда это просто был заброшенный мусором берег бухты, в которой плавали бутылки и презервативы. В этом городе серьёзно можно было делать только две вещи – это или впасть в тоску, или безумствовать. Мы выбирали второе.

Когда мы были пьяны – нам было хорошо. Жизнь переставала казаться однообразной и неинтересной. Мы шатались с дружком по берегу, подходили к элегантно прогуливающимся девочкам в мини-юбках, интересовались за какую цену. А они нам отвечали: «Пятьдесят рублей».

– А что так дорого, куколки? Мы, как бы это, нищие студенты.

Но, откровенно говоря, в этот день нам было не до девочек, потому что мы, как всегда, занимались поиском смысла жизни. А девочки ох как мешают в решении таких вопросов. Зато алкоголь раскрепощал мысль и не отвлекал от дела. И мы опять пили, и жизнь опять казалась прекрасной до тех пор, пока я не переставал помнить себя. И только утром я возвращался в реальность, просыпаясь в помойном контейнере во всё том же малонаселённом районе, в чьих-то недоеденных солёных помидорах и обглоданных куриных костях. Я открывал глаза, смотрел на небо, а оно было таким голубым-голубым. А потом невольно задавал себе вопрос – как же я сюда попал?

Однажды один священник сказал мне: чтобы начать новую жизнь, надо всего себя выбросить на помойку. Вот, видимо, вчера по пьяни я вдруг и решил этим заняться. Я не находил своего дружка рядом, звонил ему в догадках – где же проснулся он, неужели опять в ментовке? Но дружок рассказывал, что проснулся он на проезжей части автострады, да... это всё-таки лучше чем в помойном контейнере, а тем более в ментовке, но не так безопасно. Потом я шёл домой помыться и переодеться и на вопрос ошарашенных родителей: «Сынок, а ты что такой грязный-то?» – отвечал им, с серьёзным выражением лица: «Мам, пап, да я чист как младенец». А после мы опять встречались и опять пили портвейн. Дружок беспокоился о своих почках. А я ему

говорил: «Да хватит ныть, отдам я тебе свою почку». На самом деле мне было жалко его, а он жалел меня, потому что знал, что я мечтал стать врачом, и помочь ему, и десяткам таким же, как он. Но из-за отсутствия подобных учебных заведений в городе врачом я так и не стал, а стал алкашом, как и он сам.

А один раз выпивали мы как-то на последнем этаже разрушенного общежития для моряков и услышали детский плач, доносившийся со стороны близлежащего помойного контейнера. В нашем городе были нередки случаи, когда мамы выбрасывали своих новорождённых детей куда-нибудь на улицу. Через некоторое время их находили мёртвыми, часто замёрзшими. Только однажды бездомная собака спасла младенца, согрев его своим телом. А в этот раз ребёнок был ещё живой и громко кричал, видимо, хотел выжить. Мы спустились вниз, достали его из помойки и отнесли в ментовку. И на вопрос участкового: «Где взяли?» – так и ответили: «Нашли в капусте». В кем-то недоеденной квашеной капусте. Потом мы хотели усыновить его, но на нас посмотрели как на идиотов и сказали, что в приюте ему будет лучше. Больше в том районе мы с дружкой старались не пить.

Ефим ГАММЕР

Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге, окончил отделение журналистики Латвийского госуниверситета в Риге. Работал в газетах «Латвийский моряк» (Рига), «Ленские зори» (Киренск, Восточная Сибирь). С 1978 года живет в Израиле. Работает на радио «Голос Израиля». Шеф-редактор и ведущий авторского литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп».

Автор 23 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины. Член Союзов писателей, журналистов, художников Израиля и международных союзов журналистов и художников ЮНЕСКО. Член правления Международного союза писателей Иерусалима.

Живет в Иерусалиме.

АЛЬТЕРНЕТ

25 декабря 2019 года. В Иерусалиме зима, а снега нет ни на один сугроб. Тут ничего удивительного. Удивительно другое: точное по дате совпадение двух праздников. Христиане справляют Рождество, евреи – Хануку. О чем только не подумаешь при таком совпадении. Впрочем, за мыслью не угонишься, хотя можно и попробовать.

Попробуем? А почему бы и нет? Подключимся к Йосефу и попробуем.

«Мы привыкли к тому, что сюжет развития нашего мира как бы задан свыше, и идёт по написанному сценарию, никуда не сворачивая. Основанием для подобных мыслей явились пророчества предков либо наших современников, вроде Ванги. Ей виделось падение башен-близнецов, и сколько бы история ни вихляла после этих видений, башни рухнули, как по предписанию свыше. Но если мы представим, что провидцам даны для лицезрения видеопрогнозы будущего, а не реальные события, тогда всё разом станет на место. В древние времена да и в дни сеансов ясновидения Ванги компьютерная техника землян, в отличие от современной, не позволяла изображать на экране чуть ли не реальными зловещие прогнозы на будущее. Поэтому Тот, кто над нами, Тот, кто следит, чтобы мы не разрушили планету, и демонстрирует при помощи провидцев катаклизмы, которые грозят человечеству, если... Вот оно – главное! – представляющее собой всего-навсего коротенькое слово, вводящее нас в условно придаточное предложение. Если...

Ещё в Ветхом Завете сказано, что нельзя с безоговорочной точностью предсказывать события, в особенности зловещие, необходимо подчёркивать: это случится, если... В почти неуловимом, как дыхание младенца, “если” намёк на исправление пророчеств. Стоит в настоящем времени тебе, человеку разумному, задуматься о последствиях сегодняшней деятельности, и ты исправишь будущее: этого наказания не последует.

Вдумайтесь в это “если”, и представьте, что ждёт наш мир, если... Ведь достаточно, чтобы потепление прибавило всего четыре градуса, чтобы затопило весь мир. Вода в морях и океанах поднимется на 61 метр, и жди новый потоп, если...

Вот и подумайте».

– Если ты подумаешь, то остановишься! Красный свет!

И впрямь, светофор на выезде из Иерусалима, словно по уговору с Мирьям, переключился на красный свет, позабыв о жёлтом – предупредительном. Или не позабыл? Не проще ли прикинуть, что за размышлениями вслух ты на какое-то время отключился от реальности, и вот – на тебе, человек разумный! – оконфузился на глазах у жены. Но лучше так, чем нарываться на штраф.

– Лучше так... лучше так, – врубилось в голову, и опять непроизвольно вырвалось из мыслей на свободу.

– Заговариваешься? – сказала жена. – Говорила тебе. Перестань увлекаться роликами о пришельцах, они тебя...

– Пришельцы? – Йосеф глубоко затянулся сигаретой, и выпростал руку за окно, чтобы стряхнуть пепел.

– Ролики лишат ума и приведут в психиатричку.

– Брось!

– Это ты брось!

– А-а, – он махнул рукой и чуть было не задел боковое зеркало присоседившегося почти вплотную «мерседеса» с тонированными стёклами окон. Оглянулся: кто пожаловал? Олигарх какой? Слишком редко доводилось встречаться на дорогах с таким дорогушным заморским гостем.

«Не иначе как прокатный, – подумал Йосеф, разглядев на дверце знак фирмы “Хертц”. – Живут же люди».

– Опять заговариваешься? – ввернула сзади Мирьям. – Помолчал бы, а то услышат.

– И что?

– Да ну тебя! Я бы с тобой в разведку не пошла, – пошутила Мирьям и внезапно вскрикнула от испуга. – Ой! Господи! Дети!

Йосеф тревожно посмотрел на жену: лицо белое, глаза – расширены, и дрожь в руке, направленной к трогающемуся с места «мерсу».

А оттуда:

– Мама! Мамочка!

– Лиля! Катя! – толчок в плечо. – Гони!

Йосеф и помчал.

Но разве угонишься за «мерсом»? Междугороднее шоссе – лети, как на сверхзвуковом. Сигналь не сигналь, не остановится. Больно нужно ему, похитителю детей, срок мотать! Рванёт в два раза быстрее и затеряется в потоке машин. Остаётся идти, как ищейка, по следу до самого его убежища и уже там поговорить по-мужски, с проверкой зубов на прочность. Впрочем, против лома нет приёма. Глядишь, и пистолет окажется у вражины: Израиль – у каждого второго личное оружие. Не

правильнее ли подключить полицию к выяснению отношений? А вот и патрульный «форд»: дожидается на обочине свиданки с нацеленным на лихачей радаром.

– Мира! Беги за помощью!

Секундная остановка – и вновь на газ. Но на глазах у полиции не разгонишься, соточка – предел. Другое дело после поворота на Бейт-Шемеш. Тут вроде бы локаторами небо не занавесили. Можно прибавить. Но и «мерс» не лох, тоже прибавляет. Километр, другой. И – на тормоза! Вильнул в сторону, завлёк на стоянку к разбросанным там и здесь коттеджам. Мотель? Оно и видно, мотель. Этаким причудливый, деревенского типа. Маленькие особнячки с палисадником, коровка в виде живого памятника природе пасётся на травке, куры подле неё квохчут. Рай земной по определению кибуцников – не хватает только Адама и Евы. Да и дерево познания добра и зла не помешало бы украшению библейского ландшафта.

Насчёт добра Йосеф был в настоящий момент не в курсе, а что касается зла...

Хлопнув дверцей, он кинулся за водителем «мерса» и перехватил его у входа в коттедж. Занёс кулак, развернул лицом к себе. И опешил.

– Папа! – девочки встревоженно вцепились ему в пиджак. – Папа, не бей папу!

И впрямь. Как бить, когда столкнулся с самим собой. Один к одному: рост, причёска, цвет глаз, родинка на виске. Отличие разве что в костюме: куртка вместо пиджака и брюки в полоску.

– Ты – кто?

Девочки:

– Спроси у своего папы.

– Брат? Близнец?

Девочки:

– Спроси у своей мамы.

– А мои дети – мои?

Девочки:

– У своей жены и спроси.

Детям, судя по всему, не в новинку такая путаница. Давятся от смеха, пальчиками балуют – длинный нос показывают.

– Папа дурит папу.

– Главное, чтобы не подрались.

– Мы не подерёмся, – заверил дочек незнакомец. – Объясню, кто есть кто, и он угомонится. Но прежде в дом.

В домашней обстановке, за чашечкой кофе, проще объясняться. Проще или не проще, но Йосефа как-то отпустило, обдувая ароматизированным холодком кондиционера. И он стал улавливать прежде незаметные различия в тембре голосов девочек. Лопочут складно, порусски, но это и неудивительно: родились в России. Но почему нет в их словах текучести, привносимой в речь ивритом? Будто в школу не ходили. Или? Ходили. Но не в ту школу. Однако... и это совсем дико... даже не хочется думать.

– Не догадался?

Незнакомец щёлкнул пультом, включил телевизор с встроенным интернетом. Прогуглил имя и фамилию гостя.

– Зачем тебе это? – спросил Йосеф.

– Для сравнения, коллега.

– Не понял.

– Всеми свое время.

– И всё же...

На экране появился портрет Йосефа, под ним биографические данные. Родился... учился... работал... репатриировался в Израиль, где совместно с женой сменил имя на еврейский лад, чтобы соответствовать хотя бы в звуковом ряде праотцам. Она из Марии превратилась в Мирьям, он из Иосифа – в Йосефа.

– Теперь понял?

– При чём здесь смена имён?

– При том, что я по-прежнему Иосиф, а жена моя – Мария. В этом всё наше различие.

– Ты – это я?

– Я – это ты. А между нами разделительный забор, проще говоря, право выбора. Божье наследие, между прочим.

– Право выбора?

– Именно.

– Выходит?

– Я – это ты, но из параллельного мира. В тот момент, как ты двинул в Израиль, я остался в России, вернее, в параллельном по отношению к тебе миру. Словом, и к той России, из которой ты уехал. Так что я тот, кем в настоящий момент являешься ты, если бы не сменил имя и не уехал в Израиль.

– Как же ты оказался здесь?

– Жена в больнице. На сохранении А детишек взял на променад, чтобы отошли от переживаний. Одна требует братика, а другая – сестричку.

– Подожди со своими проблемами. Я спрашивал: как ты оказался здесь?

– Это несложно. У нас продвинутые технологии. Всего одна флешка, и путешествуй без всякого.

– А таможня?

– Между мирами нет таможи.

– Мне к вам тоже можно?

– Сейчас только глазком. По альтернету. И не только к нам, а ко всем своим единокровным альтернентам. Потом... – немного замаялся, но преодолел смущение и сказал: – Посмотрим на твое поведение. Если без снixa, то научу, как путешествовать по разным мирам. И увидишь себя, ненаглядного: кем сегодня являешься в иной реальности, если бы...

– Условно придаточное?

– Оно самое. Да, впрочем, и вся наша жизнь условная. А на добавку и придаточная к условной реальности.

– Что-то сложно для понимания.

– А понимать и не требуется. Требуется действовать.

– Это как?

– Так! Вот тебе пульт, и нажимай кнопки. Шлёпай по цифиркам, раз, два, три и в дамках. Но на бронированную для меня нулёвку красного цвета не нажимай. Выключисься.

– А ты?

– Пойду девочек укладывать. Умаялись в дороге, пора отдохнуть.

Неопределенность – странное чувство: вроде предоставлен сам себе, на столе пульт, и жми на кнопки. Но ведь умом не постичь, куда выведет та или иная кнопка. Легко сказать, когда ты специалист: «нажимай». Это все равно что предложить броситься в омут.

Эх, где наша не пропадала!

Кнопка податливо ушла в панель, и на телеэкране возникла панорама Дамаска: кривые улочки, базар, железные ворота в подземное сооружение. Что это? Напоминает командный пункт. Чужие лица, чужая речь, чужая военная форма. Дальше – больше. Среди офицеров чужой армии Йосеф различил себя самого, и тоже с погонами на плечах. «Какого я звания? Ага, майор! Но чего вдруг? А-а... после универа предложили идти по военной стезе. Помнится, я тогда отказался. Выходит, не откажись, ходил бы сегодня в советниках у сирийцев и командовал... Да, а чем я командую?»

Йосеф прибавил громкости и услышал собственный приказ: «Пуск!»

Огненные всполохи. Металлическая сигара, оставляя за хвостом шлейф дыма, ушла в небо. Сквозь помехи послышалось: «Запуск успешно завершён. Ракета легла за заданный курс».

Подумалось: «Заданный... Какой это – заданный? Куда заданный? Не на Израиль ли? Чёрт! Такая альтернатива нужна только моим врагам».

Йосефа передёрнуло. И чтобы избавиться от наваждения, он надавил на следующую кнопку.

О, здесь восхитительная немота интима. Поцелуи, объятия, обнажёнка. С кем это он? Не иначе как с Алёнкой. Эх, Алёнка, Алёнка, родная душа! Вместе учились, вместе собирались обустроить жизнь. Но... когда зашёл разговор об Израиле, пришлось расстаться.

«Родину не выбирают!» – сказала она.

И если бы он пошёл на поводу у Алёнки, то сегодня...

Йосеф задумчиво смотрел на свою первую любовь, испытывая чарующее томление. Казалось бы, захоти – и переметнёшься в запредельную нирвану, в мир, полный любви и исполнения желаний. Но вдруг краем глаза приметил на стоянке полицейскую машину.

«Мирьям!» – ахнуло в нём. И инстинктивно, чтобы жена не застала его за просмотром сцен реальной измены с давней соперницей, выключил видик, нажав на кнопку с красной нулёвкой. «Попробуй объясни ей, что это не по-настоящему», – вспыхнуло в мозгу. А когда погасло, он обнаружил себя в незнакомой больнице, в палате рожениц, у кровати своей жены.

Но нет, её звали не Мирьям. Её звали Мария, как до репатриации в Израиль. Она бережно прижимала к груди посапывающего младенца и, счастливо улыбаясь, говорила без умолку.

– Оставили на сохранение. А его, – поцеловала ребенка в лобик, – потянуло на свет. Что ему медицинские предписания? Захотел родиться, вот и родился.

– Мальчик, Мария?

– Мальчик, Иосиф! После двух девочек в самый кайф.

– А как назовём?

– Тут и думать нечего, если мы не в Израиле. Не зря же Андрей Белый написал: «Россия, Россия, Россия – Мессия грядущего дня».

Андрей ЕВСЕЕНКО

Родился в 1970 году в Орле. Окончил МГТУ им. Баумана. Занимается строительным бизнесом. Имеет более 50 публикаций в различных журналах и сборниках. Дважды номинировался на конкурсе «Еврокон» в категории лучший фантастический рассказ.

Живет в Орле.

ПОДАРОК

Они шли куда-то по длинному узкому тоннелю. Шли долго, наверное, уже около часа. Шли, спотыкаясь о шпалы и путаясь в свисающей с потолка паутине оборванных проводов. Шли в полной темноте, в которой, слабея, метался луч карманного фонаря.

Катя устала и сильно замёрзла. А ещё ей было так страшно, как никогда прежде не было. И было очень обидно: совсем не так она представляла себе свой двенадцатый день рождения. И уж точно совсем не такого ждала для себя подарка. Но Сергей просто взял её за руку и повёл за собой. Сказал, что так надо. И она пошла и даже не спросила куда.

По стене в потолок уползала ржавая лестница. Сергей подёргал её за ступеньки: «Смотри, они ещё крепкие». И, подсадив Катю повыше, полез вслед за ней.

В конце лестницы была дверь. Без замка. Катя толкнула её, и дверь, басовито скрипнув, чуть-чуть приоткрылась. Сквозь узкую щель в тоннель ворвался яркий ослепительный свет. От неожиданности Катя вскрикнула и едва не упала вниз со своей ступеньки. Но Сергей удержал её, крепко прижав рукою к себе. Возможно, немного крепче, чем того требовали обстоятельства.

– Прости, я забыл предупредить тебя, что там бывает так светло...

Тяжёлая дверь открылась чуть менее чем на четверть проёма. Но детям хватило и этого. Первым вылез Сергей. Потом, осмотревшись вокруг, помог вылезти Кате:

– Пойдём, осталось немного! Потерпишь чуть-чуть?

Катя кивнула.

– Только закрой глаза. Пусть мой подарок будет сюрпризом.

Он снова взял её за руку и повёл за собой. И Катя вновь послушно пошла за ним. Через несколько минут Сергей, остановившись, сказал:

– Всё, пришли. Теперь можешь смотреть.

Катя стояла перед подарком и почти не дышала от восхищения:

– Это... Это... Это так прекрасно! Я никогда не видела такой красоты... Что это?

– Я не знаю. Я раньше не видел это ни здесь, ни у нас. И спросить не у кого: боюсь, что узнают, что я хожу сюда, и заварят дверь. Да и кого спрашивать? Стариков? Так они сами никуда не ходят и другим не дают! Говорят, мол, нечего там делать, опасно! И никого сюда не пускают. Я уже столько дверей видел, и все они заварены или забиты. Так, что их не открыть. А про эту, наверное, забыли...

Сергей говорил, говорил, говорил... Но Катя его почти не слушала. Как не слышала она и тревожного писка индивидуального дозиметра, требующего немедленно вернуться в укрытие. Затаив дыхание, она любовалась своим подарком. И в запотевших стёклах её противогаза отражались трепещущиеся на ветру лепестки алой розы.

Стихи по кругу

Александр ВОЛОВИК

Москва

* * *

Январский вечер, но — почти весна.
 Не 90-х, нет! 80-х.
 И молодость ещё почти видна,
 она как звёзды: светит, да не взять их.
 Но молодость ещё почти слышна,
 почти что ошутима, точно запах,
 который во флакон надёжный заперт
 и рвётся в щёлку. Но почти — весна.
 Вершись, игра, пиши моя контора!
 Еще провала не видать почти,
 где пагубные ящики Пандоры
 распилят надо мною скрипачи.
 Но жуток перечень грядущих дел и бед.
 Гляжу: копеечка. А это белый свет.

Виктор ШИНКОВСКИЙ

Ставрополь

Так вышло

Николаю Рубцову

Так вышло: я бродяге не подал.
 И он убрал протянутую руку.
 Как мне смотреть в глаза себе и другу,
 когда себя в себе самом предал.

Я презираю отражение своё.
 Бреду за странником по замкнутому кругу,
 и Христа ради простираю руку,
 но он не вложит отпущение в неё.

Чего же стоят все мои стихи?
 Не подал рубль, нетяжкой кровью нажит.
 Он мне при встрече не подаст руки.
 Я не обижусь. Побреду бродяжить.

Дмитрий АНИКИН

Москва

Из цикла «Стихи Лжедмитрия»

1

Мать моя родимая,
омочи глаза,
к Богу невредимая
упадет слеза.

Быстрой кровью прыскали
раны от ножа;
со следа, кто рыскали,
добивать спеша,

сбились – Русь просторная
сберегла себе
вороненка черного
на потех судьбе.

4

И долго будет он гадать:
который? тот, не тот?
Живой ли, мертвый лег лежать
у городских ворот?

Как страшно на чужом сидеть
на месте-высоте,
в тоскливую тьму-даль глядеть,
тревожных ждать вестей!

* * *

А там, на Западе, пуста
и суетлива мысль
вздувает чёрту паруса,
чтоб черные неслись

в извивах молний тучи – к нам.
И что они несут?
Погибель Родине! Царям
суровый, правый суд.

7

Ох и здорово ты шутил,
крутил,
вертел,
пел,

брат мой, большой брательник,
на сопели сопельник,
на ветрах мельник,
в трудах бездельник.

Научи меня своему мастерству,
многому ведовству,
почти колдовству,
научи,
как жизнь прошутить,
как полячку расшевелить,
как мать-Москву пропить.

А умирать придется – я так же хочу,
как жил дураком,
лететь с ветерком!
Кто сказал, что не могут летать
скоморох и тать!

Солнцу на закат
отправит кат.

14

По-над зимнею землей
ходит месяц молодой,
белый месяц – мертвый царь,
всего неба государь,
ходит-бродит, свету льет,
татам нам спать не дает.

Звезды ночью кап да кап,
с темна неба сходит крап,
режет бездну беглый свет,
была мета – ее нет.
Станет небо в наготу,
в перевозданной простоте.

Вот тогда и сном заснем
во весь черный окоем.
Непробудным будем спать,
дивы божию видать.

Вита ПУНСКАЯ
Нижний Новгород

Видение

В тишине, на зеленом лугу,
Кто-то мне прошептал на бегу:
«Все поймешь, мысли к Богу направив»,
И исчез, за собою оставив

Словно шлейф, свежих роз аромат.
Только эхо три раза подряд
Повторило рассыпчатый шепот
И негромко раздавшийся топот,
Удаляющийся и босой,
По траве, опыленной росой.

Скрижаль

Когда-нибудь видели вы
Как рыбки цветные смеются,
Как в озеро смотрятся львы,
Как слезы у бабочек льются?

Когда-нибудь слышали вы
Как сосны целуют друг друга
Под шепот опавшей листвы
И песни осеннего луга?

Когда-нибудь мерили вы
Глубины бездонные неба,
Когда-нибудь верили вы,
Что надо лишь зрелищ и хлеба?

Когда-нибудь думали вы,
Что в древности верно гласила
Скрижаль изумрудной молвы:
Вы были здесь... Все уже было...

Дмитрий ВИЛКОВ
Нижний Новгород

Сувениры

Так много нам словами *не сказать*,
Возврата нет, и откатилось лето,
Как галька, ускользнула благодать,
Но в сердце шум – восьмое чудо света,

Он чудится, восьмое чудо тьмы,
А мы ползём по опустевшим пляжам,
Навстречу нам предчувствие зимы,
Мы замолчим и в раковины ляжем...

Ты слушаешь?.. За створками Азов
Ворочался в угаре самогонном,
Прожектор бил наотмашь, рвался зов,
А Крымский мост маячил за вагоном,

Шторм бешено вылизывал пролёт,
Как Цербер, не жалея рук Орфея,

Волошин прав: и Греция пройдёт,
И Генуя, и пена схлынет с шеи

Однажды обнажившихся миров,
И наш двойной хитиновый покров
На волю пустит (выписка больного!) –
Ещё никем не сказанное *слово*,
Над мраком наводящее мосты, –
Жемчужину слепящей наготы.

Ещё никем
не сказанное
слово.

Даниил СИЗОВ

Тюмень

Босх-ТВ

В телебашне, распиленной надвое –
Пустота, только хлопанье рам,
Только тени летящие замертво
Из прошедших ток-шоу и реклам.

И в ближайшем студеное фарватере
За витриной из толстого льда
В исполинском мутнеющем кратере
Костенеют герои труда

Информации, VIP-продвижения,
Технологии грязных острот,
В неподвижном, застывшем брожении
В цифру «ноль» превратился их рот.

Марина ЧАРИНА

с. Большеустьикинское, Башкортостан

Давние узы

Наши давние узы связались узлом
интересов, проблем и событий.
Уцелевшая лодка (считай, повезло)
дремлет в гавани общего быта.

Полка с книгами, лампа, уютный диван
и сервиз василькового цвета –
оживают предметы, мечты и слова,
если мы существуем при этом.

Наполняются будни насущным теплом
от огня в расточительном сердце.
И летит во Вселенной наш маленький дом,
место, где есть возможность согреться.

Осеннее настроение

Раздарены осенние плоды,
но щедрость, как обычно, безответна.
В холодной луже россыпь золотых
последних листьев, пущенных по ветру.

Утрирует сезонная хандра
последствия неправильных решений –
настала подходящая пора,
чтобы простить и попросить прощенья.

Всё отдано. Ненужного лишась,
наполнившись бескрайним милосердьем,
светлеет обнажённая душа,
осознавая личное бессмертье.

Начинается зима

Деревянные дома,
бани и сарай.
Начинается зима
в захолустном крае.

Здесь, на воле, испокон
по-другому мыслят –
до начальства далеко,
а до Бога близко.

Деревя стоят, светясь,
упираясь в небо,
укрепляют с небом связь,
вознося молебен.

Обязуются вовек
веры не утратить.
И на мир нисходит снег
щедрой благодатью.

Наталья РУСОВА

Родилась в 1948 году в Горьком. Окончила отделение структурной лингвистики Горьковского университета; ученица известного российского языковеда Б.Н. Головина. Работала в Нижегородском государственном университете, позже – в Нижегородском педагогическом университете им. К. Минина. Кандидат филологических и доктор педагогических наук, профессор. Педагогический стаж – 46 лет.

Автор 210 научных работ, среди которых 4 монографии, 20 учебных пособий для школьников и студентов по русскому языку и литературе, а также книг «Тайна лирического стихотворения. От Державина до Ходасевича», «Тайна лирического стихотворения. От Гиппиус до Бродского», «Кванты русской культуры. Культурологический комментарий поэтических текстов», «Тридцать третья буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского» и других. Лауреат III Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса» в номинации «Познавательная литература», а также конкурсов «Гуманитарная книга» (2009, 2010, 2013, 2016) в номинации «Филология». Живет в Нижнем Новгороде.

КНИГИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

История советского читателя

(Фрагменты)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вот я и на «заслуженном отдыхе». 46 лет работы преподавателем дали не только счастливое моральное удовлетворение, но и сформировали потребность в «отдаче потребителя» – нужны глаза и реакция читателя (слушателя). Без них резко слабеет стимул к творческому высказыванию. Сколько замыслов было, сколько я надеялась ещё написать... И профессионального, и мемуарного, и публицистического. Всё это, пожалуй, не осуществится. Губит доставшийся от отца скептицизм: зачем? кому? да и что я, в сущности, за птица, чтобы претендовать на людское внимание.

И всё-таки, всё-таки... Нет, конечно, просто события моей жизни вряд ли заинтересуют кого-то, кроме сына. Да и личность свою как предмет для изображения я не переоцениваю. Но вот опыт читателя, опыт одного из последних представителей литературоцентричной Советской России... Это – да, что есть, то есть.

Боже мой, сколько счастья пришло ко мне от книжных страниц. Столько не было даже от путешествий, даже от живописи, даже от науки. И вот этот многолетний опыт чтения, опыт восприятия художественного слова, неразрывно переплетённый с жизненным опытом, – да, это может стать интересным. В сущности, это было бы попыткой запечатлеть очертания уходящей книжной Атлантиды.

Мои первые книжки (1951–1959)

Первое отчётливо запомнившееся литературное произведение – «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака. Её мне читал отец множество раз – и я, трёхлетняя, неуклонно заливалась слезами после его протяжного:

Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать –
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать.

И тем не менее просьбы прочитать эту сказку возобновлялись снова и снова. Почему? Причём, как теперь вспоминается, горячее сочувствие вызывал не мышонок, столь глупо поплатившийся за свои нескончаемые капризы, а мышка-мать. Так старалась угодить сыночку, так старалась! И в итоге – пустая кроватка.

Думаю, что именно тогда пришло первое ощущение непоправимости совершившегося, сострадание выдуманному герою заставило соприкоснуться с трагичностью бытия. Кстати, если не ошибаюсь, это 1951 год – не самое весёлое время и для страны, и для нашей семьи (маминому отцу, Ивану Николаевичу Павловскому, после отбывания десятилетнего срока в Ухтпечорлаге по 58-й статье ещё запрещено проживание в Горьком, и он практически в ссылке – на Дальнем Востоке, в семье младшей дочери, моей тёти Ляли. Мама моя из-за репрессированного отца вынуждена уйти с работы вузовского преподавателя на должность завуча).

Следующее отчётливое «книжное» воспоминание – номер детского журнала «Мурзилка», посвящённый смерти Сталина. Март 1953 года, я уже умею читать, и для меня выписали «Мурзилку», с которым я обращаюсь вполне самостоятельно. Помню траурное чёрно-красное оформление обложки и первые строки открывающего журнальчик стихотворения:

Не поют, не смеются дети,
Не шалят, не глядят в окно.
Даже солнце будто не светит,
Так на сердце у всех темно...

Ну и, конечно, портрет Сталина в траурных лентах. Первое смутное ощущение противоречия: в книжке – одно настроение, а дома, у всех домашних – другое. Понятно, что в семье двух «детей врагов народа» (папин отец, Василий Никифорович Русов, тоже был репрессирован, но отделался двумя годами тюрьмы в 1938–1939 гг.) смерть Сталина не оплакивали.

Первый эпос в моей читательской жизни – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого. До четырёх лет я просила читать мне «Буратино» снова и снова, потом без конца перечитывала – уже самостоятельно. Почему же так полюбился именно этот текст? Главное, пожалуй, заключалось в индивидуальности и неоднозначности характеров всех персонажей. Ведь нечто симпатичное было даже в лисе Алисе, даже в Дуремаре. В сущности, и Карабас Барабас нарисован не полностью чёрной краской, а где юмористические чёрточки

(борода, которую можно обмотать вокруг дерева, финальная лужа под дождём), там и неосознаваемое сочувствие к персонажу. Почему-то больше всего негатива выпадало на долю Пьеро. Нытьё я презирала с тех пор, как себя помню. Это подкреплялось и постоянным маминым «Не ной!» в ответ на мои жалобы (правда, редкие и скоро совсем исчезнувшие) на трудности из-за пониженного слуха (двусторонний неврит слухового нерва доставил мне много бед и сложностей, но также рано научил сопротивлению и упорству).

В Буратино же я была просто влюблена! Обаяние независимости и активного действия – к этим человеческим качествам я питаю непреодолимую слабость до сегодня.

И наконец, «Золотой ключик» впервые позволил мне осваивать и осознавать жизнь в её разнообразной протяжённости, ощутить прелесть прихотливого сюжета, притяжение интриги, ждущей разрешения. Почему-то интрига в русских сказках, которые я тоже очень любила и хорошо знала, была лишена непредсказуемости – сказочное действие катилось по хорошо и заранее известным рельсам.

«Ёлка в Сокольниках» А. Кононова тоже из первых книг, прочитанных самостоятельно. Замечательные иллюстрации Н. Жукова запечатлели «лучистую улыбку» Ильича, весело подкидывающего вверх малышку около ёлки. Так началось долголетнее постижение Ленина, преклонение перед которым постыдно долго не покидало меня – вплоть до того, что в 1970-е годы я обзавелась пятитомником воспоминаний о нём, на редкость унылых и безликих. Да, обрабатывали нас умело. Чего стоят темы курсовых работ, которые мы с моим однокурсником Андреем Липовецким писали в первый университетский год, весной 1967 года: я – «Ленин о литературе», он – «Ленин и Горький». Уже тогда мне хватило соображения понять, что Владимир Ильич никакой не филолог (отталкивало, хотя и чем-то привлекало его панибратски-покровительственное отношение к моему кумиру – Льву Толстому, настораживал примитивизм литературных вкусов), и я добросовестно вчитывалась в «Философские тетради», пытаюсь отыскать там некие путеводные нити для понимания солженицынского «Ивана Денисовича», который в нашем доме занимал одно из почётнейших мест...

До сих пор помню сюжет и пафос «Голубого винтика» А. Донченко (1955 г.), прочитанного ещё до поступления в первый класс. Дошколятам из детского садика устраивают экскурсию на тракторный завод – из-за детских споров, кто из их родителей главнее для изготовления тракторов. Мама главной героини, Софийки, ввинчивает на конвейере последний по счёту крохотный винтик, но без него трактор не двинется с места. Девчушка торжествует: вот какой важный винтик вкладывает в трактор мама!

Ну почему донныне помнится эта, в сущности не самая умелая, прививка тоталитарного сознания? Неужели уже тогда в детском подсознании таился протест – люди (я, мама, папа, бабуся, дедушка) вовсе не винтики? И смешно гордиться таким «винтичным» причастием? Нет, конечно. А вот помнится до сих пор, помнится со стыдом и жалостью. Уже на склоне лет я буду рассказывать своим студентам об этих детских впечатлениях, и аудитория затихнет и задумается.

Я росла в гуманитарной семье: отец – психолог, мама – филолог. Неудивительно, что Пушкин сопровождал меня буквально с младенчества, тем более что мамина кандидатская диссертация была посвящена его романтическим поэмам. Сказки Пушкина для меня в три-четыре года

ещё не имели авторства, сливаясь с общим «сказочным» потоком. Но вот в последнее дошкольное лето в лесу на Свято-озере (где наша семья, вместе с семью-восемью другими, проводила отпуск в палатках – и эти отпуска стали одними из драгоценнейших жизненных впечатлений) мама, в ответ на мои нескончаемые просьбы «что-нибудь рассказать», говорит: «Ну хорошо, хочешь, расскажу тебе о дяде и тёте, которые любили друг друга?» И читает мне «Онегина» в отрывках – с письмом Татьяны, с дуэлью, с письмом Онегина, с финальным объяснением. Своё потрясение помню до сих пор. К тому же читала мать изумительно, лучшего чтения я в своей жизни не слышала. Когда мы вернулись в город, я потребовала себе «Онегина» полностью. И прочитала взахлёб. Больше всего подействовала, конечно, волшебная красота и лёгкость стиха. И – Татьяна. Лет шесть после этого (до 12 лет) она моя любимая героиня. Я кинулась тогда и к биографии Пушкина (помнится, у нас был синий томик Н.Л. Бродского 1937 года издания). То, что его жизнь, в сущности, прекрасное произведение искусства, видимо, интуитивно ощущалось, потому что перечитывала я эту биографию (написанную вовсе не детским языком) снова и снова. Классе в восьмом отец принесёт мне из библиотеки Пединститута вересаевскую эпопею «Пушкин в жизни» – и боже мой, до чего величественной и в то же время близкой казалась его фигура!

А когда я училась в четвёртом классе (1958 г.), мама ведёт меня в кино – вышел фильм «Евгений Онегин» по опере Чайковского. Слух мне тогда ещё позволял воспринимать музыку, и Чайковский, конечно, сразил наповал, вплоть до того, что я пыталась перед домашними разыгрывать сцену с няней...

Мама, кстати, сначала посмотрела фильм без меня, и как я помню её восторженные восклицания: «Наташка, какая Татьяна! Какой Ленский!» Живая непосредственность эмоционального отклика – вот что пленяло в ней прежде всего. Она была главным человеком моей жизни, боль от её безвременного ухода в 59 лет (1979 г.) со мной до сих пор. В сущности, она задавала камертон всем этическим оценкам моего существования. Любовь к книгам, природе, постоянный интерес к людям – всё это от неё. Она знала о неизбежности своего преждевременного ухода и очень тосковала после второго инфаркта, спровоцированного диабетом. «Всё хорошо, Наташа, но мало, мало...» А я пыталась утешить её Твардовским, чьего «Тёркина» она очень любила и часто читала вслух отдельные главы:

Не о смертном думай часе,
В нём ли главный интерес?
Смерть – она всегда в запасе,
Жизнь – она всегда в обрез...

Потом, видимо, мама внутренне смирилась, и мужество её последних двух лет поражало даже врачей. Накануне смерти мы с папой и братом поговорили с ней через окно реанимационной палаты интенсивной терапии – она улыбалась. Отец не успел утром к ней в больницу, она ушла без него, он опоздал буквально на несколько минут, но упросил врача пустить его к ней. Тот разрешил – мама улыбалась...

Дома потрясённый отец сказал мне: «Как она улыбалась... Фантазия!» Да, надо бы, надо написать воспоминания. Перед листом бумаги так многое всплывает... Но попробую всё-таки придерживаться взятого направления.

Так вот, «Онегин». Он со мной до сих пор, знаю его чуть ли не наизусть. В детстве домашние смеялись над моей влюблённостью в Татьяну, особенно иронизировал над этим «романтизмом» Серёжа, которого я безуспешно старалась заразить и портретом, и письмом, и благородством пушкинской героини. Но вот классе в шестом до меня стала доходить ирония Пушкина, его бесстрашие в изображении пошлости и трагизма жизни – и Сергей начал прислушиваться ко мне:

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы...

и т. д., и т. п.

А потом, потом... В юности я всей кровью почувствую, что нет лучшего изображения всепоглощающей страсти, как в письме Онегина:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движение глаз
Ловить влюблёнными глазами...

Это гениальное «глаз – глазами»...

Да, много, много было моих «открытий» в этом неувядаемом, волшебном, бездонном тексте. А сейчас... Сколько мужества мне придаёт последняя строфа:

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл её романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Моё детство – это послевоенные годы, 1948–1955. Отец не только прошёл Великую Отечественную «от звонка до звонка», но и участвовал во вхождении советских войск в Прибалтику (был в армии с 1939 года). Многочисленные военные герои и книги о них сопровождали меня до 1960-х годов. И почему-то ничто так не запало в детскую душу, как скромный томик в бумажной обложке цвета хаки: Е.Н. Кошечкина «Повесть о сыне». Почти сразу же я прочла «Молодую гвардию» А. Фадеева, но эмоционального потрясения практически не последовало. Записки Елены Николаевны покорили безыскусственностью, не подчёркнутым, не надрывным, но тем сильнее хватающим за сердце материнским горем, гордостью за так жданного и любимого единственного сына. До сих пор помню строчку оттуда (жаль, книжка затерялась): «Мой сын, которому не было и 16 лет, лежал передо мной седой...»

Конечно, было преклонение перед подвигом, было тайное допрашивание себя: «А я смогу?» Но запомнилось мне и первое в жизни сопоставление книги и похожей действительности, «лично знакомой и известной». Дело в том, что растила меня лет до восьми Кока – старшая сводная сестра бабуся, маминой матери. Елена Алексеевна Чупрунова – Кока – очень меня любила (кстати, она первая указала матери на мой физический недостаток: «А Наташка-то не слышит!»). Но жизнь

её сложилась трагически: рано овдовев, всю любовь и надежды она отдала единственному сыну, Коле Чупрунову. И когда он пропал без вести в первый же год войны, Кока не выдержала – начала пить. К моим семи-восемью годам жить в нашей семье ей стало не по силам, и она ушла «на квартиру», где вскоре и умерла. Помню, как она, пьяненькая, подходила к каменным воротам в наш двор и подзывала меня «поговорить». Я подходила, но пьяных я страшно боялась, и свидания эти были мучительными.

В разговорах с мамой я как могла защищала Коку, и однажды мама, не выдержав, бросила: «А помнишь Елену Николаевну? Какого сына потеряла! Но ведь не доходила до такого...» Только довольно долгое время спустя я нашлась, что ответить. Горе Е.Н. Кошевой было «на миру», сын ушёл признанным героем, её как могли поддерживали все – и официально, и неофициально.

Да, «Молодая гвардия»... И роман Фадеева, очень популярный, кстати, входивший в школьную программу, – его не просто читали, его герои были любимыми для множества моих сверстников: для кого – Олег (как для моей ближайшей студенческой подруги Сони), для кого – Серёжка Тюленин, для кого – Уля Громова. Позже, много позже открываются светлые и тёмные тайны краснодонского подполья, я буду увлечённо и взволнованно отыскивать разные подробности, но святость этих подростков для меня очевидна и незыблема до сих пор.

Русские народные сказки (и не только русские) были моим постоянным чтением класса до четвёртого, да и позже я их с удовольствием перечитывала. Многие сборники помню на глаз, на ощупь, на запах... Трудно сформулировать причины этого пристрастия, тем более что и «взрослого» чтения в эти годы было предостаточно. Особенно привлекали сказки волшебные, насыщенные приключениями, «неведомым и невиданным». Нравилось разнообразие сюжетных узоров, вышитых по единой канве, но всякий раз по-разному, гармоничное сочетание нарратива и языка, психотерапевтический эффект благополучной развязки, и главное, пожалуй, нравились характеры центральных персонажей – Ивана-дурака, Василисы Премудрой, Бабы-яги. Формировались первые представления о противоречиях национального характера: внешнее может (чуть ли не должно!) противоречить внутреннему, придурковатость оборачиваться красотой и удалством, лень и растяпистость – способностью к подвигу и упорством, женщина может (и должна!) быть умнее и сильнее мужчины, стать его опорой и надеждой...

Как ни странно, первые школьные годы не принесли значимых перемен в круге моего чтения, наверное, потому, что он и так был достаточно велик и расширялся по другим причинам. Разве только упомянуть довольно стойкое, с третьего по пятый класс, увлечение астрономией? Ему способствовало постоянное посещение детской библиотеки, которая располагалась рядом с нашим домом, на соседней улице, и куда я, конечно, ходила самостоятельно. Я перечитала всё, что там было «астрономического», и не фантастику, а научно-популярную литературу. Отчётливо помнится увлекательнейшее «Солнечное вещество» М. Бронштейна – и как отзвучат эти детские впечатления, когда уже в 2000-е годы я прочитаю трагический «Прочерк» Л.К. Чуковской о своём расстрелянном муже.

Одним из аппетитнейших кусков моего книжного пирога оказались романы Ж. Верна: «Дети капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров». Впервые открылась огромность мира

(я даже рисовала на глобусе маршрут экспедиции Гленарвана) и реальные подробности постоянной битвы за существование. Кроме того, до кончиков пальцев проникало редкое удовольствие «делания», которым пропитан «Таинственный остров» – пожалуй, одно из лучших пособий для воспитания радостного трудолюбия. Помню ещё чувство счастливого удовлетворения: оказывается, плохих людей (таких, как Айртон) в мире очень мало – по пальцам пересчитать (да и те могут исправиться).

Обычный круг детского чтения: сказки, путешествия, научпоп. В четвёртом классе подошла очередь детективов: подружка дала прочитать «Собаку Баскервилей». До сих пор считаю повесть Конан Дойля «лучшим детективом всех времён и народов». Она да ещё несколько позже за одну ночь проглоченный «Лунный камень» У. Коллинза на всю жизнь прививают мне страсть к мастерски написанным историям розыска, и уже в зрелом возрасте я от души соглашусь с восклицанием Ахматовой: «Ночь с детективом – это прекрасно!» Лучшего средства разрядки, интеллектуального отдыха, отвлечения от мелких бед и неприятностей просто не знаю (крупные бедствия – другая статья). Вот только детективы обязательно должны быть «со знаком качества» – с увлекательным и нестандартным сюжетом, аппетитными подробностями, живым, ярким и ненавязчивым языком. С первыми прочитанными детективами мне повезло, я получила пожизненное противоядие для отторжения низкопробного чтения, какой бы закрученной ни была соответствующая интрига, и все советские истории «про майора Пронина» и кагэбэшников с усталыми добрыми глазами равнодушно пропускались.

Нет, если автору удаётся вылепить обаятельного и узнаваемого главного героя и создать пусть не особо правдоподобный, но уютный мир сыщицкого розыска – такие вещи читать можно. До сих пор отдаю должное Аркадию Адамову, Александре Марининой, Полине Дашковой. Но это, пожалуй, и всё. Зарубежные детективы, коими полны современные прилавки, отталкивают количеством усилий, которые необходимо приложить для вживания в незнакомую и чужую действительность: тем самым теряется главная функция этой литературы – функция отдыха.

Как появлялся вкус к литературе реалистической, моделирующей мир в тех событиях, портретах и подробностях, которые позволяют соотнести с книжными страницами себя, близких, окружающее? Из опыта детского (до одиннадцати лет) чтения вспоминаются романы Г. Мало «Без семьи» и В. Каверина «Два капитана». Всё-таки без интригующего сюжета детская книга состояться не может, а от обоих романов оторваться просто невозможно. Сочувствие и сопереживание обездоленному Реми (главному герою Мало) запомнились ещё Марине Цветаевой (см. «Мать и музыка»), а обаяние действия во имя страны, которым пропитаны страницы каверинского текста, живо в сердце до сих пор. Каверин доньше один из самых любимых мною советских писателей – думаю, из-за юношеской чистоты его души, которую он сумел сохранить незапятнанной. Строгая и пылкая страстность его моральных оценок заставляет меня вновь и вновь перечитывать мемуарные «Освещённые окна» и «Эпилог». Полное сдержанного трагизма повествование о судьбе любимого старшего брата, замечательного медика и биолога Л. Зильбера, отбывшего срок в сталинских лагерях, сжимает горло. Очень люблю повесть «Перед зеркалом» о художнице Лизе Тураевой; на мой взгляд, редко встречается в нашей литературе

столь проникновенное постижение творческой женской души и её неукротимого стремления сохранить себя живой и действующей.

Немаловажным последствием такого погружённого в книги детства, как моё, оказалось непоколебленное до сей поры убеждение: литература – важнейшая часть как окружающего мира, так и моего собственного существования. И мало что сравнится с ней по степени необходимости.

Отрочество (1960–1963)

Отчётливо помню событие, с которого кончилось детство и началось отрочество, другими словами, осознание себя как отдельной личности: это моё месячное пребывание в больнице в январе 1960 г. (мне 11 лет) с миокардитом. Родителей не пускали даже с краткими посещениями, только записки и передачи. К тому же именно в это время мне пришлось надеть очки. Сознание собственной ущербности, непоправимого отличия от других было очень болезненным, следовало как-то справиться с этим. Как всегда, помогли книги. Я подружилась с самой старшей девочкой в палате – Тэла Бернштейн училась уже в девятом классе, но нам всегда было о чём поговорить. Она как раз недавно прочитала «Овода» Э.-Л. Войнич, её рассказы меня заворожили, и вот после выписки она вручила мне долгожданный томик.

Артур Бертон, Феликс Риварес, Овод стал одним из любимейших моих героев. Преодоление себя, собственного страдания, мужество сопротивления обстоятельствам во имя большой цели – всё это сыграло огромную роль для становления ещё детского характера, потребовало ставить перед собой значимые и нелёгкие задачи. В сущности, Оводу я обязана и своей золотой медалью, и красным дипломом, и упорством в научной работе. А ещё надолго заворожила тайна личности, обаяние и неразгаданность характера. Неосознанно я пыталась подражать ему даже в мелочах, интригуя подруг своими фантазиями и выдумками. Предсмертное письмо Овода к Джемме помню до сих пор наизусть:

Дорогая Джим!

Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам всё, и если уж исполнять это обещание, то только сейчас. Впрочем, к чему пускаться в длинные объяснения? Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. Даже когда были детьми...

Сколько слёз я пролила над этим письмом. Спустя некоторое время мама раздобыла томик Э. Войнич с обоими романами о Риваресе («Овод» и «Прерванная дружба») и подарила мне с такой надписью: «Наташа! Дарю тебе твою любимую книгу, над которой мы вместе плакали. Но больше слёз не нужно – мужество и борьба!»

Как мать понимала меня, и сколько мужества понадобилось ей самой, чтобы не унижать моё детство и отрочество бесплодным сожалением и бесполезным сочувствием к моим болячкам. Хотя иногда отчаянно хотелось, чтобы тебя пожалели. Но именно этой мудрой жёсткости я обязана тем, что окружающие никогда не считали меня неполноценным инвалидом, что я всегда оставалась «на коне» в жизненных ристалищах.

Слёзы над книгой... Счастлив ребёнок, счастлив взрослый, испытавший это. Помню, как мама, несколькими годами позже, озабоченно

жаловалась мне, что Коля (мой младший брат) не плачет над книгами, и с каким торжеством мы обе заметили его первые слёзы над «Поднятой целиной», когда гибнут Давыдов и Нагульнов.

Трудно, почти невозможно осваивать эмоциональный опыт человечества вне искусства. Да и собственные унижения, беды, горести преодолеваются не то что легче, но как-то сдержаннее и успешнее, когда сформировано в твоей душе пространство героев, событий, строчек, звуков, картин.

Повлиял на меня и культовый советский роман «Как закалялась сталь» вкуче с канонизированной биографией его создателя – Николая Островского. Но в гораздо меньшей степени. Впервые зарождается мысль, что есть писатели и поэты «от Бога», а есть – «от биографии». Необычайность прожитого, интенсивность пережитого, подлинность и глубина чувства могут заставить человека весьма средних способностей и таланта выдать на-гора значимое и нетленное произведение. Такое впечатление у меня по сию пору держится от цикла «С тобой и без тебя» Константина Симонова и от некоторых стихотворений О. Берггольц (да простит меня Ольга Фёдоровна, чей талант, безусловно, крупнее, мощнее, трагичнее симоновского).

Для меня главным в фигуре Н. Островского остаётся факт единоборства с ужасной болезнью, лишившей его зрения и движения. В сущности, этого достаточно.

На очередной день рождения (20 июня 1960 года) Серёжа подарил мне книжку А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль», и до сих пор со мной остаётся воздух душевного здоровья, которым дышат все её странички. Если вы хотите вырастить хорошего человека (а кто из родителей этого не хочет?), дайте ребёнку прочитать трилогию Александры Яковлевны («Дорога уходит в даль», «В рассветный час», «Весна»). Очень мало в русской, да и мировой, литературе таких правдивых, искренних, обаятельных и живых книг о подростках – их дружбе, учёбе, первых столкновениях с действительностью. С начальных строк возникает полное доверие к персонажам и их действиям, стремление перенести изображаемые события и характеры на себя, на свой ближний круг, а также чувство, что автор попросту очень хороший человек. И знает много больше, чем говорит. До сей поры помнится её обращение со страниц своей книги к любимому отцу:

Папа мой, papa!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трёхаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижая, что я тружусь и хорошие люди меня уважают... Я говорю тебе это – здесь.

Та же Тэла Бернштейн заразила меня интересом и любовью к Тургеневу. Она восхищалась Базаровым («Мне нравится даже его грубость!»), и с её лёгкой руки я кинулась к «Отцам и детям», «Накануне», «Дворянскому гнезду». Нет, к Базарову меня привлек не бесшабашный нигилизм, не эпатаж, не страсть к разрушению. Привлекла его человеческая мощь, его способность к героическому и крупному действию, которые ярче всего обнаруживаются в ключевом эпизоде его смерти. Как написал эту сцену Тургенев! Спустя многие годы именно эту смерть-действие, смерть-поступок я выберу для анализа в своей хре-

стоматии «Читаем русскую прозу», и мой тогдашний соавтор Вася Шевцов скажет, прочитав мой комментарий: «Да, чувствуется ваше личное отношение...»

Может быть, это покажется неожиданным, но тургеневские девушки и женщины навсегда отвратили меня от многословия и уж тем более от сентиментальности в высказывании собственных чувств. Чего стоит объяснение Елены с Инсаровым в «Накануне»:

– Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, – прошептала она, – вот... я сказала.

Или последняя встреча Лизы Калитиной с Лаврецким:

– Нет, – промолвила она и отвела назад уже протянутую руку, – нет, Лаврецкий... не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю... да, я люблю вас, – прибавила она с усилием, – но нет... нет.

Помню, как поразил меня уход Лизы в монастырь, как инстинктивно я всеми силами отталкивалась от её решения, каким чуждым оно мне было. Я тогда приставала ко всем домашним с просьбой ответить на вопросы шутливой Марксовой «Исповеди», и дед – Иван Николаевич Павловский, бывший для меня неоспоримым и загадочным авторитетом, своей любимой героиней назвал Лизу Калитину, а любимым героем – князя Мышкина. Только тогда я смутно начала понимать, какая сила и цельность характера скрывалась за Лизиним поступком.

Серёжа, подсмеивающийся над моим «романтизмом», тем же летом 1960 года заставил меня прочитать «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Впервые я с головой окунулась в смеховую стихию юмора, почувствовала притягательное бесстрашие сатиры. Кстати, тайна смеха в искусстве так и остаётся для меня неразгаданной. Возможно, люди до сих пор хохочут над похождениями и репликами Бендера из-за его человечности, из-за того, что Остап, безусловно, самый привлекательный персонаж дилогии. Он смеётся и даже издевается над людьми, не унижая и не уничтожая их – унижают и уничтожают его самого. Недаром И.Г. Эренбург в своих воспоминаниях мимоходом нарекает его «милым плутом». (Именно с этих пор поселяется во мне стойкое недоверие к предисловиям и послесловиям советских изданий: в предисловии к так любимым мне романам Бендер безжалостно разоблачался.)

На тринадцатом году я открываю для себя Толстого. «Война и мир» в нашем доме была в огромном одномомнике большого формата, который трудно удерживался в руках, и я одолевала роман, сидя на скамеечке перед широченной родительской тахтой. Конечно, первое прочтение было поверхностным – ведь я честно, без пропусков, продиралась сквозь всё непонятное и по тем моим годам малоинтересное. Но живая противоречивость характеров, правда диалогов, подлинность мельчайших душевных движений, неудержимая радость жизни надолго сделали этот роман одним из самых любимых. В десятом классе мне посчастливилось не «пройти», а прожить «Войну и мир» вместе с Блюмой Яковлевной Княжицкой, нашей тогдашней учительницей литературы. Кандидат филологических наук, ученица А.А. Белкина, она была незаурядным филологом и страстным, ироничным просветителем. Мы написали по «Войне и миру» 17 классных сочинений! В основном это были анализы отдельных эпизодов, и её вопросы, её саркастическое

хмыканье заставляли глубже и глубже вгрызаться в толстовский текст. Загадка Наташи. Загадка Сони. Выбор между Пьером и князем Андреем (для меня сразу и навсегда – Андрей!). «Диалектика души» – в чём, как и где она проявляется? И всегда ли эта диалектика нравственна? Именно тогда начало складываться новое отношение к литературе: менее непосредственное, рефлексированное, аналитическое. Но страсть к художественному слову даже выросла.

Главное, что мне дал этот великий роман, – ощущение радости и принятия жизни. «Войну и мир» создавал гений, находящийся на вершине доступного ему человеческого счастья: Толстой воевал, путешествовал, завершил предварительный этап душевных поисков, рядом с ним молодая и горячо любимая жена, появились первые дети, радуется покой своего имения – и на фоне всего этого полный расцвет сил и таланта. «И увидел Бог, что это хорошо...» Недаром на последних страницах эпопеи подросток мечтает о будущем подвиге. Мало таких концовок в русской литературе.

Не могу не упомянуть о первом соприкосновении с толстовской философией. Её мощь и обаяние помогли мне, пусть и неосознанно, сопротивляться официальному историческому материализму, которым нас неуклонно пичкали и в старших классах школы, и во время пятилетнего университетского марафона. «Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений...» Диалектика Толстого касалась не только человеческой души.

Уроки литературы интегрировали в себе всё: живую историю страны, этику, философию, психологию, художественную культуру. Мои школьные годы (1955–1966) совпали с хрущёвской оттепелью, и как старались наши учителя распахнуть перед своими питомцами двери в открывающееся пространство! С пятого класса литературу у нас вела Анна Акинфиевна Вишнякова. После гибели на финской войне любимого мужа, М.И. Быкова (посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза), она всю себя – без преувеличения – отдавала своим ученикам. Помню, в шестом классе мы на уроке русского языка проходим однородные члены предложения, и она пишет на доске:

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.

И задумчиво добавляет:

Свеча горела на столе,
Свеча горела...

А ведь шельмование Пастернака уже состоялось, имя его не было принято упоминать, тем более на школьных уроках.

Очень жаль, что в те годы в школьной программе отсутствовал Достоевский. Конечно, мимо меня он не прошёл, и первым толчком стал уже упоминавшийся ответ деда на вопрос о его любимом литературном герое: князь Мышкин. В 13-14 лет «Идиота» постигнуть невозможно, поэтому отчётливо помню восхищение блестящей первой частью, сценой с горящими деньгами в гостиной Настасьи Филипповны – и горестное недоумение перед дальнейшим повествованием о происшествиях

на павловских дачах. Я и сейчас далека от безоговорочного включения князя Мышкина в пантеон своих любимых героев, но роману – роману полностью отдаю должное. К Достоевскому пришлось подбираться постепенно: от «Неточки Незвановой», «Униженных и оскорблённых» к «Преступлению и наказанию» и «Братьям Карамазовым». Этот последний я прочла уже студенткой, и вот он-то пронял, что называется, до печёнок. Когда, по моему настоянию, «Карамазовых» прочитал младший брат Коля (с которым я была очень дружна вплоть до его женитьбы), мы проговорили с ним до трёх часов утра. «Принимаю Бога прямо и просто, но я мира этого божьего не принимаю и не могу согласиться принять». (Знаю, что цитата неточная, но просто мне так запомнилось и понравилось.) Иван остался одним из любимейших моих героев. А вот Алёша... Его обаяние до сих пор не то что недоступно, а чуждо. Какая-то фальшь проглядывает во всех героях этого плана у Достоевского. Возможно, они могут достучаться до сердец только истинно верующих людей? Не знаю.

Для растущего человека очень важно бесстрашное умение Фёдора Михайловича докапываться до самых тёмных глубин нашего сознания. В юности часто пугаешься неожиданных желаний, грешных соблазнов, неодолимых внезапных порывов сделать или подумать что-то заведомо запретное и осуждаемое обществом. Достоевский вытаскивает эти вещи наружу и объективирует их. Нет лучшего пособия для собственного психоанализа и аутопсихотерапии.

В зрелом же возрасте наступил этап постижения «Бесов», и не для меня одной – со второй половины 80-х многие начали задумываться о глубинной сути большевистского переворота и его связи с нашим национальным характером и неискоренимыми традициями. К тому же Достоевский угадал нечто очень важное, неостановимое и страшное в развитии человеческого рода в целом: хочешь разобраться в корнях массового терроризма, повседневной жестокости, возрождающихся тут и там тоталитарных режимов – перечитай «Бесов»...

Вспоминая своё постижение двух наших гениев – Достоевского и Толстого, я не нахожу той пропасти между ними, о которой так убедительно поведал В.В. Вересаев в своей «Живой жизни». Да, разные. Навероятно разные. Но оба равно необходимы. Если Толстой в конечном итоге славит жизнь и учит бояться только равнодушия и спокойствия (которое, по его словам, душевная подлость), то Достоевский зовёт к вызову, бунту, одновременно предостерегая от неизбежных опасностей на этом пути.

В конце 1962 года грянул Солженицын. Номер «Нового мира» с «Иваном Денисовичем», конечно, был раздобыт, зачитан до дыр всей семьёй и занял почётное место в библиотеке. Безоговорочное, восторженное принятие повести в нашем доме столкнулось со множеством осторожных замечаний в других семьях. «Да, талантливо, интересно, но... Где сопротивление? Где осуждение Сталина? Где настоящие коммунисты?» И т. д., и т. п. Отторжение и непонимание главного героя встречалось достаточно часто. Только в зрелом возрасте у меня сложится твёрдое убеждение, что это лучшая художественная проза Солженицына, на уровне гениальности (хотя сам он, видимо, так не считал). Врезалось в память, как в первые дни после внезапной и безвременной маминной смерти мой младший брат не отрываясь перечитывал «Один день...». Каждый в нашей осиротевшей семье изо всех сил старался справиться с горем, и Коле, видимо, ощутимо помогала неиссякаемая,

хотя и трудно объяснимая жизнестойкость, волнами исходящая от солженицынского текста.

А первой печатной искоркой так необходимой обществу правды в нашей семье стала далеко не всеми замеченная документальная книжка С.С. Смирнова «Герои Брестской крепости», в которой глухо, но достаточно отчётливо говорилось о том, что большинство этих героев после окончания войны были репрессированы. Именно тогда мой дед Иван Николаевич Павловский написал автору письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Сергей Сергеевич! Я один из тех, “кто вынес всё: тоску неволи, кошмар мучительных ночей...”» Дед задавал главный вопрос: не пришло ли время во весь голос сказать о жертвах сталинизма? назвать хотя бы самых бесчеловечных палачей? (Он упоминал фамилию Кашкетина, одного из самых изуверских начальников в Ухтпечорлаге.) И Смирнов ответил: к сожалению, время это ещё не пришло...

Подростковое чтение извилисто и прихотливо. Расскажу об одном вкусовом «зигзаге», который так и не забылся. К хорошей поэзии меня приучили с детства, к тому же, как я уже упоминала, мама замечательно читала. В общем, стихи самых разных (но, как правило, хороших) поэтов были моими постоянными спутниками. И вот в шестом классе мне попало стихотворение Виктора Гусева «Слава» – и до страсти понравилось. Много раз я декламировала его одноклассникам, кстати, с неизменным успехом. В тексте изложена обыкновеннейшая история о поиске таланта: у девушки обнаруживается талант певицы, у юноши – нет, но он успокаивает себя будущим «знаменитого токаря». Стихи звонкие, небесталанные, логика и обаяние типично советского жизненного успеха преподнесены читателю безупречно. И всё же банальность, даже пошлость стихотворения очевидна. А вот помнятся строчки до сих пор:

...Нет, я не хвастаю, Маша.
 Но пометать я вправе.
 Я знаю свою силу,
 Я знаю свою страну.
 Так спой на прощанье песню
 О доблести и о славе,
 И я, невзирая на голос,
 Всё-таки подтяну!

Сколько мы с друзьями спорили: можно ли мечтать о славе? нужно ли? Может быть, сказалась юношеская боязнь исчезнуть? уйти без следа?

К счастью, через год наступил Блок. Иначе и не скажешь: наступил, как наступает лето, зима, весна. Эта стихия, эта музыка, эта тайна заворожили и остались навсегда. Понимание, постижение, вчитывание... Можно сказать, что мой Блок рос вместе со мной. Как Пушкин. Порой перечитывание Блока приводило меня к нестандартным выводам. Задолго до того, как обнаружить соответствующую работу М. Волошина, мне стало казаться, что Христос в «Двенадцати» оказывается впереди красногвардейского патруля просто потому, что двенадцать «с кровавым флагом» гонятся за ним, а он без труда скрывается от них в «снежной россыпи жемчужной». Такое объяснение устраивало меня гораздо больше всех общепринятых толкований.

С юности поразило меня в облике Блока – поэта и человека – то, что я про себя называла «поэтической обречённостью»: постоянное, то вольное, то невольное, стремление обнаружить в собственном существовании всё, достойное поэтического воплощения, и добиться этого воплощения – любой ценой:

...И, взглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!

«Как тяжело ходить среди людей...» 1910

В который раз убеждаюсь, кстати, как важна для подростка музыкальность стиха, его лакомая произносимость. «О доблестях, о подвигах, о славе...» Хочется повторять и повторять, проговаривать и проговаривать – вслух, про себя, товарищам. Пожалуй, именно тогда просыпается моя склонность, даже страсть к просветительству – отдать, поделиться, заставить другого ощутить открывшуюся тебе тайну и красоту. Много позже я напишу несколько книг с культурологическим комментарием художественных текстов, они будут иметь успех. А началось всё тогда, в 14 лет.

Мне четырнадцать лет.
ВХУТЕМАС
Ещё – школа ваянья...

Раздаётся звонок.
Голоса приближаются: –
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

Б. Пастернак. «Девятьсот пятый год»

Вспоминая советскую литературу моих 13–15 лет (1961–1963 гг.), я нахожу, что лучшие её произведения на редкость соответствовали жадному желанию постичь и принять окружающее, обнаружить и занять своё место в жизни – желанию, которое так свойственно подростку. До сих пор благодарно помнятся два «производственных» романа: «Иначе жить не стоит» В. Кетлинской и «Битва в пути» Г. Николаевой. Притягательность жизни по призванию, о которой так убедительно свидетельствует Кетлинская, действовала не только на меня, прочитав эту «очень замечательную» книжку мне советует в письмах из Ленинграда троюродная сестра Таня, с которой мы очень дружили, несмотря на четырёхлетнюю разницу в возрасте. И роман-то о шахтёрах, газовиках, но как аппетитно передана радость молодого открытия, страсть борьбы за его реализацию, вера в жизненную необходимость твоего труда... Позже я прочитаю яркие лаконичные наброски незавершённых сюжетов в книге Веры Казимировны «Вечерние окна», её мемуары и снова порадуюсь таланту эмпатии, с которым она доносит себя и свой мир до читателя.

«Битву в пути» у нас прочитала вся семья. Неудивительно: судьба Тины и её расстрелянного при Берии отца перекликалась с опытом

моих родителей. Но дело было не только в «правде жизни». Обаяние этого романа – в лиричности интонации, в живом пульсе трагедии и её преодоления, в торжестве неудавшейся любви. Как почти всегда после понравившейся и поразившей книжки, я выискивала и проглатывала другую прозу Галины Николаевой, её стихи, позже – её предсмертные записки «Мой сад» (она безвременно скончалась от болезни сердца) и архивные публикации, воспоминания о ней. Мама даже побывала на её выступлении в нашем городе (приезжала она вместе с мужем, М. Сагаловичем). Безусловно, как человек она была крупнее своих произведений. Она из тех, у кого художественность слова в значительной степени обуславливается напором незаурядного жизненного материала, незаурядностью эмоционального строя души. «Битва в пути» обнаружила это в полной мере. В сущности, прекрасный роман. Даже парторг Чубасов вызывает симпатию, не говоря уже о главном герое Бахиреве. Особенно если по контрасту вспомнить появившегося в те же годы «Секретаря обкома» В. Кочетова, роман, который я тоже прочитала – и захлопнула книжку, ощутив отчётливый привкус картонности и патоки.

У мамы с её студенческих, совпавших с военными, лет сохранилась потрёпанная продолговатая книжечка, в которую она вписывала запомнившиеся стихотворения. Именно там я нашла почти весь симоновский цикл «С тобой и без тебя». Он сразу и навсегда стал одним из моих любимых, и до сих пор почти весь его помню наизусть. Сколько раз я читала эти стихи в самых разных – по возрасту, интеллекту, социальному положению – компаниях! В турпоходах, в домах отдыха, на дружеских вечеринках, в студенческой аудитории... Отклик был неизменно искренним, тёплым, часто восторженным:

...Но если опоздать случится мне,
И ты, меня коря за опозданье,
Услышишь вдруг, как кто-то в тишине
Шепнёт, что бесполезно ожиданье, –
Не отменяй с друзьями торжество.
Что из того, что я тебе всех ближе,
Что из того, что я любил, что из того,
Что глаз твоих я больше не увижу?..

«Хозяйка дома»

Безусловно, этот цикл – лучшее, что есть у Симонова, то, что останется навсегда. Настоящее, большое чувство, данное в своём беспощадно правдивом развитии, да ещё в экстремальной ситуации войны, – немногим поэтам выпадает такая удача, и немногие смогли так полно её реализовать. Позже я читаю всё, что удастся раздобыть об истории этой любви и её героине, догадаюсь, что Валентина Серова была, пожалуй, крупнее и интереснее Симонова и по талантливости натуры, и по человеческим качествам, но обаяние Константина Михайловича как мужчины и воина, обаяние его мужественной и бесконечно честной поздней самооценки не померкнет.

Всматриваясь в отдельные картинки своего отрочества, ещё раз нахожу в них подтверждение, что Советская Россия была «суперлитературоцентричной» страной. Разговорами о книжках сопровождалась почти все шатания с одноклассниками по городу, ещё детские вечеринки

и дни рождения, долгие возвращения из школы с взаимными провождениями друг друга. В нашем кругу не было принято прогонять детей с домашних праздников и застолий, за которыми тоже обсуждались книжные новинки, включался магнитофон с Галичем и Окуджавой (Высоцкий появится позже), читались стихи. Помню, как я «суфлировала» Александру Познанскому (одному из популярнейших нижегородских чтецов), который вдохновенно декламировал в нашей гостинной есенинское «Письмо к женщине»:

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне...

Жаль, что это ушло. Живое слово – не скайп, не экран смартфона...

Много позже я прочитаю в прославленном эссе «Меньше единицы» характеристику, которую Иосиф Бродский дал своему поколению, и от души порадуюсь, что мои сверстники обрели и сохранили в себе что-то похожее:

...Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанного... Диккенс был реальней Сталина и Бери. Романы больше всего влияли на наше поведение и разговоры, а разговоры наши на девять десятых были разговорами о романах...

По своей этике это поколение оказалось одним из самых книжных в истории России – и слава Богу. Приятельство могло кончиться из-за того, что кто-то предпочёл Хемингуэя Фолкнеру; для нас Центральным Комитетом была иерархия в литературном пантеоне. Начиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем.

1964–1966

Вопреки устоявшемуся мнению, юность кажется мне одним из самых несчастных периодов человеческой жизни. Никогда больше не испытываешь такого бешенства желаний и не имеешь такого малого пространства возможностей для их осуществления. Очень нелегко также ощутить и осознать себя не просто личностью, а женщиной (или мужчиной, что ещё труднее). Уж не говорю о первой любви, которая практически всегда не складывается, кончается печально (если не трагически) и долго отдаётся в душе щемящей нотой. (Моя судьба в данном случае не составила исключения.)

Так вот, сочтя себя в 16 лет достаточно взрослой, совершенно поновому ощутив любовные коллизии в «Войне и мире», я залпом прочитала шолоховский «Тихий Дон». Тёмная тяжёлая стихия неведомого дотоле бытия меня чуть не потопила. Отталкивание от жестокости и насилия было таким острым, что томики физически вываливались из рук. И всё-таки я благодарна этому, безусловно слишком раннему, читательскому опыту. Померкла героиня Гражданской войны, неустанно воспеваемая в советской культуре (роль играли не столько книги, сколько фильмы, живопись, песни – ведь даже любимейший Окуджава

пел о «той единственной гражданской»). Начала открываться подлинная трагедия народа, которого жестоко и насильственно заставили переменить судьбу.

Конечно, я жадно впивалась во все «любовные» страницы. Сейчас даже как-то неловко об этом вспоминать, но из песни слова не выкинешь: в 16 лет мне гораздо более по душе и по характеру пришлась история отношений Анны и Бунчука. Однако мощь шолоховского текста такова, что перечитывала я «Тихий Дон» неоднократно, и счастье понимания и сопереживания главным персонажам росло от чтения к чтению. Сейчас мне ясно, что поднять любовь полуграмотных казаков до уровня шекспировских героев, поднять, ни разу не унизив её фальшивым облагораживанием, мог только подлинный гений. А неистребимая поэзия Дома, Семьи, Труда?

Спустя год-другой мы проходили в школе «Поднятую целину». После «Тихого Дона» роман, конечно, нравился меньше, но задуматься заставил о многом. В частности, прояснился безумный соблазн раскулачивания, когда нищему и забитому дают много и бесплатно. Часто спорили мы о трагической концовке, о том, зачем Шолохов беспощадно убивает своих лучших и любимых героев. В одном из сочинений я напишу: возможно, здесь предсказана тень надвигающегося 37-го года, и писатель призывает беречь настоящих людей, ведь их так мало осталось.

Предчувствие и робкое предугадывание собственной женской судьбы совпало у меня с прочтением «Очарованной души» Романа Роллана. Как нравился мне этот роман, с каким упоением я обнаруживала чёрточки своего сходства с главной героиней! Особенно привлекало великолепное презрение Аннеты Ривьер к «тому, что скажут», к материальным благам, простое, радостное и благодарное принятие судьбы «матери-одиночки» (которую я во многом повторю) и неустанный душевный труд. Спустя некоторое время в «Дневнике Нины Костериной» (о нём ниже) я прочитаю о таком же потрясении его автора судьбой и образом Аннеты.

Да, хороший роман. Конечно, блестящее французское многословие утомляет, его выдержит и оценит только достаточно опытный и воспитанный читатель. Роллан (как и Гюго, которого я тоже очень любила и ещё подростком во множестве прочитала) доступен далеко не каждому. Наконец, с чисто художественной стороны намного изобретательнее и мудрее его «Кола Брюньон», и в зрелые годы я часто буду вспоминать диалог из главы «Ласочка»:

– Среди всех женщин на свете, – сказал я, – я узнал бы тебя с закрытыми глазами.

– С закрытыми – да, а с открытыми? Взгляни на эти ввалившиеся щёки, на этот беззубый рот, на этот длинный нос...

– У меня глаза хорошие, Ласочка.

В середине 1960-х гг. публикуются великолепные переводы крупных зарубежных авторов, среди которых сразу и навсегда покорила меня Генрих Бёлль. Я собирала тоненькие бумажные издания всех его романов и повестей – «Дом без хозяина», «Глазами клоуна», «Бильярд в половине десятого»... Впервые мне открывается принципиально иной, другой национальный художественный мир, другое, но неодолимо притягательное мировосприятие, я начинаю понимать поэзию прозаи-

ческих символов. Чего стоило одно «причастие буйвола» из «Бильярда» (внутренне принятие фашизма и насилия)! Хрупкость добра – вот, пожалуй, главный нравственный урок, полученный мной от Бёлля. В 70-е гг. его произведения исчезают с книжных прилавков. В 1973 году я вырежу из «Нового мира» и переплету «Групповой портрет с дамой» и долго буду горестно недоумевать, почему писатель такой мощи и обаяния практически не печатается в Союзе.

Как многие сверстники, в отрочестве я не могла не увлечься Ремарком. Его книги были практически недоставаемыми; помню, с каким ликованием я притащила домой затрёпанный томик с «Тремя товарищами», сбережённый для меня знакомой продавщицей букинистического отдела. Очарование этого романа живо и сейчас, напоминая, какой бедной становится жизнь, лишённая дружбы и любви. Эту банальную истину способен засвидетельствовать далеко не каждый писатель... Позже многие ремарковские произведения забудутся и поблекнут, утомит однообразие туберкулёзных страданий и смертей. Но останется свет одинокого мужества и благодарности за пусть исчезнувшее, но подлинное чувство, исходящий от страниц «Триумфальной арки», «Чёрного обелиска», «Теней в раю».

Ещё в школьные годы одним из моих любимцев стал Л. Фейхтвангер. Перечитала я тогда почти все его романы, но особенно впечатлили (и много раз перечитывались) «Семья Опперман» и «Испанская баллада». Пытаюсь понять, почему именно они. В «Семье Опперман» мучительно задевала слепота общества к надвигающейся и разразившейся катастрофе немецкого фашизма, и к диалогу Густава Оппермана с открывшим ему глаза молодым адвокатом я возвращалась неоднократно. Задним числом думается, что здесь сказалось предчувствие собственных, последовавших много позже, прозрений относительно бытия советского общества в годы сталинизма и в годы застоя. Дело ведь не только в недостатке информации, но и в собственной охранительной глухоте, которую люди неосознанно лелеют и поддерживают. Ей поддался и сам Лион Фейхтвангер в своей книге «Москва, 1937 год». Как мог этот стреляный воробей не ощутить фальшь московских процессов тех лет? А «Испанская баллада» покоряла изображением любви как иррационального, сметающего все предостережения своего и чужого разума, бесконечно счастливого чувства. На мой взгляд, это один из лучших любовных романов в мировой литературе.

К сожалению, самой мне до последних дней не удалось избавиться от рации в любовных делах. Видимо, русскому человеку, особенно русской женщине, слишком многое мешаает безоглядно отдаться чувству, и дело вовсе не в опасении, что скажут и что подумают, а в постоянном осознании и предчувствии возможного будущего, главное в котором – судьба детей. Трагедия Анны Карениной мне видится не столько в иссякновении чувства, в том, что «винт свинтился», сколько в разрушенных судьбах Серёжи и маленькой Ани, даже имя которой с трудом вспоминает читатель. Всё-таки главное назначение женщины – дать и выпестовать жизнь.

И ещё одно произведение о любви стало неотъемлемой принадлежностью моего юношеского сознания: это поэтичный и грустный роман Т. Драйзера «Дженни Герхардт». Его образная ткань гораздо ближе к русской прозе XIX века, чем новаторские тексты Хемингуэя и Фолкнера (о которых ещё пойдёт речь), тем не менее это американская проза, с её сдержанной и глубокой недоговорённостью реплик. До сих пор

волнует диалог Дженни и умирающего Лестера, первый их диалог после расставания и долгой разлуки:

– Не знаю, что будет дальше, – говорил Лестер. –...Мне уже давно хотелось тебя повидать. Решил – в этот приезд непременно наведаюсь. Ты ведь знаешь, мы теперь живём в Нью-Йорке. А ты немножко пополнила, Дженни.

– Старею, Лестер, – улыбнулась она.

– Это неважно, – возразил он, не отводя от неё глаз. – Дело не в возрасте. Все стареют. Дело в том, как кто смотрит на жизнь.

Он замолчал и поднял глаза к потолку. Лёгкая боль напомнила ему о перенесённых мучениях. Ещё несколько таких приступов, как сегодня утром, – и он не выдержит.

– Я не мог умереть, не повидавшись с тобой, – заговорил он опять, когда боль отпустила. – Я давно хотел тебе сказать, Дженни, – напрасно мы расстались. Теперь я вижу, что это было не нужно. Мне это не дало счастья. Ты прости меня. Мне самому было бы легче, если бы я не сделал этого.

– Ну что ты, Лестер, – возразила она, и в этот миг вся их совместная жизнь пронеслась в её памяти. Вот оно – свидетельство их подлинного союза, их подлинной душевной близости! – Не мучай себя. Всё хорошо и так. Ты был очень добр ко мне. Не мог же ты из-за меня потерять всё своё состояние. И мне так гораздо спокойнее. Конечно, было тяжело, но мало ли в жизни тяжёлого, мой дорогой.

Она умолкла.

В 16 лет я наталкиваюсь в своих книжных поисках на стихотворения О.Ф. Берггольц. И снова меня с головой захватывает то, перед чем я и по сей день не могу устоять: пространство жизни, трагической судьбы и биографии, которое чувствовалось за каждой её строкой. Человеку с изощрённой читательской культурой, избалованному тончайшими и многообразными оттенками и нюансами художественного слова, её стихи могли и могут показаться слишком однозначными, прямолинейными и «лобовыми», но их просто невозможно воспринимать в отрыве от тех событий жизни автора и страны, в гуще которых они рождались. Покоряла также страстность поэтического высказывания:

Я так хочу, так верю, так люблю.

Не смейте проявлять ко мне участия.

Я даже гибели своей не уступлю

За ваше принудительное счастье...

Её «Дневные звёзды» сразят меня окончательно. Это замечательный образец лирической исповедальной прозы, и я не перестая сокрушаться, что условия подцензурного советского существования и надлом последних лет не позволили ей завершить свою «Главную книгу» (не раз встречающееся у неё именование «Дневных звёзд»). Как и о других своих любимцах, я буду собирать всё написанное самой Ольгой Фёдоровной и о ней. О том, какое впечатление произвёл на меня и моих сверстников тоненький сборничек «Узел», я уже писала. А на склоне лет я потрясённо прочитаю её дневники, сохранённые и опубликованные сестрой – М.Ф. Берггольц. В сущности, имя О.Ф. Берггольц тоже входит в мартиролог творцов, погубленных и замученных советским тоталитаризмом. Для меня, кстати, словосочетания «советский тоталитаризм» и «советская власть» отнюдь не синонимы. Советская власть –

обозначение небывалого исторического эксперимента, перевернувшего судьбы практически всех населяющих Российскую империю, и во все не всегда к худшему. Наша семья, происходящая и с той и с другой стороны из беднейшего крестьянства, тому свидетельство. Советский же тоталитаризм – страшная цена этого эксперимента.

Одним из самых запомнившихся мест в «Главной книге» О. Берггольц стало следующее:

...Индийская мудрость гласит, что человек должен пройти два пути в жизни: путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек находится в тех своих личных границах, куда заключена часть единой жизни; человек живёт главным образом только собой, живёт корыстью чисто личной, жадной «захвата», жадной «брать» – для себя, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я», кончается жажда «брать» и всё более и более растёт жажда «отдавать» – взятое у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание и жизнь человека с единой Жизнью, с единым «я» – начинается его подлинное духовное существование.

В ранней юности я понимала вышеприведённое достаточно упрощённо, но, пожалуй, недалеко от истины: попросту говоря, сначала ты копишь всё, что кажется тебе по-настоящему значимым, – книги, события, факты, друзей, возлюбленных, мысли, оценки, но позже наступает период, когда хочешь и можешь отдать накопленное, иначе плоть твоего существования исчезнет без следа. Я счастлива, что осознание необходимости «пути возврата» и радости, которая ему сопутствует, пришло ко мне достаточно рано и совпало с выбором профессии. Главный смысл земного существования видится мне в радости отдавать – сыну, детям, близким и дальним, настоящему и будущему – и, конечно, постоянно заботиться о том, чтобы было что отдавать.

О Бунине. Первые достаточно полные послевоенные его издания относятся именно к 1965-1966 гг., и в нашем доме никак не могли пропустить «Тёмные аллеи» и «Жизнь Арсеньева». Помню, как я взахлёб восхищалась последней в кругу подруг: не то повесть, не то поэма, и невозможно оторваться, и дрожь пробирает до кончиков пальцев. Начинаю вновь пересматривать «точки отсчёта» литературного мастерства: жизнь души – оказывается, её можно отобразить не в поступках, не в сюжете, а в прямом лирическом прозаическом высказывании, и это высказывание по семантической и эмоциональной ёмкости будет равноценно первоклассной стихотворной речи:

...В далёкой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно её бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?..

В 1965 году «Новый мир» (любимый журнал нашей семьи) публикует «Дневник Нины Костериной», московской школьницы предвоенных лет, у которой в 1938-м арестовали отца и которая добровольно ушла на фронт осенью 1941-го, отчасти в надежде, что этот поступок поможет спасти отца. В ноябре того же 1941 года она погибла в ходе одной из партизанских операций. В том же отряде была и Зоя Космодемьянская. Хотя сама Нина назвала свои записки «Дневником обыкновенной

девушки» (думаю, не без простительного кокетства), но по широте интересов, душевной цельности, самоотверженности, неустанной работе над собой она была, безусловно, человеком незаурядным, и недаром её дневник сравнивали с «Дневником Анны Франк».

«Дневник Нины Костериной» стал моим первым знакомством с живой документалистикой. С тех пор начинается моё пожизненное увлечение дневниками, которые я начну собирать: Мария Башкирцева, Анна Франк, Чуковские – отец и дочь, Юрий Нагибин, Нина Луговская, Любовь Шапорина... Постепенно осознаю, что жизнь любого думающего и рефлексирующего человека может стать фактом если не истории и литературы, то духовной культуры. Мемуаристика и документалистика как в моём теперешнем сознании, так и, пожалуй, в литературной действительности двухтысячных основательно потеснили художественную прозу. Трудно сказать, что тому причиной – может быть, небывалый трагический опыт России и мира XX века вкупе с поголовной грамотностью, плюс потеря доверия к профессиональному писательству, да ещё отсутствие в дневниковой прозе чётко организованного сюжета и нарратива, дающее возможность прервать чтение практически в любой момент – дань пресловутому «клиповому сознанию»... Возможные объяснения этим, наверное, не исчерпываются, но факт – факт налицо.

Кстати, в «Новом мире» «Дневник Нины Костериной» был опубликован без купюр, а последовавшее несколько лет спустя отдельное издание уже изуродовано цензурными изъятиями.

Ещё одно яркое литературное впечатление времён хрущёвской оттепели – повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики!» (1963 г.). Свидетельствую, что среди моих сверстников она была намного популярнее молодых повестей В. Аксёнова («Коллеги», «Звёздный билет», «Апельсины из Марокко»). Номер «Юности» с Балтером рвали из рук, зачитывали до дыр. Скопом ринулись на вскоре последовавшую экранизацию – одноименный фильм М. Калика. Обсуждали. Спорили. Цитировали. Расстраивались: почему у Балтера только одно произведение?

Люблю и перечитываю «Мальчиков» донныне. Замечательное по лиризму, искренности, акварельной чёткости деталей, печали позднего прозрения осознание пути своего поколения, принявшего на себя всю тяжесть Великой Отечественной войны. «Я знал наизусть все ошибки Гегеля и Канта, не прочитав ни одного из них...»

Сейчас я задаюсь вопросом, почему из океана (ей-богу, не преувеличиваю!) юношеского чтения вспоминаются, да ещё располагаюсь одно подле другого, именно эти произведения: «Дневные звёзды», «Жизнь Арсеньева», «До свидания, мальчики!», дневники. Пожалуй, именно потому, что в них налицо прямое или подспудное высказывание о судьбе поколения, а эта судьба в юности не может не волновать: ведь предстоит занять не чьё-то чужое, а своё место в потоке истории. Конечно, внутренне такие вещи не проговариваешь, стесняешься, но на деле всё обстоит именно так.

Рядом с повестью Балтера в моих воспоминаниях стоит тоненький сборничек «Сквозь время» (1964 г.), собравший произведения четырёх молодых поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной, – Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова и Николая Отрады. Особенно помнится оттуда П. Коган:

...Мы, лобастые мальчики невиданной революции.
В десять лет – мечтатели,
В четырнадцать – поэты и урки,
В двадцать пять – внесённые в смертные реляции.

С какой горечью я обнаружу в потоке мемуарной литературы 2000-х лет, что Павел Коган (кстати, автор знаменитой в те годы «Бригантины»), по всей вероятности, был осведомителем НКВД (безусловно, из лучших побуждений). И всё-таки, всё-таки не спешу его осуждать... Велика опасность упрощения структуры личности, особенно личности творческой, которая ловит все дары и удары времени, подвергается всем излучениям эпохи, как целительным, так и калечащим.

Поэзия шестидесятников! Свидетельствую: популярность Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Рождественского в те годы нисколько не преувеличена. Сборники стихов невозможно было достать, уж не говорю – купить, строки запоминались и цитировались, редкие лекции об их творчестве собирали огромные аудитории. Одну из таких лекций прочитала мама; помню, как затихли слушатели после цитирования стихотворения Вознесенского «Итальянский гараж»:

...Лишь один мотоцикл притих –
самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра – Святки.
Завтра он разобьётся всмятку!..

Мы родились – не выживать,
а спидометры выжимать!..

Алый, конченный, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль...

Всё-таки, пожалуй, самым-самым из них был Евтушенко. Мне и по сегодня больше по душе его раннее творчество, с неподдельной искренностью и проникновенной мелодией интонаций. Его звуковые и метафорические находки в те времена были ненатуржны, на редкость уместны и принимались на ура:

Тают отроческие тайны,
как туманы на берегах.
Были тайнами Тони, Тани,
даже с цыпками на ногах...

И конечно, покоряла яркая гражданственность «Наследников Сталина», «Бабьего Яра», «Братской ГЭС». Несколько глав из этой поэмы он читал на своём авторском вечере у нас в Горьком в 1965 году. Мне посчастливилось попасть в битком набитый зал Филармонии (стояли и сидели в проходах, в дверях, на подоконниках), и многие строфы поэмы помнятся в его интонации. Читал он великолепно: живо, гибко, страстно, и вся его фигура, манера поведения, жесты, дикция, падающая иногда на глаза чёлка соответствовали произносимому. Нас с друзьями страшно расстроил и оскорбил снисходительный и критический отзыв об этом вечере в «Горьковском рабочем» – нашей вечерке, и я,

не выдержав, написала в школьную стенгазету заметку «Поэты в Горьком», где постаралась отдать ему должное.

К сожалению, годы не прибавили Евтушенко мудрости, а поэтический талант разменивался и убывал на глазах. Даже пылкая гражданственная нога стала чаще и чаще фальшивить, и из его позднейших поэтических откликов на злобу дня тронули меня только две вещи: написанные в трагическом 1968-м, но прочитанные мной лишь в 1989-м «Танки идут по Праге» и «Прощание с красным флагом» (1992), в котором он опять попал в болевую нервную точку моего поколения:

Прощай, наш красный флаг...
 Ты не принёс нам благ.
 Ты с кровью, и тебя
 мы с кровью отдираем.
 Вот почему сейчас
 не выдрать слёз из глаз –
 так зверски по зрачкам
 хлестнул ты алым краем.

(Это стихотворение навеяно знаменитой сценой спуска красного флага над Кремлём в декабре 1991 года и заменой его на российский триколор. Сходные чувства испытывали почти все равнодушные граждане канувшего в небытие СССР.)

Много споров вызывал молодой Вознесенский. Далеко не сразу приходило понимание его поэтического новаторства, но поэма «Авось» (1970), прославленная спектаклем Ленкома, покорила, пожалуй, всех. В моей читательской биографии этот поэт событием не стал, хотя я полностью отдаю должное его изощрённому мастерству и широте поэтического взгляда. Не хватает искренности, раскаяния, суда над собой, отталкивает (иногда) цинизм и самолюбование. Хотя до сих пор некоторое трогает.

Роберта Рождественского трудно было воспринимать всерьёз; правда, нравились, и не могли не нравиться, многие его песни. А вот поздняя, предсмертная лирика оказалась большой поэзией:

Тихо летят паутинные нити.
 Солнце горит на оконном стекле.
 Что-то я делал не так;
 извините:
 жил я впервые на этой земле...

Пожалуй, самый большой дар в этой великолепной четвёрке Бог отпустил Ахмадулиной, да и облик её не запятнан ни одним пошлым компромиссом, ни творческим, ни человеческим. Нельзя не пожалеть о слишком узкой и неполной реализации этого таланта. А ведь могла:

Плоть от плоти сограждан усталых,
 хорошо, что в их длинном строю
 в магазинах, в кино, на вокзалах
 я последнею в кассу стою –
 позади паренька удалого
 и старухи в пуховом платке,
 слившись с ними, как слово и слово
 на моём и на их языке.

Да, «литературоцентричность» моего поколения во многом сформирована поэзией и прозой оттепели. Стойкое чувство, что в книгах можно найти ответы на самые жгучие вопросы, которые и друзьям, и родителям-то не задашь, выросло из тех лет. Стихам, повестям, романам мы обязаны тем, что рано ощутили свою возможную причастность к жизни страны и, как могли, готовились к этой причастности: серьёзно относились к выбору профессии, старались осмыслить происходящие события и критически отнестись к ним. «Литературоцентричность» постепенно перерастала в «культуроцентричность», в жадную потребность приобщиться не только к доселе скрытой русской, но и к мировой культуре. Неоценимую роль в процессе этого приобщения сыграли мемуары И.Г. Эренбурга. «Люди, годы, жизнь» – одна из главных книг моего поколения.

Сколько окон в мировую культуру распахнула перед нами эта книга, с каким неудержимым интересом читалась и перечитывалась! Знаменитое определение Пастернака «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести» подходит к эренбурговским мемуарам в высшей степени. Этот кусок живой и честной истории страны, мира, искусства, отдельной личности поглощался с неослабным аппетитом. Помимо невероятной информативности, привлекало то, что перо мемуариста оставалось пером поэта. Я это чувствовала особенно остро и с радостью прочитала позже телеграмму Ахматовой, посланную к 70-летию писателя: «Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днём его современница Анна Ахматова».

О своих же собственных мемуарах Эренбург отозвался в одноимённом стихотворении «Люди, годы, жизнь»:

На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть принижен и поник,
Он всё ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.

Мама с отцом, оказавшись в 1967 году в Москве в командировке, поклонились его свежей могиле на Новодевичьем кладбище.

Мемуары Эренбурга подтолкнули меня к знакомству с европейской поэзией; к тому же советская практика переводов была уникальной, одной из лучших в мире – по вполне понятным и прозрачным ныне причинам: если нельзя писать и публиковать своё, обратимся к чужому и уж там дадим себе волю.

До сих пор нежно вспоминается Юлиан Тувим, его прелестная «Наука» в переводе Д. Самойлова:

Всем премудростям я обучался:
Логарифмы, задачи, квадраты.
Грыз я формулы. Запанибрата
С бесконечностью я обращался.

....

Знаю всё: про янтарь, про погоду,
Как устроено зреньё у мухи,
Что тела, погружённые в воду...
И так далее, в этом же духе...

Витезслав Незвал, в замечательном переводе К. Симонова:

С богом! Ну что ж! Как ни странно, мы оба не плачем.
Да, всё было прекрасно. И больше об этом ни слова.
С богом! И если мы даже свиданье назначим,
Мы придём не для нас – для другой и другого...

Кстати, неудивительно, что эти стихи так хороши именно в переводе Симонова – вспомним «С тобой и без тебя». Кому, как не ему, переводить мужские стихи о любви. Симонову же принадлежит мой любимый перевод «Дурака» Р. Киплинга, с великолепной иронией и обаянием мужского характера:

Жил-был дурак. Он молился всерьёз
(Впрочем, как Вы и Я)
Тряпкам, костям и пучку волос –
Всё это пустою бабой звалось,
Но дурак её звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).

И наконец, Федерико Гарсиа Лорка, над «Гитарой» которого в волшебном переводе М. Цветаевой обмирали и я, и мои подруги:

Начинается
Плач гитары.
Разбивается
Чаша утра...

В 1964–1965 гг. до нашего города начинают доходить томики Марины Цветаевой. Это, пожалуй, самое сильное и стойкое поэтическое впечатление моей юности, переросшее в пожизненное приращение к её творчеству. Удар и потрясение последовали по всем направлениям: стихи, проза, характер, судьба.

С годами всё яснее обнаруживалась неисчерпаемость её творчества. В первой юности западало в душу всё про любовь:

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес...

Как живётся вам с другою, –
Проще ведь? – Удар весла!..

Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

Конечно же, «Поэма Горы» и «Поэма Конца»... Ещё позже самой исчерпывающей формулой любви для меня окажется:

Ятаган? Огонь?
Поскромнее, – куда как громко!

Боль, знакомая, как глазам – ладонь,
Как губам –
Имя собственного ребёнка.

Притягивала тема смерти, которая впервые осознавалась во всей своей неотвратимости:

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли...

Завораживало ощущение своей «непохожести», знакомое в юности всем:

Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, –
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растроченной даром...

Восхищала невероятная воля к труду, вера в своё призвание:

Так будь же благословен –
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, – как пила
В грудь ввевшийся – край стола!

Не преувеличу, если скажу, что после чтения Цветаевой менялся состав крови. Стихи становились воздухом, необходимым для жизни.

С возрастом глубже осознавались строки о России и её судьбе:

«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?»

...Но если по дороге куст
Встаёт, особенно – рябина...

Поражат цветаевские прозрения:

...И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

А чего стоит крохотное стихотворение 1934 года:

А Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину

Являйте из тел распластанных
Звезду или свасти крюки.

Как она права в том, что только потеря людьми собственной индивидуальности делает возможными ужасы тоталитарных режимов.

Когда у меня будет подрастать собственный сын, я совсем другими глазами перечитаю стихи, посвящённые маленькой Але:

Ты будешь невинной, тонкой,
 Прелестной – и всем чужой.
 Пленительной амазонкой,
 Стремительной госпожой...

И на склоне лет, уже похоронив и мать, и отца, с задавленными следами вчитываюсь в строфы, названные «Отцам»:

...Поколение, где краше
 Был – кто жарче страдал!
 Поколение! Я – ваша!
 Продолжение зеркал.

.....

До последнего часа
 Обращённым к звезде –
 Уходящая раса,
 Спасибо тебе!

А волшебство цветаевской прозы! «Мать и музыка», «Сказка матери», «Мой Пушкин», «Живое о живом»... И конечно, «Искусство при свете совести».

Попробую подвести итог: что же дала мне Цветаева?

- Восхищение силой творчества, могуществом поэзии, преображающей и даже пересоздающей мир; изумление перед глубиной и необычностью этой пересозданной действительности.

- Гордость за Россию: такого поэта могла дать миру только она. И греховная мысль: возможно, все боли, беды, трагедии России XX века оплачены появлением в ореоле мученичества этой гениальной четвёрки: Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова.

- Цветаева научила меня вчитываться и вживаться в каждое поэтическое слово, внушила страсть к его разгадке. Любовь к русскому языку, тревога за него, осознанный восторг перед ним идут из тех лет.

- Наконец, судьба Марины Цветаевой и всей её семьи стали моей болью, не иссякающей до сегодня. Физически невыносимо ощущать страшную, тупую жестокость, с которой Советская Россия отнеслась к Але Эфрон, Сергею Яковлевичу, Георгию (Муру), Анастасии Цветаевой. В течение многих лет я собирала всю литературу, все источники об этой семье, и больше всего меня задевает то, что порядочность, незаурядность, талантливость этих людей была очевидна всем – и что же? Да ничего, только хуже и горше становился их жребий.

Кстати, о бисексуальности Цветаевой: для целомудренного до ханжества советского общества это оказалось, конечно, отталкивающей чертой (в чём сознавался, в частности, мой брат Коля и многие мои друзья). Странно, но у меня (при всей моей традиционной ориентации) это обстоятельство отторжения не вызывало. Ведь оно ничему не помешало в её творчестве, а может, и помогло. При всей поглощённости личными переживаниями, только Цветаева в декабре 1920 года смогла подвести такой итог кровавой Гражданской войне:

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
 То шатаясь причитает в поле – Русь.

Помогите – на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь – руда!

.....

Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила...

До такой мудрости поднимались единицы.
Ощущение вины перед Мариной Цветаевой присуще практически всем пишущим и писавшим о ней.

Борис Пастернак:

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрёк невысказанный есть...

Мария Петровых:

Не приголубили, не отогрели,
Гибель твою отворотить не сумели.
Неискупаемый смертный грех
Так и остался на всех, на всех.

Безусловно, Цветаева, во всём своём масштабе и во всех своих глубинах, поэт не для всех, как и всякий гений. Я читаю её с юности, постоянно к ней возвращаюсь, но многие её высоты остаются недоступными. Однако я так её люблю, так велико моё восхищение её творчеством и горестное сострадание её судьбе, что мне смолodu хотелось сделать доступными прихотливые извивы любимых строк для как можно большего количества людей.

Цветаева учила меня бесстрашию – перед жизнью, а много позже – и перед смертью.

А пока... Не расставаясь с томиком Цветаевой, я поступаю в Горьковский университет, на давно облюбованное отделение структурной лингвистики.

Университет (1966–1971)

К двадцати годам я погружаюсь в семейные саги, самыми любимыми из которых остались «Сага о Форсайтах» и «Конец главы» Дж. Голсуорси, «Семья Тибо» Р. М. дю Гара и... «Дело, которому ты служишь» Ю.П. Германа. Почему так нравился в то время именно семейный роман? Инерция нежно любимого Л. Толстого, его «Войны и мира»? Сказывалась юношеская настоятельная потребность выстроить для себя законченную и последовательную модель мира, которая помогла бы в предстоящем жизненном действии? А может быть, хотелось спрятаться в вымышленное, но такое близкое к реальности пространство, лишённое, однако, банальности и пошлости этой реальности? Кроме всего прочего, семейные саги оставляли оптимистическую надежду на какой-то грядущий жизненный праздник, а любимые герои превращались в подлинных друзей, всегда находящихся рядом.

Почему так тянет перечитывать романы Голсуорси? И не только меня: в нашем семейном книгохранилище из двухсот томов «Библиотеки всемирной литературы» только двухтомник «Саги о Форсайтах» пришлось переплести заново – развалился из-за постоянного употребления. От его страниц просто веяло английским викторианским уютом, и после аппетитных описаний лондонского «форсайтского» быта до конца проникаешься справедливостью восклицания несчастного Мармеладова из «Преступления и наказания»:

«Милостивый государь... бедность не порок, это истина. ...Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с».

Другими словами, для того чтобы сохранить возможность испытывать некие, не говорю «изысканные», но хотя бы непримитивные чувства и следовать их зову, человек должен иметь определённый минимум сытости, уюта, тепла... чего так часто, увы, недоставало российским гражданам.

Опыт моего раннего (в 20 лет) и неудачного замужества заставлял с особым интересом следить за изображением любовных перипетий – Сомса и Ирэн, Джона и Флёр, Уилфрида Дезерта и Динни Черрел. О любви в романах Голсуорси сказано то и так, чего ещё не было в русской литературе. Рок, фатум, необъяснимое наваждение, где необъяснимость поставлена на первое место. Анализировать бесполезно! Что-то подобное прослеживается в начале отношений Анны и Вронского, но далее всепроникающий толстовский анализ разрушает таинственность влечения. «Тёмные аллеи» Бунина до предела насыщены роковой и поэтической атмосферой «солнечного удара», но там он изображён, как правило, в своём мгновенном кратком апофеозе. А у Голсуорси – многодетальное, красочное, протяжённое во времени и пространстве повествование о не поддающемся доводам разума процессе. Кроме того, автор впервые (во всяком случае, для меня) так ярко и убедительно продемонстрировал загадку половой антипатии, которая распространена гораздо шире, чем это казалось русским женщинам, воспитанным на целомудренной до аскетизма отечественной классике.

Самым привлекательным героем в «Саге о Форсайтах» оказался Майкл Монт, этическое кредо которого сконцентрировано в словах: «Искать предлогов не быть порядочным человеком! Для этого предлога не найти». По-английски скуп, но на редкость убедительно. А полностью покорила меня герой другой эпопеи, «Семьи Тибо» Роже Мартен дю Гара. Врач Антуан Тибо. Сцена операции, когда он спасает ножку попавшей под велосипед маленькой Дедетты, одна из лучших в мировой литературе. С таким драйвом передать мощь человеческого созидательного деяния дано немногим. В сущности, весь роман являет собой гимн действию – гуманистическому (Антуан), религиозно-себялюбивому (старый г-н Тибо) и революционному (Жак). Кому из братьев отдать предпочтение, предлагается решить читателю. Что до меня, то, я, конечно, выбираю Антуана. Его дневник, который он, отравленный ипритом и знающий о своём близком конце, ведёт до последних мгновений, неизменно потрясает меня при каждом перечитывании. К тому же необычайно близкой оказалась психологическая структура его личности. «Я жил в состоянии радостного предвосхищения жизни и активного доверия к ней» (цитирую в полюбившемся мне переводе, возможно, неточно). Как ни смешно, это состояние доминирует у меня

до сих пор, до 70 лет... Антуан объясняет его общением с наукой – «источником и питательной средой моего оптимизма». Не знаю. Возможно, секрет в другом: в последствиях постоянного активного гуманистического деяния. «И мы – не праздны в мире жили!» (К. Рылеев).

Пожалуй, именно пристрастие к делателям бесспорного добра заставило меня, хоть и с оговорками и несколько снисходительно, но искренне полюбить трилогию Ю.П. Германа «Дело, которому ты служишь», о враче Владимире Устименко. Всем произведениям Юрия Павловича свойственно качество, которое в художественной прозе я чрезвычайно ценю, – эмпатия и человечность повествования. Безусловно, трилогия полностью «советская», иногда до печальной примитивности причин и следствий, но люди... люди живые. А когда Герман в силу тех или иных причин обращается к своей личной трагедии (он долго и мучительно умирал от рака), его проза поднимается по-настоящему высоко: это последнее письмо Ашхен Оганян в трилогии и повесть «Подполковник медицинской службы».

Б.М. Сарнов в своих мемуарных записках «Скуки не было» вспоминает, как он с женой делил современных писателей на «русских» и «советских». Деление жёсткое и даже жестокое, но чрезвычайно точное. Так вот, для меня несомненно «русским» оказался Юрий Трифонов, которого я чем дальше, тем убеждённое считаю гением отечественной прозы, чьим произведениям суждена «жизнь вечная». Начиная с конца 60-х и все 70-е годы одна за другой появлялись его городские повести: «Обмен», «Предварительные итоги», «Другая жизнь», «Долгое прощание», «Дом на набережной», «Старик», и каждая становилась событием, фактом и свидетельством времени, художественным открытием и прозрением.

При первоначальном чтении сражала наповал бытовая и психологическая достоверность. Персонажи «городских повестей» – это наши близкие и дальние знакомые, родственники, друзья. Да что скрывать, по внимательном и беспощадном рассмотрении это мы сами. Знаменитая густота и плотность трифоновской прозы во многом объясняется синтезом узнаваемых деталей внешности, отдельных подробностей интерьера и городского пейзажа, вкуса самогона и квашеной капусты, запаха подмосковной дачной местности, до озноба точных локальных жестов, ощущений, эмоций, мыслей. Эта достоверность обуславливала полное доверие к автору. Кстати, ни разу не приходило мне в голову согласиться с многочисленными печатными критическими отзывами: мелкотомье, сплошной беспросветный быт, ни одного положительного персонажа... Какой же, прости господи, у Трифонова быт? На его страницах жизнь, наша жизнь во всей её сложности и трагедийности, бытиё. Какое «осуждение мещанства»? Если так рассуждать, то множество героев Тургенева, Толстого, Достоевского прямоком угодят именно в «мещанскую» рубрику.

Ныне многие сравнивают Трифонова с Чеховым, считая первого чуть ли не реинкарнацией последнего. Да и сам Юрий Валентинович бесконечно почитал Антона Павловича. Но для меня и тогда, и сейчас очевидна огромная разница между ними, и не в пользу Чехова. Дело не столько в несравненно большей ёмкости трифоновского текста и в открывающемся за ним историческом пространстве, сколько в нравственной позиции автора. Безусловно, Чехов по-разному относится к своим персонажам, но всё это отношение варьируется в одной цветовой и звуковой гамме несколько презрительного, отстранённого сожаления. А вот у Трифонова, при бесконечном понимании самых неприглядных

действий и мыслей, чёткость моральной оценки несомненна. Однако он настолько любит, знает и понимает жизнь во всех её проявлениях, что во всех его героях, даже таких насквозь «отрицательных», как Лена в «Обмене» или Гена Климук в «Другой жизни», есть симпатичные и как минимум вызывающие сочувственное узнавание чёрточки – скажем, сексуальная притягательность той же Лены и отчаяние Климука после гибели Феди Праскухина в автокатастрофе. Как обронил Трифонов в одной из своих заметок, он ненавидит не Лену, а некоторые качества Лены. Не только история, но и человек в его произведениях – многожильный провод.

Тем не менее ни отдельных бесчестных поступков, ни проигранной жизни Трифонов не прощает, и читатель с болью чувствует это непрощающее беспощадное осуждение. При всей очарованности людьми революционного действия («Нетерпение» – о народовольцах, «Отблеск костра» – о расстрелянных Сталиным отцах) он во многом осуждает и их. Чего стоит, например, разбитая жизнь жены и сына Андрея Желябова и погубленные семьи людей, сочувствовавших и помогавших народовольцам.

Возвращаясь к знаменитому «городскому циклу», вспоминаю ещё одно чёткое и яркое ощущение: это повести о незаметности истории и о её неизбежном повседневном свершении. Трифонов демонстрировал вдумчивому читателю живую нить, связывающую седое, тёмное, легендарное прошлое с будничным, ничтожным, озабоченным настоящим, из которого тем не менее вырастет неясное, но неизбежное будущее.

Интегральное впечатление от его неисчерпаемой и великой прозы было таким: преклонение перед всепобеждающей силой жизни и грустная попытка её понять. Почему грустная? Потому что «во многой мудрости много печали»? Потому что человек (и не только советский) вообще довольно несовершенный проект Создателя и поэтому обречён? Но тем не менее «печаль его светла», и читать Трифопова будут до тех пор, пока существует литература

Весной 1967 года, когда я училась на первом курсе отделения структурной лингвистики истфила Горьковского университета, грянул «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Почему весной – ведь соответствующие номера журнала «Москва», где печатался роман, это ноябрьский 1966 и январский 1967 гг.? Да потому, что достать журналы, хотя бы для ночного прочтения, было просто невозможно, несмотря на учёбу в самом «филологическом» месте города. Мне в руки попали отскерокопированные рассыпающиеся листки, которые я впоследствии любовно переплела и вклеила туда листочки с восстановленными цензурными изъятиями.

Не преувеличу, если скажу, что по силе впечатления этот возникший из 26-летнего небытия роман был сродни солженицынскому «Ивану Денисовичу». Его читали все, кто хоть немного ценил и понимал художественное слово. Мгновенно растащили на цитаты. Обсуждали. Восторгались. Некоторые кинулись знакомиться (впервые!) с Новым Заветом. Перечитывали «Фауста». Разыскивали у букинистов булгаковские книжки. Кстати, «доходил» «Мастер» не сразу. Даже такой искушённый читатель, как моя мать, трижды начинала первую главу – такой резкой оказалась новизна повествования. Но зато потом...

Эта книга была праздником, похожим на весеннюю мимозу, на те «жёлтые цветы, которые первые почему-то появляются в Москве», на те, которые несла Маргарита в её первую встречу с Мастером. Эта книга была живым свидетельством неисчерпаемости русской культуры.

И боже мой, каким утешением была вечность, дарованная Воландом Мастеру, вечность любви, творчества и свободы, в доме с венецианским окном и вьющимся над ним виноградом.

Как всегда, я кинулась читать всё доступное и самого Булгакова, и воспоминаний о нём. В моей библиотеке чудом оказался сборник 1925 года «Дьяволиада» с дедовского чердака, причём на титульной странице его рукой была наложена резолюция: «Очень не понравилось». Кстати, «Дьяволиада», в отличие от «Роковых яиц» и, позже, «Собачьего сердца», не пришлась по сердцу и мне. Поразил и на всю жизнь полюбился «Театральный роман», с его нескрываемой лирической и обречённой интонацией и проникновением в тайное тайных искусства. Поразили – много позже – дневники и записки Елены Сергеевны, булгаковской Маргариты, одной из самых обаятельных, неотразимых и колдовских женщин русского литературного мира. В сущности, она и сам Мастер – Михаил Афанасьевич Булгаков – стали моими любимыми героями. В 70-х годах меня восхитит разящая и скорбная точность стихотворения Ахматовой из цикла «Венок мёртвым», написанного сразу после смерти М. А.:

ПАМЯТИ М. Б-ВА

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донёс
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил,
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всё потерявшей, всех забывшей, –
Придётся поминать того, кто, полный сил
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Круг моего чтения в университетские годы точнее всего определяли и характеризовали два глагола, два императива внутреннего, сокровенного, духовного существования: понять и верить. Неутихающая потребность анализа всего, что тебя окружает: страны, мира, истории, культуры – вполне естественна, поскольку этого требует повседневная действительность и необходимость обрести своё место в ней. Отсюда жадный интерес к науке, который во время моей учёбы на одном из самых модных в 60-е годы отделении структурной лингвистики активно поддерживался и вполне удовлетворялся; достаточно сказать, что моим научным руководителем был профессор Борис Николаевич Головин, автор одного из лучших учебников по общему языкознанию и основатель двух перспективных научных направлений

в лингвистике: во-первых, вероятностно-статистического анализа функциональных стилей языка и речи, а во-вторых, терминоведения и его применения в информационном поиске. Освоение научной литературы принесло мне массу интеллектуальных радостей: открытием стали труды В.В. Виноградова, А.А. Реформатского, Б.А. Ларина, Ю.Н. Тынянова, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Ю.М. Лотмана и многих, многих других.

С потребностью *понять* вроде бы всё понятно (тавтология, конечно, намеренная). Сложнее с потребностью *верить*. В безрелигиозном обществе удовлетворить её очень и очень непросто, тем более что светская религия марксизма-ленинизма к концу шестидесятых оказалась на последнем издыхании. Каждый справлялся с этой проблемой как умел, но внутренних ресурсов хватало далеко не у всех. По существу, жадность к художественному слову стала одним из способов утоления религиозного чувства.

В юности болезненно не хватает лирики и любви, как зимой – витамина D, и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в гениальном переводе Норы Галь восполнял этот недостаток. Простые, но такие нужные нравственные максимы: самого главного не увидишь глазами, зорко лишь сердце; пустыня хороша тем, что где-то в ней скрываются родники; мы в ответе за тех, кого приручили...

Хочу напомнить, что именно перевод Норы Галь сделал этот текст фактом русской культуры. Конечно, изящество сюжетной структуры, глубина и многозначность смыслов, неповторимое обаяние главного героя – от Сент-Экса. Но интонация, та интонация, которая заставляет плакать над этой вещью, – от Норы Галь. Чего стоит одна концовка, которую я и теперь не могу перечитывать равнодушно:

Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез. Всмотритесь внимательно, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадёте в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой! И если к вам подойдёт маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда – очень прошу вас! – не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся...

Когда уже в 2000-е я прочитаю в книге Норы Галь «Слово живое и мёртвое» о её переводческих поисках, меня восхитит находка слова «гостья» для передачи французского существительного *fleur*, которое, как известно, женского рода. Русский «цветок» – это ведь мужчина, а надо, чтобы читатель с самого начала понял, что на планете Маленького принца появилась таинственная незнакомка, которая впоследствии станет его любовью. Слово «роза» он узнает позже, во время путешествия в другие миры.

«Мы в ответе за тех, кого приручили...» В юности не хватает именно этого – ответственности перед близкими. Во время пылких романов жажда собственного счастья туманит голову, и главный вывод из моего первого неудачного замужества был таким: нельзя делать другого человека средством достижения собственных целей, пусть даже самых достойных и высоких. С другой стороны, желание отдать и отдалиться, отдать безоглядно, не ожидая никакого воздаяния, тоже чревато: нередко в опасности оказывается твоя собственная личность и душа...

Слишком он верил в человека, дорогой Сент-Экс.

Погружение в безвременье (1972–1975)

По слову Пушкина, «мыслей и мыслей» требует проза, «стихи – дело другое». И как раз с осмысляющей действительность прозой в эти годы дело обстояло неважно. С начала 70-х с журнальных и книжных страниц исчезает всё о Сталине и сталинизме, как будто в жизни страны просто не было ничего похожего. Изымаются даже упоминания о «криминальных» причинах смерти соответствующих авторов – «трагически погиб» вместо «расстрелян» встречается сплошь и рядом (гневно и яростно написала об этом Л.К. Чуковская в своём «Процессе исключения»). Растёт фальшь интонации в повествованиях о современной жизни; отсутствуют не только ответы, но попросту не ставятся сами вопросы – например, о всем очевидном росте социального неравенства и коррупции, формируется смешной и грустный культ Леонида Ильича.

Получилось так, что в нашем кругу место современной прозы оказалось занято авторской песней. Галич, Окуджава, Высоцкий – боги второй половины шестидесятых и нескончаемых семидесятых. Без преувеличения, их песни знали, слушали и пели все (первым по популярности оставался, конечно, Высоцкий). Этот небывалый доселе сгусток словесной культуры сформировался, расцвёл и начал осыпаться практически на моих глазах, и вот что мне сейчас думается о причинах наблюдаемого процесса.

Информационная революция, ворвавшаяся в нашу жизнь на плечах революции научно-технической, привела к необратимым изменениям человеческого восприятия. Радио, телевидение, позже Интернет сузили доходящие до широких масс вербальные объёмы, и это породило необходимость интегрального искусства – интеграции слова и музыки, слова и авторского исполнения, слова и графически-живописной компоненты, слова и театрализованного действия. Авторская песня спрессовывала в единый, доступный для локального восприятия художественный факт массу социальной, исторической, эмоциональной, личностной информации, а её сюжетность и разворачивающаяся во времени, оправленная музыкальными рамками репрезентация отграничивали этот факт от привычной формы лирического стихотворения. В сущности, многие произведения Галича, Высоцкого, Окуджавы напоминают микророман – психологический, плутовской, сатирический, лирический.

Больше такой всенародной популярности авторская песня не знала. Ни Виктор Цой, ни пресловутый БГ (Борис Гребенщиков), ни Егор Летов, ни Юрий Шевчук не подошли даже к подножию тех высот.

Авторская песня заставила по-новому услышать поэтическое слово, оценить прелесть и увлекательность словесных масок, почувствовать невидимый словесный жест. После звучащих текстов Галича, Высоцкого, Окуджавы всё меньше тянуло вчитываться в современных поэтов. До ослепительного Бродского не могу припомнить никого, кто бы надолго приковал к себе внимание. Разве Самойлов и Чухонцев...

Практически сразу после вуза я начала работать над кандидатской диссертацией. Помню собственный восторг и изумление над страницами опоязовцев – В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова, Б.А. Ларина и других. Загадка поэтического и – шире – художественного слова не разгадывалась до конца, но становилась объёмнее, шире, обрастала массой дополнительных вопросов. Увесистый том «Русского языка» В.В. Виноградова заставлял возвращаться к себе вновь и вновь,

подталкивая к анализу не только и не столько лексики, сколько морфемных, морфологических и синтаксических оттенков. Виноградовских штудий я перечитала множество, широта и глубина его научных интересов завораживала. Виктор Владимирович был научным руководителем моего шефа – Б.Н. Головина. Помню его слова: «После фронта я – бывший пулемётчик – не страшился ни бога ни чёрта. Но академика Виноградова я боялся...»

Как важно в молодости ощутить влияние личности, которая много крупнее тебя, встретить человека, даже мимолётное и эпизодическое общение с которым заставляет тебя изо всех сил тянуться, вставать на цыпочки, думать, искать, ставить и задавать вопросы, стараться стать лучше, умнее, талантливее. Мы все были влюблены в своего шефа. Дорогой Борис Николаевич, примите ещё раз, уже с этих страниц, мою благодарность, восхищение и любовь. Всем, что я умею в науке, я обязана Вам, Вашему уму, логике, проницательности, выразительной краткости Ваших оценок.

Защита прошла успешно и даже с некоторым блеском. Но особого материального благополучия мне новенький диплом кандидата наук не принёс: кроме учёной степени нужно было получить ещё вожделенную соответствующую должность. В конце концов всё необходимое пришло, но в поисках разумного заработка я начала репетиторствовать. И никогда об этом не пожалела. Именно репетиторство позволило мне сравнительно благополучно пережить нелёгкие девяностые, и отказалась я от него лишь после защиты уже другой диссертации – докторской.

Уроки репетиторства

Вечная актуальность «Ревизора» как бы пульсирует в такт политической истории России и достигает максимума в болотистые застойные годы. «Фишка» не столько в сущностном совпадении жизненных ситуаций, сколько в том, что гоголевский текст напрочь лишён морализаторства: все персонажи полностью «в игре» и принимают окружающий их жизненный уклад как единственно возможный. Ни одного резонёра, ни одного прямого вербального осуждения! Судья один – смех, да ещё тот, неведомый и могущественный, власть имеющий Ревизор, который неизвестно когда и откуда явится. Мистическое восприятие власти и отсутствие собственного достоинства, от чего приходил в отчаяние ещё Пушкин, – главные беды нашего общества до сих пор. Чего стоят многолетние «Прямые линии» с президентом и бухание в ноги премьеру при обращении с простейшими бытовыми просьбами... Когда мы обсуждали «Ревизора» с разными поколениями учеников (40 лет репетиторства – срок вполне репрезентативный), у нас ни разу не возникало недостатка в аллюзиях с окружающей действительностью. А я до седых волос повторяю про себя реплику зрителя училищ Луки Лукича: «Не приведи Бог служить по учёной части! Всего боишься; всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек».

Подростковому и юношескому сознанию с большим трудом даётся освоение абстрактных гуманитарных понятий, и текст «Мёртвых душ» очень помогал мне иллюстрировать переход гиперреалистического письма в сюрреализм и чистейший абсурдизм. Абсурд как средство художественного воздействия – одно из главных потрясений вниматель-

ного читателя гоголевской эпопеи. В сущности, Гоголь был предтечей современного постмодернизма, и мне всегда хотелось донести это до учеников, ещё и потому, что, как правило, осознавшие эту истину с новым тщанием впивались в строки едва ли не двухсотлетней давности. Чего стоит одно лишь знаменитое колесо из разговора двух мужиков на первой странице! Почему привлекают внимание к бричке даже не её колёса (которых, как известно, четыре), а лишь одно Колесо, которому вдобавок приписывается магическое свойство в одиночку доехать до Москвы? Почему оно «в Москву доедет», но в Казань – ни за что? Зачем бричке встретился подробно описанный «молодой человек в белых канифасовых панталонах», напрочь исчезнувший из дальнейшего повествования? И так далее, и тому подобное.

Финальный абзац первого тома сводится к знаменитому противопоставлению «бойкой необгонимой тройки» (Руси), божьего чуда, которому «дают дорогу другие народы и государства», – и едущего на ней Чичикова, жулика и дельца средней руки. Незаметное на первый взгляд (и, кстати, абсолютно незамечаемое школьными читателями и интерпретаторами ещё в 1930–1960-е годы), но ошеломляющее противоречие поразило уже героя шукшинского рассказа «Забуксовал» (1971), написанного и опубликованного в брежневские времена, причём механик Роман Звягин не только потрясён, но и явно унижен внезапно открывшейся ему истиной.

Некоторые занимавшиеся у меня мальчишки, однако, отказывались считать Чичикова «средним и маленьким человеком». «Это же гениальный бизнесмен!» – часто слышалось на заре 1990-х. Безусловно, такое мнение имеет право на существование, но мне приходилось, не прибегая к моральным оценкам, просто напоминать, что в конечном итоге чичиковская афёра успеха ему не принесла.

Не бог весть как популярен в школе и Некрасов.

Я прекрасно понимаю пылкую влюблённость в некрасовское творчество таких людей, как К.И. Чуковский, – людей, вышедших из низов и «сделавших» себя самостоятельно, людей, на себе испытавших не только моральные унижения, но и чисто физические страдания – сосущего голода, промозглой сырости и знобящего холода, валящей с ног усталости от оупляющего физического труда. Подобного, соотносящегося с личным опытом, восприятия нет, да и не может быть у современного школьника. Его скорее и легче можно увлечь знаковой загадкой стихотворного текста, послойным разбором того семантического, эмоционального и ассоциативного осложнения, которым так богата поэзия Серебряного века. Большой ошибкой мне кажется присутствие в школьной программе огромной и сложной поэмы «Кому на Руси жить хорошо» – редко кто из моих учеников набирался сил и терпения прочитать её полностью. При всём (несомненном!) изощрённом мастерстве Некрасова этот трёхстопный ямб с дактилическими окончаниями, которым, за небольшими исключениями, написана поэма в 250 страниц, выдержать современному читателю просто невозможно. Куда эффективнее было бы оставить для прочтения несколько разнообразных по ритмике и тематике стихотворений.

Ошеломившую современников новизну некрасовского отношения к крестьянину, к мужику я обычно иллюстрировала так: вы можете себе представить, чтобы Пушкин или Лермонтов посвятили собственную поэму «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды Костромской губернии)»?

Неизменным успехом пользовалась также неотлакированная и нецензурированная биография Некрасова (карточная игра на бешеные деньги, увод жены у лучшего друга, ружья из Германии, собаки из Англии и т. п.): на фоне этих красочных деталей объёмнее и значимее воспринимался его редакторский подвиг, легко ассоциируемый с подвигом Твардовского в «Новом мире».

В юности я с гораздо большим аппетитом проглатывала страницы «Обыкновенной истории» и «Обрыва», но с годами загадочное совершенство «Обломова» становилось всё очевиднее. На днях (а на дворе уже 2020-й!) перечитала этот роман, и бросилось в глаза его ускользающее до сих пор общечеловеческое содержание, а вовсе не анализ специфически русской «обломовщины». В сущности, перед нами два чрезвычайно пластично изображённых типа: созерцатель и деятель, причём как созерцание, так и действие не озарены никакой «сверхцелью» или «сверхидеей», никаким высшим/божественным началом. Понятно, что созерцатель имеет несколько больше шансов эту самую сверхидею усмотреть, почувствовать и обрести; именно поэтому Обломов настолько симпатичнее Штольца. Помнится, последнее утверждение не оспаривалось никем из моих учеников, и сейчас меня это порядком удивляет: вроде бы в эпоху возрождения русского капитализма Штолец мог обрести достаточное количество поклонников. Очень привлекало подростков развитие отношений Обломова с Ольгой Ильинской, обрисованное с безупречной и целомудренной психологической точностью. Мне же и в молодости, и сейчас намного симпатичнее Агафья Матвеевна Пшеницына, с её нерассуждающим самопожертвованием и до самозабвения нетребовательным чувством. Не перестаёт удивлять и восхищать чувственно-пластический и одновременно абстрактно-обобщающий дар Гончарова; он и в женских образах своего романа явил читателю два главных и вечных женских типа – тип женщины деятельной, требовательной, пересоздающей своего партнёра, и тип женщины, безоглядно, без малейшей рефлексии жертвующей собой.

Пожалуй, именно пространственная и временная всеобщность центральных героев делает бессмысленными вопросы «кто прав?» и «за кем будущее?», поскольку каждая эпоха требует своего: иногда Штольцев, иногда Обломовых. Но если человек так и не обретает осознания своего предназначения на земле, личного ощущения смысла своего существования, жизнь его неизбежно окрасится в горестно-трагические тона – как это и произошло со всеми без исключения героями центрального романа Гончарова.

В 1990-е годы не было семьи, в которой так или иначе не обсуждались бы происходящие в стране перемены. Долгое время, чуть ли не двадцать лет, после маминой смерти в 1979 году я в день её рождения 2 ноября собирала у себя за столом её ближайших друзей, и о чём только не говорилось и не вспоминалось на этих застольях! И вот в 1991 году, вскоре после августовского путча, самая близкая мамаина подруга Глафира Васильевна Москвичёва, профессор-филолог, специалист по XVIII веку, которую я очень любила и внутренне нравственные ценности которой необычайно высоко ставила, в ответ на мои пылкие восторги Ельциным и его командой заметила: а ты не боишься, что вновь актуальной станет тематика пьес Островского и сказок Салтыкова-Щедрина? а в роли мужика, обслуживающего генералов, окажется весь сформировавшийся и выросший за годы советской власти интеллигентный «средний класс»? К сожалению, в этом пророческом заме-

чании оказалось слишком много правды. Сказки Салтыкова-Щедрина действительно вновь превратились в увлекательное и насыщенное ассоциациями чтение. Едва ли не актуальнее замусоленного на школьных уроках «Премудрого пискаря» звучит сегодня «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», и в роли мужика оказывается как раз «совковая» интеллигенция: врачи, учителя, инженеры... Им, «тунелядцам», «сытые, белые да весёлые» генералы изредка высылают «рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!» Кстати, становится до боли очевидным, что кардинально меняться должны обе стороны этого вечного конфликта.

Тургенев – один из любимейших писателей моего отрочества, а привязанность к Базарову не покидает меня до сих пор. «Мне нравится в нём даже его грубость!» – восклицала одна из моих старших подруг. Конечно, я старалась обнажать перед подростками все опасности безоглядного нигилизма, которому они неизменно симпатизируют уже в силу возрастной психологической структуры. В ход шли и доводы о необходимости внимания к близким, и рассуждения о неизбежном при нигилистическом мировоззрении разрушении собственной личности, и предупреждения типа, что плевать на окружающее и окружающих удобнее, находясь не внизу, а наверху социальной лестницы. Однако магнетизм Евгения Базарова продолжал делать своё дело. Масштаб его личности во всей полноте обнаруживается на пороге смерти.

Я не открою Америки, если скажу, что смерть героя – почти всегда важнейшее событие произведения (как и человеческой жизни). Смерть может быть вспышкой-прозрением смысла (или бессмыслицы) прожитой жизни (например, смерть Ивана Ильича в одноимённом рассказе Л. Толстого); соприкосновением с тем, что находится за пределами земного существования и не может быть постигнуто живыми (так умирает Андрей Болконский); простым воссоединением с вечным миром (Платон Каратаев); наконец, художник может изобразить бессознательную смерть заснувшей души (так, во сне, умирает Обломов).

В романе Тургенева перед нами – смерть-поступок, смерть, до конца высвечивающая истинную суть живого героя. Тут нет ни примирения с жизнью, ни переосмысления её, ни сотрясающего прозрения. Есть раскрытие всех лучших качеств личности, с человека упала маска – и он предстаёт в своём истинном нравственном величии.

Влюблённый в Базарова Д.И. Писарев утверждал: «Умереть так, как умер Базаров, – всё равно что сделать великий подвиг...» (Д.И. Писарев. Базаров. «Отцы и дети», роман И.С. Тургенева).

Обычно перед тем, как приступить к Толстому и Достоевскому, учителя-словесники дают обзорный портрет «лишнего человека», представленного в русской литературе первой половины XIX века. В советской школе вокруг этого типа колыхалось облако некоего снисходительного, а иногда даже презрительного сожаления. Между тем людям, оказавшимся вне привычных социальных лифтов, следует скорее сочувствовать, а может быть, и восхищаться тем диагнозом, который они ставят окружающему обществу, с разной, впрочем, степенью осознанности выносившего приговора.

«Во многой мудрости много печали», «нет пророка в своём отечестве» – эти истины сопутствуют человечеству на протяжении всего его существования. Двигают общество вперёд, толкают его к рефлексии именно «лишние люди», и недаром самые чуткие и талантливые писатели вылавливают соответствующие крупинки в необъятном

человеческом океане. Стремление разгадать и реализовать свой Богом или судьбой данный потенциал свойственно почти каждому (евангельская притча о талантах – одна из самых моих любимых), и каждая неудача или удача на этом пути достойна художественного рассмотрения.

Чацкий, Онегин, Печорин, Рудин, Базаров, Бельтов, даже Обломов – всем им свойственно нечто общее: огромная потенциальная способность к общественному и личному действию – и трагическая неостребованность, доходящая до отвержения и отторжения. А Григорий Мелехов, Юрий Живаго, булгаковский Мастер? Зиллов из «Осенней охоты»? Вампилова? Лёва Одоевцев из «Пушкинского дома»? Битова? Шукшинские чудачки? Неприкаянные герои Довлатова?

Не знаю, какое слово поставить в конце этого абзаца. Печально? А может быть, обнадёживающе? Неостребованность личности – трагедия не столько для неё, сколько для общества. Но диагноз, поставленный последнему, дорогого стоит.

Одна из непосильных задач для учителя русской литературы за последние тридцать лет – заставить (уговорить) учащихся прочитать роман «Война и мир». Не надо думать, что проблема эта появилась только в последние годы. Отчасти спасла положение экранизация, с замечательной тщательностью выполненная С. Бондарчуком, но только отчасти. Сегодня же упомянутая выше задача стала сродни подвигу Геракла.

Между тем именно в наше время роман Толстого надо бы прописывать «юноше, обдумывающему житьё» как витамин С, да что там витамин – как сильнодействующее лекарство, спасающее от ипохондрии и пессимизма, для которых, согласимся, в окружающей действительности масса поводов и оснований. Опьянение жизнью и счастливая благодарность за неё неиссякаемым потоком льются со страниц всех четырёх томов. Как я уже писала, «Войну и мир» создавал гений, находясь на вершине доступного ему человеческого счастья: учился, воевал, путешествовал, начал печататься, благоустроил имение, счастливо женился, рядом двое чудесных здоровых детей, жена своими руками переписывает страницы романа... А рядом с этим ликующим опьянением – неустанный нравственный поиск, переданный автором всем своим любимым героям. Ещё не наступило похмелье беспощадного разочарования, ещё не померкла надежда добиться, изменить, перевернуть, пусть позади война, смерть, лишения, но жизнь продолжается, торжествует любовь, и на последних страницах великой книги мальчик мечтает о своём будущем неведомом подвиге.

За свою жизнь я перечитывала роман раз пять, и нет ничего удивительного в том, что каждый раз в нём открывались новые смыслы. Но главное – не иссякал оптимизм, внушаемый текстом, не тускнела росистая свежесть толстовского мироощущения. Кстати, темой моего вступительного сочинения в университете было «Герои произведений Л.Н. Толстого в поисках правды и смысла жизни»... Много позже я напоминала своим ученикам, что все упомянутые герои были людьми материально обеспеченными и достаточно благополучными; что же заставляло их метаться, искать, ошибаться и вновь стремиться к неведомому идеалу? Нравственная истина не только существует, но и оказывает несомненное воздействие на нашу повседневную жизнь, «а спокойствие – душевная подлость», напоминает Лев Николаевич.

Не устаю восхищаться художественной смелостью Толстого, которая с особенной силой сказывается в знаменитой «диалектике души», в изображении разительной противоречивости душевных движений.

Я приводила ребятам множество соответствующих примеров и, в частности, эпизод из первой части первого тома, когда Пьер, только что совершенно искренне давший своему старшему другу князю Андрею честное слово не ездить больше на разгульные пирушки к Анатолию Курагину, всё-таки отправляется к последнему, успокаивая себя довольно пустопорожними силлогизмами. А ведь трудно найти в романе героя «положительнее» Пьера. И такое у Толстого на каждом шагу – как, впрочем, в жизни каждого из нас; просто лишь редким единицам достаётся дар беспощадного самонаблюдения и самоанализа (впрочем, самоанализа, не разрушающего личность – ещё одно свидетельство нерушимого душевного здоровья автора «Войны и мира»).

А язык Толстого! Я часто упоминала на своих уроках о знаменитом сравнении Наташиной улыбки с отворяющейся «заржавелой дверью» (четвёртая часть последнего тома; встреча Пьера с Наташей у княжны Марьи). Наташа – главная героиня романа, в неё влюбляются все молодые персонажи, это сама прелесть и обаяние, и чтобы уподобить её улыбку заведомо «непоэтическому» предмету – для этого надо было уметь отбрасывать и не замечать бесчисленные инерционно-литературные табу. Из таких якобы мелочей и рождалась девственная свежесть толстовского текста, которая завораживает до сих пор. Кстати, значение слова «дверь» буквально в следующей строке расширяется и обогащается: это уже не только дверь как деталь обстановки, это дверь – порог, дверь, позволяющая войти в пространство не физическое, но душевное.

У Василя Быкова в повести «Обелиск» есть поразительная деталь: в оккупированной немцами белорусской деревне учитель Мороз, за неимением учебников и тетрадей, читает с ребятами «Войну и мир» – день за днём, страницу за страницей, в уверенности, что такое чтение – один из лучших способов образования и воспитания. Он был прав, Алесь Иванович Мороз, сельский учитель, добровольно пошедший на казнь со своими мальчишками, схваченными за попытку сопротивления фашистам.

Во множестве военных мемуаров зафиксировано, с какой жадностью в годы Великой Отечественной читали и перечитывали роман Толстого. Кажется, наступает пора повторить этот опыт самоочищения и самоподъёма нации – вот только найдутся ли силы и, как модно сейчас говорить, триггеры для него.

В сущности, «Преступление и наказание» – очень опасное произведение для юношеского чтения, опасное в силу неодолимого обаяния Родиона Раскольникова. На всех занятиях по Достоевскому мне приходилось вступать в нескончаемые дискуссии о возможности оправдания греха, и какие только доводы «в пользу преступника» не приходилось выслушивать! Кстати, привлекательность центрального героя обуславливается не только тем, что он «замечательно хорош собой», незаурядно умён и способен на искреннее благородство. Достоевский изображает его преступление («переступление») через запретный для человечества нравственный порог) как способ избавиться от удушающих материальных и моральных тисков, и в обнажении корней преступления неволью (а может быть, и сознательно) заключается возможность его оправдания. Видимо, личный каторжный опыт общения с «переступившими» подвёл писателя к выводу, что интегральная причина множества преступных деяний – это глобальное желание вырваться из удушья, из тесноты, желание «расправить плечи» и удовлетворить, наконец, свои

насущенные и вовсе не преступные потребности. Конечно, в данном случае речь не идёт о подлостях и преступлениях хищников, стяжателей и циников по природе, таких, как князь Валковский из «Униженных и оскорблённых» или Смердяков из «Карамазовых». Но жуткие немотивированные расправы с беззащитными людьми в публичных местах – в школах, в магазинах, на площадях, так распространившиеся и у нас, и на Западе, – не порождены ли они той самой «теснотой», тёмными и узкими каморками, лестницами и переулками вокруг Сенной площади «достоевского» Петербурга? В расширительном, разумеется, смысле.

Неотразимо показал Достоевский соблазн индивидуализма. Невозможность «расправить плечи» снова и снова обращает молодые глаза в глубь собственной личности, и все, пусть даже несомненные, её достоинства начинают уродливо преувеличиваться и искать своей реализации через головы других. «А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодёжи!» Нам бы сейчас в России вновь прислушаться к Порфирию Петровичу. Он, на мой взгляд, самый достойный и человечный оппонент Раскольникову, носитель и защитник не подлежащих сомнению и поруганию нравственных ценностей. Он, а не Сонечка Мармеладова, и не на ней, а на нём стоит мир. Это Порфирий адресует Раскольникову замечательную «просьбицу» оставить, если «придёт охота... ручки этак на себя наложить», «краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчечки, и об камне упомяните [под которым спрятано украденное]: благороднее будет-с». То есть даже на пороге собственного уничтожения следует помнить об окружающем мире и своём долге перед ним: благороднее будет-с.

Для меня позиция Порфирия, его нравственная структура гораздо убедительнее той парадигмы христианских ценностей, которая определяет поведение Сони, князя Мышкина, Алёши Карамазова. Иногда кажется, что и сам Достоевский сомневается в силе и действенности помянутой парадигмы; недаром в его романах все бунтари и даже злодеи художественно убедительнее и привлекательнее её носителей. Чего стоит хотя бы бунт Ивана...

Именно Порфирий Петрович в ходе последнего разговора с Раскольниковым произносит так потрясшую Родиона Романовича фразу: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» Мне часто приходит на ум в связи с этим пожеланием пастернаковское:

Остальных пьянила ширь весны и каторги.

«Лейтенант Шмидт»

Ширь и весна, не будем забывать, покупаются покаянием.

И вновь об эпохе застоя (1972–1985)

Вернусь в семидесятые годы прошлого (уже прошлого!) века. Для меня это десятилетие насыщено плотной, активной и всегда интересной профессиональной работой.

Одной из любимейших книг моих семидесятых стали «Невыдуманные рассказы» В. Вересаева. Пожалуй, страсть к документалистике и non-fiction зародилась именно тогда. Всё-таки нарратив для прозы как читательский мотор необходим, а потребность в художественном украшательстве с годами слабеет. В кратких фрагментах и эпизодах нагая

точность повествования сопрягалась с красочностью редких деталей портрета, жеста, пейзажа – и с глубиной мысли. Помню, особенно меня поразили вересаевские размышления о смерти как одном из самых волнующих и интересных событий жизни и его признание в том, что он ждёт собственного конца как яркого и значимого приключения. Сказанное подкреплялось цитатой из «Прометей» Гёте:

Прометей.

То смерть была, Пандора.

Пандора.

Смерть?

А что это такое?

Прометей.

Дочь моя!

Ты много радостей познала,
Немало и страданий.
И сердце говорит тебе,
Что в жизни много радостей осталось
И много горя,
Которых ты не знаешь.
И вот приходит миг,
Который всё в себе вмещает, – всё,
Чего желали мы, о чём мечтали,
На что надеялись, чего боялись.
И это – смерть.
Когда в душевной глубине
Ты, потрясённая, вдруг чувствуешь всё,
Что хоть когда-нибудь давало радость, горе,
И в буре расширяется душа,
В слезах себя стремится облегчить,
И жар в душе растёт,
И всё звенит в тебе, дрожит и бьётся,
И чувства исчезают,
И кажется тебе, что вся ты исчезаешь
И никнешь,
И всё вокруг куда-то никнет в ночь,
И в глубоко своём, особом ощущенье
Ты вдруг охватываешь мир, тогда...
Тогда приходит к человеку смерть.

Пандора.

Отец, умрём!

Прометей.

Нет, час ещё не пробил.

Это достаточно редкое для русского писателя отношение к смерти стало для меня утешительным глотком свежей воды.

Зимним вечером, засидевшись в Ленинской библиотеке, я лихорадочно дочитываю в свежем номере «Нового мира» «Белый пароход» Чингиза Айтматова. В истории мальчика, который впервые столкнулся с непоправимым и неодолимым злом и предпочёл уйти из жизни – «превратиться в рыбу» и уплыть к неведомым и прекрасным белым пароходам, была ранящая конкретика современного мифа. Бессилие добра, воплощённое в страдающих глазах Матери-оленихи, позже превратилось для меня в сигнал десятилетия. Реальной оставалась только

возможность сохранить личную порядочность – впрочем, это не так уж мало. Кстати, сходное впечатление ранее оставила ещё одна прекрасная повесть – «Беглец» Н. Дубова (1966). Пронзительная интонация обеих повестей, не нарушенная ни одной фальшивой нотой, долго будоражила живое чувство нравственности, без которого жизнь превращается в существование.

Айтматов мне запомнился ещё со времён его первых повестей, среди которых особенно полюбился «Тополёк мой в красной косынке». Однако его зрелые романы «И дольше века длится день...» и «Плаха», как мне кажется, потеряли аромат свежести, аромат «чистоты нравственного чувства» (знаменитое выражение Чернышевского, характеризующее «талант графа Толстого»). Полностью отдаю должное умению Айтматова находить, ставить и художественно оформлять важнейшие проблемы современности – чего стоит хотя бы образ манкуртов! – но любимым чтением его романы не стали. А «Белый пароход» трогает до сих пор.

Главным военным прозаиком 1970-х для меня стал Василь Быков. Что мы знали к 1970-м годам о войне? «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Молодую гвардию» А. Фадеева, партизанские «документальные» повести и романы Д. Медведева («Это было под Ровно» и др.), симоновскую трилогию «Живые и мёртвые»... Всё было просто и понятно: вот фашисты, вот наши, мы – герои и наше дело правое. И конечно, «...а значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Но какой была эта цена?

Василь Быков не просто ставил этот вопрос, он пытался на него ответить – с той предельной честностью, от которой шевелились волосы и бежал озноб по спине. В центре его вещей оказывалась не героическая, а моральная проблематика: нравственная цена поступков командиров и солдат, фашистских наёмников и партизан. Какое множество нестандартных, живых, достоверных характеров! Особенно запомнились повести «Сотников» (1970) и «Обелиск» (1972). Демонстративно негероический облик Сотникова, как бы воплощающий фальшивый советский миф об «интеллигентике», скульптурно обнажает анатомию его подвига, в истоках которого оказывается вовсе не верность какой-то абстрактной идее, а невозможность изменить себе, невозможность избавиться от сосущей жалости и сочувствия к другим безвинным жертвам. Разящая убедительность отличает также историю предательства Рыбака, страшную неизбежность каждой последующей ступени его падения. Знаменитая экранизация этой повести («Восхождение» Ларисы Шепитько), безусловно, очень талантлива, но она подчёркивает евангельские ассоциации к истории Сотникова; текст Быкова к такому однозначному толкованию читателя не подталкивает, не становясь от этого менее убедительным в исследовании причин, которые заставляют человека отдать «душу свою за други своя». Та же невозможность подлинно совестливой личности изменить не столько принципам своим, сколько своей нравственности обнажается в повести «Обелиск»: деревенский учитель Алесь Иванович Мороз просто физически не может оставить своих обречённых на казнь учеников и добровольно отдаётся в руки немцев, чтобы разделить судьбу мальчишек. Помню, как многие из первых читателей этой повести присоединялись к тем её персонажам, которые осуждали поступок Мороза: кому он помог? ребята всё равно были обречены... убил ли он хоть одного немца? Самый убедительный ответ даёт в повести Ткачук, рассказчик этой истории:

«...Вы всё хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу...»

Так Быков учил *сомневаться*, давал возможность неоднозначной и объёмной оценки военного прошлого. А ведь без этого невозможно не только искреннее уважение к своей Истории, но также извлечение уроков на будущее. Вот чего не хватило Симонову, вот почему его неприкрашенные военные дневники («Разные дни войны») стократ интереснее растиражированной трилогии «Живые и мёртвые». Несмотря на прекрасную экранизацию первого романа в 1963 году, трилогия так и не стала подлинно народным чтением.

Позже Василь Быков с той же ранищей силой обратился к трагедии коллективизации. Совсем недавно я перечитала «Знак беды» (создан в 1982 г.) и вновь восхитилась тревожным быковским талантом, оставляющим долгое послевкусие анализа. Супружеская пара Петровка и Степаниды являет нам образы двух жертв бесчеловечных обстоятельств (колхозного быта и фашистской оккупации): жертву пассивную (Петрок), которому, казалось бы, остался только шаг до полной сдачи, до предательства и который всё-таки находит в себе силы на достойный ответ врагу, пусть ценой жизни, – и жертву активную (Степанида), с её вольной и невольной виной в раскулачивании, которая искупает эту вину ценой своей жуткой огненной смерти, равной отчаянному подвигу.

Замечательна образная специфика быковского текста: вроде бы он постоянно пишет о весьма далёких от городского жителя мельчайших подробностях деревенского и лесного партизанского быта, но мир крестьянского творчества, мир освоения суровой и дикой действительности неодолимо увлекает и захватывает.

А его «Облава» (1988), крохотная повесть о сбежавшем из сталинских лагерей раскулаченном, за которым в наконец-то обретенных родных местах охотится огромный отряд энкавэдэшников во главе с его собственным сыном? Мы не ценим свою литературу... Эта вещь, кстати, пронзительнее и сильнее нашумевшей «Зулейхи...» Гузели Яхиной.

Рано заявил о себе ещё один военный прозаик, которого я полюбила и долго продолжала читать: Юрий Бондарев. Его первая вещь, «Тишина» (1962), восхитила практически всех. Ещё не остывшая правда вхождения фронтовика в мирную жизнь и горечь послевоенных сталинских репрессий, сумрачный, отчаянный и молодой образный колорит, обаяние женских характеров – всё это многое обещало. Нестандартным оказался и роман «Берег» (1975), хотя искренности в нём поубавилось. Самым интересным в романе мне видится не история «запретной» любви Никитина и Эммы, не ностальгия по жертвенному и безупречному лейтенанту Княжко, не смачно выписанный старлейт Гранатуров, а сержант Меженин. Первоклассный вояка, но какой мерзкий и страшный характер, выписанный с нескрываемой ненавистью – такую ненависть вызывает только лично пережитая действительность. Роман был очень популярен.

В 1960-е годы повальное увлечение научной фантастикой меня миновало, хотя Серёжа, мой двоюродный брат, собравший в своей библиотеке несметное множество соответствующих произведений, прожужжал мне все уши о замечательных книжках Лема, Брэдли и, конечно,

Стругацких. В те времена поразил меня, однако, только «Солярис» – силой фантазии автора в изображении неведомого инопланетного разума и нестандартным подходом к проблеме Контакта (установкой связи с человечеством не через разум, а через подсознание). Вообще жанр фэнтези до сих пор мне совершенно чужд, несмотря на его сегодняшнее триумфальное шествие по миру. Многотомная Поттериана кажется до примитива наивной; из любопытства удалось одолеть пару томов – не больше, хотя известное обаяние текста я почувствовала. Даже Толкин, с его «Властелином колец», оставил равнодушной, не говоря уже о «Борьбе престолов» и прочем.

Вернусь к братьям Стругацким. Первым произведением, которое меня поразило – да что там поразило, сразило наповал! – был «Пикник на обочине» (1972), и я до сих пор считаю его лучшей их вещью. В ней нет переусложнённости фантастическими деталями, она легко читается, и вместе с тем наличествуют замечательно ёмкие символы: Вторжение, Зона, Сталкер. Недаром два последних термина вошли в активный словарный запас нашего общества.

Именно в этой повести Стругацкие мужественно решились на развенчание мифа о Человеке, который сами же они активно формировали и поддерживали в прежних произведениях (чего стоит трогательный роман «Полдень. XXII век (Возвращение)») и который был так важен для советского официоза. И развенчание осуществляется не столько на логическом, рациональном, сколько на интуитивно-эмоциональном уровне: именно поэтому оно так действует на читателя и заставляет его надолго задуматься.

Позже были «Жук в муравейнике» (1980), «Волны гасят ветер» (1986), «Улитка на склоне» (1988) и многое другое (называю самое zapomнившееся). Но в этих вещах не оказалось такого объёмного, живого и обаятельного характера, как Рэд Шухарт, такой великолепной прописанности и отделанности, такой гармоничной композиции. И такой дивной концовки, которую я мысленно не устаю повторять:

...Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто Шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он [Рэдрик Шухарт. – Н.Р.] прошёл мимо ковша, суверенно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на чёрные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему Шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всесильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю, там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, – ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно всё проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!»»

Простая мысль о том, что все идеологии преходящи и временны, а незыблемы лишь ценности, и в очень небольшом количестве, выражена здесь отчётливо, ясно, с библейской силой.

В 1970-е одна за другой появляются повести Валентина Распутина. Интересно, что я потянулась к его страницам из-за того, что Распутин активно читали и обсуждали на родине моего отца, в городке моего детства – в Ветлуге.

Такие вещи, как «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), привлекли сатирической и трагической точностью деталей, печальным юмором, сочностью письма. Однако в мощном симфоническом звучании повестей «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976) уже почудилось что-то чрезмерно надрывное и слишком высокопарное.

Вообще наша «деревенская проза» представляется мне литературой не совсем естественной, выполненной сорванным голосом. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?..» Этой прозе не хватает общедоступной, общечеловеческой струны. Вряд ли её будут перечитывать. И дело вовсе не в чуждости деревенского быта городскому жителю – скажем, В. Быкову этот самый дотошно выписанный быт не мешает.

Короче, от Распутина, при всей прекрасно осознаваемой мощи его таланта, я отошла. Гораздо больше удовольствия доставлял Владимир Солоухин. При моём «лесном» детстве и никуда не девшейся страсти к сбору грибов в «Третью охоту» (1967) я просто влюбилась. «Письма из Русского музея» (1967) и «Чёрные доски» (1968) тоже зачитывались до дыр. Восхитил рассказ «Похороны Степаниды Ивановны» («Новый мир», 1987), заклеивший бессмысленный и оскорбительный советский бюрократизм, помноженный вдобавок на дефицит всего и вся.

Поздний Солоухин, с его страстным отторжением советского эксперимента, с яростным и ненавидящим открытием подлинной личности Ленина («При свете дня» (1992)), с нелепым, но выстрадавшим монархизмом привлёк меня неподкупной и безоглядной искренностью чувства. Безусловно, я не могу согласиться с кипящим антисемитизмом его «Последней ступени» (1995), но от распахнутости души и текста трудно оторваться. Прощаем же мы антисемитизм Достоевскому. Конечно, Солоухин не Достоевский, но он искренин – а это дорогого стоит.

Одной из самых значимых книг десятилетия 1970–1980 стал «Тяжёлый песок» (1978), и не только для меня. Не сомневаюсь, что это лучший роман Анатолия Рыбакова, в котором он резко превзошёл размеры своего достаточно скромного, хотя и несомненного дарования – то ли под воздействием кровно близкой ему еврейской темы, то ли из-за масштаба и ответственности художественной и социальной задачи – показать (в сущности, впервые) широкому российскому читателю ужас, трагизм, непоправимость и бесчеловечность Холокоста.

И ещё одно потрясение 1978-го года – «Алмазный мой венец». «Мовистскую» прозу В. Катаева читала в основном интеллигенция, которую восхитил и «Святой колодец» (1966), и «Трава забвения» (1968), и «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972). Действительно, по-настоящему оценить эту обрывистую, предельно насыщенную литературными и общекультурными ассоциациями прозу, в которую так естественно и ошеломляюще неожиданно вкрапливаются нарочито напечатанные «в строку» великолепные и зачастую неизвестные стихи разных авторов, может только достаточно подготовленный читатель. Но «Алмазный мой венец» читали все! И говорили об этой книге так много, как редко о какой другой. Всё-таки уровень культуры городского советского общества был чрезвычайно высок. За Командором, мулатом, королевичем, щелкунчиком, синеглазым вставляли

и легко угадывались дорогие всем без исключения фигуры Маяковского, Пастернака, Есенина, Мандельштама, Булгакова. Я в эту прозу влюбилась безоговорочно, и меня безмерно удивляла реакция многих наших университетских филологов (среди них – любимицы студентов Ариадны Николаевны Алексеевой), что книжка Катаева, по существу, вредная, развенчивающая и принижающая великие тени прошлого. Да почему же, господи? Откуда такое недоверие к массовому читателю? Ведь, во всяком случае, по-своему этот читатель не глупее «посвящённых и причастившихся» знатоков.

Тексты позднего Катаева восхищали меня не только поразительной пластичностью, живописной выпуклостью, ненавязчивой, но гигантской эрудицией, грустным лиризмом. В них была тайна времени, приводящая одновременно в ужас и восторг.

Заканчивая разговор о десятилетии 1970–1980, надо бы добавить пару слов о детективах, пристрастие к которым тоже никуда не делось. В этой связи невозможно обойти Юлиана Семёнова, особенно его многотомную эпопею об Исаеве-Штирлице. В сущности, только два литературно-кинематографических персонажа советского времени стали устойчивыми героями массовых анекдотов: Чапаев (вкуче с Петькой и Анкой) и Штирлиц (вкуче с Мюллером, Плейшнером и радисткой Кэт), а это свидетельствует о том, что Семёнов нащупал какую-то конституирующую точку общенародного советского сознания.

Мне до сегодня чужд снобизм высокоинтеллектуального читателя. Качественную массовую литературу нельзя не любить уже потому, что невозможно питаться одними пирожными – желудок не выдержит. А Юлиан Семёнов начал читать ещё в 60-е, после блистательно вылепленных детективов о советской милиции «Петровка, 38» (1963) и «Огарёва, 6» (1972). Эту линию он потом продолжил, и тоже удачно – недаром почти все соответствующие романы экранизированы: «ТАСС уполномочен заявить» (1979), «Противостояние» (1979), «Тайна Кутузовского проспекта» (1990). Эпопея о Штирлице, на мой взгляд, загублена многословием и утомительной фактологической насыщенностью трёхтомной «Экспансии» (1984), хотя в завершающем романе 1990-го года «Отчаяние» (о трагическом возвращении Исаева в СССР позднего сталинизма) вновь ожила звенящая нервная нота «Семнадцати мгновений весны» (1969).

А вот фильму Татьяна Лиозновой бессмертие гарантировано, и дело не только в блистательном кастинге, мужественном лиризме музыки Таривердиева, невероятной одарённости режиссёра. Прежде всего главный герой, суть которого, как перчатка, слилась с личностью и физическим обликом Вячеслава Тихонова, являет собой Мужчину с большой буквы, человека мысли и действия.

Гласность! Гласность? Гласность... (1986–1989)

Начну с 1986-го. Самым ярким литературным впечатлением этого года, знаменующим собой начало гласности, стал, конечно, «Печальный детектив». В. Астафьев, по моим воспоминаниям, вовсе не являлся «писателем для всех», читали его немногие, хотя имелись и стойкие приверженцы. Однако из моих знакомых не оказалось ни одного, кто прошёл мимо «Печального детектива». Это был ступок мерзостей российской жизни и худших черт нашего российско-советского характера,

брошенный в лицо растерянному читателю, «возжаждавшему» истины: ты хотел правды? – пожалуйста!

Ошеломление от новой астафьевской прозы во многом объяснялось тем, что долгие годы из массовой советской литературы тщательно изгонялась всякая «чернуха»; редкостью была также гневная обличающая публицистика. Позже и того и другого оказалось в избытке; как всегда при раскачивании вечного российского маятника, люди быстро устали от нагнетания тщательно отыскиваемых и любовно смакуемых ужасов и, боюсь, надолго потеряли способность адекватно оценивать последние. Так, повесть В. Распутина 2003 года «Дочь Ивана, мать Ивана», с её нарочито сгущённым мрачным и безысходным колоритом, мало кто заметил, несмотря на повсеместный успех сходного по фабуле фильма «Ворошиловский стрелок» (убийство насильника дочери в первом случае совершает мать, во втором с обидчиками внучки жестоко расправляется дед).

А ведь в русской литературе такие сгустки честной, злой и чёрной правды вовсе не новость. Одним из самых болезненных книжных впечатлений моего отрочества была автобиографическая трилогия М. Горького: помню ощущение физической тошноты от некоторых страниц и стойкую боязнь перечитывания. Отчаянное восклицание Алексея Максимовича, оправдывающегося за мрачность своего текста:

Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, – это ведь не прошло, не прошло! Вам нравятся страхи выдуманнные, нравятся ужасы, красиво рассказанные, фантастически страшное приятно волнует вас. А я вот знаю действительно страшное, буднично ужасное, и за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нём, дабы вы вспомнили, как живёте и в чём живёте.

М. Горький. «В людях»

А кипящая ярость Герцена при воспроизведении жутких и абсурдных эпизодов николаевской эпохи? Его выплеснутое в «Былом и думах» проклятие?

Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!

Не думаю, что время Николая I было сплошь чёрного цвета, как и последняя четверть XIX века, к которой относятся воспоминания Горького. Настройка исторической оптики никогда не бывает объективной, и мне, при моём всегдашнем внутреннем стремлении к справедливому уравновешиванию противоположностей, не по душе большое выпячивание гнойных ран. Нет слов, время от времени общество нуждается в такой литературе. Равнодушных к «Печальному детективу» просто не было; помню пылкие дифирамбы одних, возмущённые опровержения других и осторожное осуждение третьих. Книги подобного рода требуют обязательного перечитывания, с последующей корректировкой первоначального впечатления.

А Виктор Петрович Астафьев так и остался на проложенной им скорбной обличительной тропе и даже зашагал по ней дальше: «Людочка» (1987), «Прокляты и убиты» (1995)...

1987-й. Три литературных события: «Собачье сердце» Булгакова, «Реквием» Ахматовой и «Дети Арбата» А. Рыбакова.

Булгаков уже давно стал моим любимцем, каждая его строчка ловилась на лету и долго смаковалась. Искрящийся юмор, до озноба живые характеры, фантастический и вместе с тем жутковато реальный сюжет – всё это поначалу отвлекало от главного пафоса повести. А ведь он страшен: люди от природы вовсе не равны друг другу, и из человека с холопией собачьей натурой никогда не выйдет ни профессора Преображенского, ни даже доктора Борменталья. Общий язык между этими стратами также недостижим: Шариков может договориться только со Швондером. Попытка же волонтаристски стереть черты неравенства – природного, социального, рокового – обязательно приведёт не только к трагедии, но и к истреблению несчастного попытавшегося.

Кстати, вовсе не «Белую гвардию», а «Собачье сердце» надо бы ввести в школьную программу: подростку ближе, понятнее, да и полезнее именно такой сюжет, насыщенный конкретными, живыми, но глубоко символическими фигурами и прозрачно зашифровывающий одну из главных проблем человечества.

О «Реквиеме» в наших кругах говорили давно, ненасытно ждали его появления, повторяя бог весть откуда долетевшие отдельные строчки. Может быть, из-за этих, много лет копившихся ожиданий и надежд от наконец доступного текста возникло некоторое... не разочарование, а ощущение чего-то несбывшегося. Однако после множественного перечитывания начинаешь ценить каждое слово, в особенности когда по крупицам соберёшь, представишь, осознаешь и поймёшь историю его создания.

Что до моего личного восприятия... Обнажённое страдание центральных стихотворений (I–X) долго заставляло целомудренно отводить глаза от кровоточащих строк. К тому же только сейчас, уже в старости, после неоднократного обращения ко всем четырём Евангелиям, начали добираться до сердца библейские ассоциации: «холод иконки», «твой высокий крест», скорбное материнское одиночество перед распятием. А тогда, в конце восьмидесятых, самыми любимыми, сразу запомнившимися наизусть, стали «Вместо предисловия», «Посвящение», «Вступление» и, конечно, «Эпилог». Спасибо, что памятник Анне Андреевне работы В. Реппо и Г. Додоновой поставлен напротив «Крестов», и её молодая, гибкая, стройная фигура вполборота обращена как раз к тому месту,

...где стояла я триста часов
и где для меня не открыли засов.

Самым уничтожающим проклятием сталинской эпохи, произнесённым Ахматовой, мне видится всё же не «Реквием» (который, в полном соответствии с названием, являет собой траурное поминание жертв), а два поистине страшных стихотворения 1937 и 1940 годов:

ПОДРАЖАНИЕ АРМЯНСКОМУ

Я приснюсь тебе чёрной овцою
На нетвёрдых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним...
И пришёлся ль сынок мой по вкусу
И тебе и деткам твоим?»

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной недели...
Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь?

В Кремле не надо жить. Преображенец прав,
Здесь зверства древнего ещё кишат микробы:
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь – взамен народных прав.

В эти же годы дошёл до советского читателя и полный текст «Поэмы без героя». Очень люблю эту вещь, часто вслух читаю отрывки из неё, но до конца близкой и «моей» она так и не стала. Всё-таки было в характере Анны Андреевны нечто сатанинское; впрочем, возможно, что именно это и позволило ей выжить, сохраниться и отдать миру Бродского. А может быть, мне, из-за моего «нехристианского» мировоззрения, просто не дано постигнуть в её личности то, о чём Бродский говорил, цитируя её: «Ты не знаешь, что тебе простили...»

Только сатанинское знание человеческой души могло продиктовать такие стихи, как «Есть три эпохи у воспоминаний...». С неизменным холодом по спинному хребту перечитываю:

...И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединённый,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает – мы чужие.
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаём, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас – и даже
Всё к лучшему...

А стихотворение «Меня, как реку, жестокая эпоха повернула...»? Мы счастливы, что она у нас была. Как сказал В. Корнилов:

Век дороги не прокладывал,
Не проглядывалась мгла.
Бога не было. Ахматова
На земле тогда была.

«Анне Ахматовой». 1961

Ошеломляющий и повсеместный успех имел роман А. Рыбакова «Дети Арбата». Я и сегодня безоговорочно считаю этот роман гражданским подвигом Рыбакова. Дело не только и не столько в обращении к теме зарождающегося сталинизма, который в начале 1930-х годов

уже начал шагать по трупам и ломать судьбы. Дело в том, что этот роман всем взявшим его в руки хотелось читать: там была молодость, страсть, любовь, трагические столкновения со злом и попытки противостоять ему, там была Москва с её Арбатом, институтами, заводами, ресторанами, коммунальными квартирами, Кремлём – там была жизнь. И там был Сталин.

В 1988-м главным произведением оказался всё-таки не «Доктор Живаго», а «Жизнь и судьба» В. Гроссмана. Гроссман в годы первого опубликования своего реквизированного в своё время романа и дальнейших его изданий поразил всех моих друзей, вплоть до того, что «Жизнь и судьбу» по силе общественного воздействия сравнивали с «Мастером и Маргаритой». Художественных открытий проза Василия Семёновича мне не принесла (исключая предсмертное письмо матери Штрума, но здесь сработала сила документа – практически это письмо матери самого автора, которую постигла та же страшная участь в немецком лагере уничтожения). Но, читая «Жизнь и судьбу», я снова и снова вспоминала слова Пушкина: проза... «требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат». И мыслей было в избытке.

То, что в Великую Отечественную народ воевал не только за Родину, но и за свободу, – святая правда, об этом говорил мой отец. Это чувствовали и осознавали очень многие фронтовики. Не все, но лучшие из них. И то, что Василий Семёнович – осознанно или нет – подражал своему кумиру Льву Толстому, в конечном счёте оправданно, потому что лишь реализм толстовской силы и бесстрашия мог справиться с художественной реализацией гроссмановских прозрений.

Прозе Гроссмана чуждо опьяняющее читателя «плетение словес», сила и драйв его нарратива в другом – в неуклонном, глубоком, точном и бесстрашном следовании действительной жизни. Для меня же опьянение словом с детства и по сию пору одно из любимых наслаждений; словесная игра, неожиданная ритмическая или образная находка, богатство ассоциативных реакций на фразу, слово, слог, звук не перестаёт удивлять и радовать. Однако повесть Л.К. Чуковской «Софья Петровна», в которой даже под микроскопом не найдёшь ни одного словесного изыска, потрясла до потрохов силой не только бытийно-философского, но и художественного удара.

Весьма существенно, что в образной ткани повести отсутствует переселение в героиню, там нет ни одной попытки повествования от первого лица или несобственно-прямой речи. Однако весь текст является собой потрясающе достоверное изображение, как рядовая обычная женщина, хорошая жена и мать, добросовестная советская служащая, видит и воспринимает окружающую действительность, всё отчётливее обретающую черты бесчеловечного абсурда. Сама Софья Петровна описать происходящее с ней просто не в состоянии: сначала в силу очень мало присущей ей рефлексии, а затем просто из-за накрывающей её с головой немоты, которая заслоняет и спасает от ужаса. То, что повесть написана от отстранённого третьего лица, но как бы изнутри обыденного сознания главной героини, – поразительная заслуга Лидии Корнеевны. Ведь «Софья Петровна» создавалась в 1939 году, по кровавым неостывшим следам собственного трагического опыта, и как, наверное, велик был соблазн выхаркнуть всё горе, унижение, оскорбление собственным кровоточащим горлом! Но в отсутствии рефлексии по поводу происходящего кроется один из главных секретов успеха «Софьи Петровны».

Страшная повесть. Она ужасающе ясно показала, как в обычных, нормальных, хороших, нравственных людях просыпается, крепнет и побеждает нечеловеческое. Нечеловеческое отношение к миру, людям (в том числе и самым близким), наконец к себе.

Вполне понятно, что роман Е. Замятина «Мы», написанный в 1920 году по горячим следам грандиозной попытки этого самого переустройства, но дошедший до массового российского читателя лишь в том же 1988-м (спустя почти 70 лет), тоже читался с неослабным вниманием; к тому же подземные толчки, сигнализирующие о близости крушения кажущихся незыблемыми советских твердынь, раздавались всё чаще и ощутимее. Именно Замятину принадлежит честь написания первой блестящей антиутопии XX века, к которой позже присоединятся такие произведения, как «Приглашение на казнь» В. Набокова, «О дивный новый мир» О. Хаксли, «1984» Дж. Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери.

Будущее угадать невозможно (ближе других к этой цели оказался Оруэлл), но можно угадать то, чего надо бояться в настоящем, и показать угаданное в законченном и гиперболическом развитии. Что же угадал Замятин? На мой взгляд, это не столько предельная рационализация личного и общественного существования, сколько мучительная прозрачность оного. Развитие современных информационных технологий отчётливо демонстрирует психологическую и социальную опасность помянутой прозрачности, понимаемой, разумеется, не так буквально, как стеклянные стены в Великом Едином Государстве (см. роман), но также вполне ощутимой субъектами, для которых она предназначена.

Второе предупреждение Замятина – об ужасе коллективизма. Как этот последний прославлялся в советские годы! Какой соблазнительной выглядит добрая мощь коллектива в таких произведениях, как «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях»! Я сама в отрочестве упивалась этими вещами Макаренко и только много позже стала осознавать, в какой непомерной степени изображённые там детские сообщества зависели от личности и воли их создателя. Местоимение «мы», давшее название замятинскому роману, в довоенные советские времена было сверхпопулярно и в поэзии, и в прозе; пылкий пролетарский поэт В. Кириллов, ныне совершенно забытый, восклицал:

Всё – мы,
во всём – мы,
мы – пламень и свет побеждающий,
сами себе Божество, и Судья, и Закон.

Но «мы», превращающееся в круглосуточного надсмотрщика и контролёра? «мы», среди которого скрыты Хранители – шпионы и каратели? Нет, увольте...

И третье, о чём буквально вопиет весь роман, это тоталитарное извращение человеческого сознания и культуры. Автор обнажает перед читателем специфическую структуру несвободного сознания: текст представляет собой записки благополучного обитателя и горячего сторонника Нового Мира, номера Д-503, и как отчаянно цепляется герой за положительную и позитивную информацию, с какой страстью пытается оправдать всё жуткое и отвратительное, совершающееся перед его глазами, как не уверен он в самостоятельных движениях собственной души... Те, которых нынче презрительно и снисходительно называют

«совками», не могли не примерять прочитанное к собственному жизненному и душевному опыту.

В том же 1988 году на советского читателя хлынул поток мемуаристики, начиная с записок бывших сталинских узников и кончая исповедями совестливых благополучных современников. Расскажу о трёх поразивших не только меня публикациях.

«Крутой маршрут» Е.С. Гинзбург впервые опубликовало, как и следовало ожидать, одно из прибалтийских издательств – к сожалению, не помню какое, потому что позже я приобрела другое, более полное издание, с фотографиями и примечаниями. Сколько раз я перечитывала эту книгу! Личность Евгении Семёновны, помимо своей бесконечной привлекательности и обаяния, кажется мне много крупнее и значимее личности её сына, Василия Аксёнова. Дело в том, что она – победительница своей судьбы, и эту волевою торжествующую интонацию не заглушить даже самыми драматическими поворотами «крутого маршрута» её тюремных, лагерных и ссыльных испытаний.

«Чёрные камни» Анатолия Жигулина непреложно свидетельствовали: сопротивление сталинизму было! Характерно, что воронежская подпольная КПМ (Коммунистическая партия молодёжи) появилась после войны, после осознания украденной победы, а главный её организатор Борис Батуев был не кем-нибудь, а сыном одного из хозяев области – второго секретаря обкома партии. Отсылаю заинтересовавшихся к тексту, а здесь замечу только, что, несмотря на неприкрашенный реализм повествования, общее впечатление было опять же светлым и обнадеживающим: мы всё-таки люди! люди!

А вот «Дневник» Юрия Нагибина, писателя, которого я любила и люблю, вопреки крайним неровностям его литературного наследия, «Дневник», сигнальный экземпляр которого он увидел за несколько дней до своей внезапной кончины... После этого текста светлого ощущения не оставалось. А ведь перед нами записки благополучнейшего советского интеллигента, лауреата, популярного киносценариста, состоятельного коллекционера антиквариата, страстного охотника и прочая, и прочая. Душу, что ли, не удалось сохранить неразрушенной?

Я много думала об этом случайно получившемся сопоставлении трёх исповедей. Но читать Нагибина было жгуче интересно! Иногда брало изумление: неужели можно так откровенно, на грани эксгибиционизма, писать о себе и близких, да ещё и отдать в печать? Каковы страницы о Гелле (этим именем Юрий Маркович прозрачно зашифровал Беллу Ахмадулину, одно время бывшую его женой)! Подобная ненависть похлеще иной любви...

Для читающего и мыслящего люда Советского Союза почти весь 1989 год прошёл под знаком Солженицына. «Новый мир», где редактором в то время был честный и совестливый Сергей Залыгин (хорошо помню его повесть 1964 года «На Иртыше», в которой уже в те времена рассказывалось о трагических абсурдах коллективизации), начал публиковать «Архипелаг ГУЛаг», а в следующем, 1990-м, вышло «Малое собрание сочинений» с романами «В круге первом» и «Раковый корпус».

При всём моём преклонении перед трагической прозой Варлама Шаламова, перед трагедией его жизни, при всём моём восхищении множеством шедевров из «Колымских рассказов» ближе мне всё-таки Солженицын, с его неугасающей верой в человека, уважением к его

достоинству и попыткам это достоинство сохранить. Большинство солженицынских персонажей, и даже Иван Денисович, вовсе не безответные «терпилы»! Они не вылизывают чужие миски, не подличают, не унижаются, они – в нечеловеческих условиях – ухитряются зарабатывать, а не выпросить своё право на жизнь: «У нас нет, так мы всегда заработаем!», по слову того же Ивана Денисовича. Трагедия – да. Но и преодоление! А значит, и надежда. Вот суть моего впечатления от «Архипелага».

Спустя год я залпом проглотила «В круге первом» и «Раковый корпус», а позже неоднократно их перечитывала. Впечатление менялось: текстовое богатство со временем оборачивалось разными сторонами, одни и те же персонажи то нравились безоговорочно, то вызывали отчуждение и даже отторжение. Но такого мгновенного и полного принятия, как в случаях с «Иваном Денисовичем» и «Архипелагом», уже не было. Этим романам явно не хватало чистоты художественного решения. Чем дальше, тем больше Александру Исаевичу этого не хватало... Впрочем, это было заметно уже в таких давно опубликованных произведениях, как «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела». Из той серии рассказов безупречно смотрится только «Правая кисть».

Самокритично признаюсь: на этих романах Солженицын как писатель для меня закончился (с одним исключением – о нём речь впереди). Ни «Август четырнадцатого», ни другие романы из пресловутого «Красного колеса» мне одолеть не удалось, и не мне одной. Скучно, далеко, безжизненно. Невкусно! Возможно, здесь одинаково виноваты и автор, и читатели: всё-таки никоим образом не устарел пушкинский упрёк в том, что мы «ленивы и нелюбопытны». Однако что есть, то есть: не читают «Красное колесо». И вряд ли будут читать.

Но был ещё «Телёнок» – «животное», как конспиративно и любовно именовала эту книгу в своей переписке Л.К. Чуковская. «Бодался телёнок с дубом». Толстенный том я прочла чуть ли не за сутки, практически не отрываясь. Опять пламенная, яростная, ни на миг не отпускающая интонация – та же, что в «Архипелаге». Захватывающий не хуже хорошего детектива сюжет: схватка отважного одиночки с вооружённым до зубов тоталитарным государством, победа над этим последним и восторженная благодарственная песнь соратникам.

Пронзительный текст. Но (как одним из первых заметил В. Каверин) – это нескромная книга. Она до краёв переполнена упоённым сознанием собственной правоты, безгрешности и божьей отмеченности. А подобное сознание – грех, поскольку неизбежно порождает высокомерную несправедливость по отношению ко всем другим «малым сим», и не только к ним. Не могу простить Александру Исаевичу его жестокости по отношению к Елизавете Денисовне Воронянской, себялюбивой и отстранённой оценки её жуткого самоубийства после допроса в КГБ. И всё-таки «Телёнок» – книга поразительная, перечитывать её полезно.

Помню ещё и такую вспышку своего уважительного интереса к работе Солженицына: из одной командировки в Питер я привезла его «Русский словарь языкового расширения» (1990) и поразила объёму неустанного лингвистического труда, любви к русскому языку и постоянной заботе о нём. Другое дело, что мне (как профессионалу) практически сразу стала очевидна бесперспективность и натянутость львиной доли предлагаемой лексики, невозможность её активного употребления. К сожалению, автору не хватило не столько языкового, сколько

речевого чутья, чутья к живой, постоянно рождающейся вокруг речи. И тем не менее: так интенсивно работать, так верить в свою работу дано единицам.

Забегая вперёд, не могу не сказать: очень сильно способствовало снижению и развенчанию солженицынского ореола его длительное невозвращение в послеавгустовскую Россию (имеется в виду, конечно, август 1991 года). На фоне мгновенного приезда множества других вынужденных эмигрантов, на фоне стремительного прилёта в осаждённый Белый дом Мстислава Ростроповича – позднее (в 1994 году) театральное возвращение Солженицына в Россию через Дальний Восток выглядело бледно, натужно, неубедительно. Его телевизионные передачи не слушал практически никто (это не делает, возможно, нам чести, но так было!); его выступление в Думе встретили не просто холодно, но так раздражённо и неуважительно, что стало стыдно за депутатов (всё транслировалось в прямом эфире). Да, им следовало больше уважать наше живое прошлое, проявить элементарный такт и деликатность. Но уже то, что приходится апеллировать к категориям терпения и воспитанности, говорит о когнитивной пропасти между Александром Исаевичем и тогдашней его аудиторией.

К двухтомнику «Двести лет вместе» (2002), посвящённому взаимоотношениям и сосуществованию русского и еврейского народов, у меня сложилось (вразрез со многими из моего круга общения) отношение скорее спокойное и благодарное – за объём и масштаб взваленной автором на себя работы. Некоторые страницы могут навлечь (и навлекли) на себя упрёки в антисемитизме, но Александру Исаевичу, как это нередко с ним случалось, просто не хватило такта и чутья; для моего глаза это особенно заметно в главах и абзацах, посвящённых писателям – Галичу, Бабелю, Багрицкому и другим. Не хватило ещё, на мой взгляд, фиксации и развития простейшей мысли: человек прежде всего осознаёт себя человеком, а уж потом – евреем, русским, грузином, немцем, французом... И у многих это «потом» может не наступить.

1989–1999

Трудно сейчас представить, что было в моей жизни достаточно долгое время, когда я убеждённо считала: Бродский – «не мой» поэт. Фотокопии отдельных стихотворений стали попадаться в руки ещё с конца семидесятых; доносились вырванные из контекста строки и обрывочные фрагменты; наконец, в советских журналах эпохи гласности начали печататься подборки его стихов (далеко не всегда грамотно подготовленные). Новизна и очевидная талантливость не могли не задевать, но... по слову Пушкина, «мы ленивы и нелюбопытны». Однако незнание не избавляет от ответственности. Душевная лень, инерция прежних поэтических пристрастий и привязанностей, нежелание, а возможно, и неумение вслушаться в новый мощный поэтический голос растянули моё знакомство с Бродским на целое десятилетие.

А потом... Потом открылось, подступило, нахлынуло, захлестнуло с головой. И не отпустило доселе.

Редкое совпадение темперамента, личности, дара и судьбы позволило ему превратиться в главную фигуру поэтического пространства России последней четверти прошлого века – и после его ухода это место так и осталось вакантным. В XX веке, при всём невероятном оби-

лии порождённых им российских поэтических имён, мало кто в такой степени, как Бродский, повлиял на тенденции развития русского стиха.

Не имеет себе равных его поэтическое переосмысление опыта изгнанничества и эмиграции, философское вчувствование в трагические события столетия и в свою судьбу, разворачивающуюся на их фоне.

Это может показаться парадоксальным, но к творчеству Бродского полностью применимы те главные характеристики, которые дал раннему Толстому Чернышевский: «диалектика души» и «чистота нравственного чувства». Неожиданное и гармоничное сочетание самых противоречивых характеристик мира и себя в этом мире, столкновение и примирение знаков «плюс» и «минус» в нравственных оценках пленяло уже в самых первых его строчках и осталось с ним до последних дней:

...Мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но всё-таки бесконечным.

«Пилигримы». 1959

От чёрной печали до твёрдой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы,
от лирики друга до счастья врага
на свете прекрасном всего два шага.

«Под вечер он видит, застывши в дверях...» 1962

А «чистота нравственного чувства» обнаруживается в беспощадно-критическом отношении к себе, в умении взглянуть на свою личность со стороны, глазами стороннего наблюдателя; в отваге перед лицом неизбежной (а из-за болезни сердца – внезапной и скорой) смерти; в чистоте веры и в неизменной благодарности Всевышнему:

И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нём вообще.

«Лагуна». 1973

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

«Fin de siecle». 1989

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за всё; за куриный хрящик
и за стрёкот ножниц, уже кроющих
мне пустоту, раз она – Твоя.

«Римские элегии». 1981

...Имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,

слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
 обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфodelей,
 белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
 одинокому сердцу и телу бессчётных постелей...

«На смерть друга». 1973

Не устаю удивляться величине шага, сделанного Бродским в развитии русского поэтического мышления; здесь он поистине равен Пушкину. Оскорбляющее иной пуританский слух обновление словаря; радикальное расширение ритмики; новое качество стихотворного образа, опирающееся на необозримое богатство уже пройденного другими пути, – «всё побывало тут»... Наконец, неизгладимое впечатление на меня произвела и производит личность Бродского – как поэта и как человека. Невероятное обаяние, харизма, магнетизм отмечаются всеми, кто его знал. Неподкупная честность, насыщенность мышления и речи, потребность в дружбе и забота о друзьях, неподдельная любовь к родителям, неизменная память о спутниках жизни, беззаветная верность поэзии, языку, Родине, отвлага перед неизбежным исходом сердечной болезни до сих пор вызывают во мне благодарное сердцебиение.

Понимаю ли я все его стихи? Нет. Но с каждым годом всё больше становится тех, что понимаю.

Нравятся ли мне все его стихи? Нет. Но с каждым годом всё меньше остаётся тех, что не нравятся...

В 90-е годы не было в России прозаика более популярного, чем Сергей Довлатов. Издания его рассказов и повестей следовали одно за другим, стремительно вышло несколько собраний сочинений. Всё это не только раскупалось, но читалось, перечитывалось, расходилось на байки и афоризмы.

Чем же покори́л Довлатов самых разных читателей, от простых рабoтjаг до рафинированных интеллектуалов? Его страницы излучают тот печальный абсурд существования, которым насыщена жизнь всех «лишних людей» нашей эпохи. Довлатовские персонажи, как правило, не вписываются в советский (да и в любой иной) цивилизованный мир – это заключённые, неудачники, алкоголики, чудаки, изгои; однако благодаря полному отсутствию морализаторства и дидактичности, а также редкой человечности интонации именно они оказываются подлинными героями своего времени.

Реабилитация человеческого существования – вот чем дорог мне Довлатов, поэтому я и перечитываю его бесконечно, особенно в грустные минуты. Мало кто из нас до конца осуществляет задуманное, побеждает все мелкие и крупные жизненные препоны и преграды, испытывает чувство «полного удовлетворения»; и Довлатов помогает смиренно и благодарно принимать то подлинно ценное, что оправдывает и благословляет нашу бедную жизнь. Наконец, заразительная стихия юмора, того юмора, которого так мало в литературе – и сегодняшней, и отдалённой от нас годами.

Покоряющее обаяние довлатовского стиля приводит на память известный афоризм Бюффона: «Стиль – это человек». В рассказах и повестях Довлатова люди, их слова и поступки становятся «живее, чем в жизни» (Лев Лосев), эмпатия текста захлестывает с головой, и, как при встрече с каждым подлинным художником, не понимаешь, каким же образом это сделано. А ведь виртуозно выстроенные конструкции

именно «сделаны»: недаром говорили, например, что у Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинались бы с одинаковых букв.

Если есть в русской литературе последних десятилетий истинный демократизм, основанный на осознании автором, во-первых, своего несовершенства и, во-вторых, экзистенциальной общности всех человеческих судеб в мире, то обитает он на страницах Довлатова.

Чем в 90-е годы меня порадовали прежние любимцы? Все мы от души хохотали над «Кроликами и удавами» Фазиля Искандера (1987): уж очень точно и остроумно там подмечены черты полурабского существования в тоталитарном обществе, а главное – выведены многочисленные уловки кроликов в трудном деле самоутешения и самооправдания. Что до главной искандеровской прозы «Сандро из Чегема», в полном объёме дошедшей до нас в 1990 году... Вещь несомненно значимая и глубокая, при первом прочтении затягивает и поражает, но перечитывать её меня не тянуло. Слишком далека от нас психологическая подкладка персонажей, да и что прикажете делать с этой сугубо восточной, отстранённой и созерцательной философией бытия? Такое же ощущение возникало при чтении Маркеса, его знаменитых «Ста лет одиночества». В 90-е хотелось взять в руки что-то объясняющее и помогающее, на освоение полностью чужих миров попросту не хватало сил. Дядя Сандро ждёт меня где-то впереди...

Объясняющее, помогающее и ставящее новые вопросы с лихвой содержалось в последнем, коротеньком, но чрезвычайно ёмком романе Б. Окуджавы «Упразднённый театр» (1994). Неповторимая интонация и печальная мудрость вспоминающего о своём детстве и семейной истории Ванванча, за которым легко угадывался автор, вели к предчувствуемому, но всё равно неожиданным выводам. Кроме развенчания революционного прошлого отцов, которые, по словам Окуджавы, «сами собрали машину, которая их раздавила», в романе отчётливо ощущается любование этими людьми, любование их отвагой, бескорыстием, самозабвенной верностью пусть ложным, но высоким идеалам.

В 1989 году впервые стала доступной широкому читателю поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Никогда на моей памяти советские люди столько не пили, как в 80-е; бутылка водки, полученная к тому же по талону, превратилась в поистине универсальную валюту, выручавшую в любых жизненных сложностях. Абсолютно ясно, что на фоне этого всеобщего гомерического пьянства поэма обрела широчайшую, временами просто безумную популярность. Цитаты, соответствующие тосты, рецепты коктейлей (особенно востребованной оказалась «Слеза комсомолки») на всех вечеринках и тусовках сыпались как из ведра (с той же водкой). «И немедленно выпил!» Лучшим подарком для любого похода в гости в те времена была книжка Ерофеева.

И неудивительно. В поэме подверглись снятию и были иронически обыграны едва ли не все условности и стереотипы советской прозы. Новый язык, новая реальность, новый герой... Воспитанных в позднесоветской школе читателей пленяло снижение, развенчание и переосмысление набивших оскомину «высоких образцов» советского стиля, застывших формул на глазах уходящей в прошлое эпохи:

...Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчёркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навывпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир,

если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был бы так же ни в чём не уверен: ни в себе, ни в серьёзности своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

(Из главы «Москва. Ресторан Курского вокзала»)

(Возможно, молодому читателю потребуется пояснение: «В жизни всегда есть место подвигам» – культовая цитата из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль», входившего в программу средней школы.)

Но потом... Из моих студентов начала 2000-х практически никто этой книгой уже не восхищался, да и читали-то Ерофеева немногие. А мы перестали его перечитывать. Так и остались «Москва – Петушки» великолепным памятником позднезастойной эпохи. Жаль, но, пожалуй, такая судьба ерофеевскому шедевру была заранее уготована. Большинство из нас не были и не могли быть «чистыми жертвами» действительно, жертвами по призванию. Веничка же именно таков.

Истосковавшийся по смелой сатире советский читатель жадно проглотил первую часть романа В. Войновича «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Но по мере дальнейшего знакомства с романом хохот утихал. Всё-таки при всей моей любви к таким произведениям Войновича, как «Шапка» (1987) и «Иванькиада» (1989) в «Чонкине» чувствуется некая натужная второстепенность и юмора, и сюжета, и художественных находок. Кроме того, не доросло наше общество (и я вместе с ним) до такой кощунственно-свободной насмешки над Великой Отечественной, да ещё над её самыми трагическими первыми днями... Не смешно!

Среди писателей, дебютировавших в 90-е и продолжающих активно работать в следующем тысячелетии (!), я в той или иной степени познакомилась с произведениями Л. Петрушевской, Б. Акунина, В. Пелевина, А. Иванова, Е. Водолазкина, Д. Рубиной, Т. Толстой, Л. Улицкой. Увы! Все, кроме двух последних, оставили равнодушной – правда, по разным причинам.

Не могу не отдать должное резкому и саркастическому таланту Л. Петрушевской, но читать её так тяжело, что одолела я лишь мизерную часть богатого и разнообразного творчества. Пусть простит меня Людмила Стефановна, но поменьше бы мрака! После Ваших деталей, подробностей, инвектив и обличений просто жить не хочется. А жить, как известно, надо. И иногда этот процесс (в отличие от Ваших книг) бывает добрым, интересным и весёлым.

Люблю Григория Чхартишвили, книгу «Писатель и самоубийство» неоднократно перечитывала. И совершенно равнодушна к Б. Акунину, многотомным проектам «Сыщик Фандорин», «Сыщица Пелагия» и подобным. «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» Даже как детективы эти произведения меня не заинтересовали: слишком далёкая от повседневных нужд и страстей интрига, медленно и вязко разворачивающаяся.

В своё время порадовалась роману «Жизнь насекомых» (1993) – искренности интонации, тому, что образный строй не высосан из пальца, а «увиден» внутренним взором художника. К сожалению, поздний Пе-

левин не вызывает у меня никакого аппетита, особенно после романа «Generation П»: утомительно, натужно, тяжело и, в сущности, бьёт мимо цели.

В очередных летних отпусках попались два романа Дины Рубиной – «Синдром Петрушки» и «Белый ветер». Ну не тянет меня читать об изображённых там проблемах и о людях, которые их решают! Всё это идёт не из сердца, не из души, не из неодолимой потребности высказаться. Ремесло, которое кормит. Что ж, ремесленница она хорошая. Уже немало.

Даже Е. Водолазкин не заставил ни задуматься, ни вздохнуть, ни улыбнуться. Пусто... Удивляет выбор героев, подобранных где-то на обочине жизни, натужная вымысленность сюжетов, а главное – дальность расстояния от подлинных жизненных проблем. Радует только язык да, кроме того, острота и плотная осязаемость воспоминаний автора о знаменитом Пушкинском Доме. Дмитрия Сергеевича Лихачёва мне довелось видеть и слышать лично, его человеческая индивидуальность, научные и публицистические труды, а особенно трагически невозмутимые «Воспоминания» не могут не восхищать, поэтому живые впечатления коллеги от совместной с ним работы и деятельности всегда притягательны. А «Брисбен», «Авиатор»... Из хорошо оснащённой пушки – по мелким воробьям.

Ю.В. Трифонов вспоминал, как в 1950-е годы один из мэтров советской литературы любил задавать студентам Литературного института имени М. Горького после публичного прочтения их опусов на творческих семинарах сакраментальный вопрос: ну и что? Вот и меня тянет спросить нечто подобное...

Когда-то, ещё в 1986-м, восхитили рассказы Татьяны Толстой, особенно «Факир», интонация и юмор которого мне особенно близки. Но потом, потом? То ли преподавание в американских университетах отвлекло автора, то ли скепсис чрезмерный помешал. Где разворот, где шаг дальше и вперёд от «Кыси» и «Не Кыси»? Печально. Не спасает даже наследственно роскошная и богатая языковая ткань. «Проза требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат».

Перелистываю новинки уже нынешнего, 2020 года – те, которые при беглом визуальном знакомстве потянуло купить: «Дни Савелия» Г. Служителя и «Текст» Д. Глуховского. Повествование с точки зрения кота, представленное в первой книжке, в литературе далеко не новость, да и до Гофмана дебютанту далеко, но выстроен текст неплохо. Диалог же с телефоном убитого, на мой взгляд, блестящая находка Глуховского и полностью в духе времени. Сразу последовавшая экранизация до книги явно не дотягивает. Чуть бы поглубже, однако, копнуть автору характер главного героя: недаром харизматичному мачо Александру Петрову почти нечего играть. Перечитала также в связи с только что прошедшим по телеэкранам скандальным сериалом пресловутую «Зулейху» (Г. Яхина. «Зулейха открывает глаза»)... Прямо скажем: популярность всех этих вещей во многом обусловлена скудной бедностью литературного пейзажа. На безрыбье, как известно, и рак может показаться севрюгой, а то и осетром.

Кого тянет снова и снова искать на забитых до отказа книжных полках? Улицкую.

Не скажу, что я в полном восторге от её первых рассказов, романов «Казус Кукоцкого» и даже «Лестница Якова». Но вот «Даниэль Штайн,

переводчик» и «Зелёный шатёр»... Мало кому удалось так убедительно и захватывающе интересно показать динамику рождения и развития религиозного чувства, а также способ его реализации на протяжении жизни. История же советского диссидентства волнует меня по сию пору, и предпринятое в «Зелёном шатре» его всестороннее исследование представляется не просто удачной и честной, но и очень глубокой попыткой.

Слом эпох, произошедший в России в 1991-м, далеко не все люди искусства приняли с оптимизмом и радостными надеждами, к тому же надежды эти слишком у многих потерпели трагическое крушение. Сказать, что я этого не замечала, было бы несправедливо; просто мой позитивный душевный баланс сохранялся несколько дольше, а пожалуй, он остался таковым и по сию пору. Однако не видеть волны самоубийств молодых поэтов, прокатившейся по России в конце XX – начале XXI века, было невозможно. В 2014 году в Москве состоялись уже Третьи (!) литературные чтения, посвящённые их памяти: Борис Рыжий (2001), Ника Турбина (2002), Денис Новиков (2004), Кирилл Савицкий (2011), Евгения Кузнецова (2011)... Докладчики рассказали о 30 молодых стихотворцах, добровольно ушедших из жизни с 1991 до 2014 года. Поэтическая Россия дорого заплатила за смену экзистенциальной парадигмы эпохи.

Тёмные слухи ходили также о кончине Татьяны Бек (1949–2005): в 2005 году ей не исполнилось и 56-ти. Говорили, что она не выдержала предательских действий тех своих сотоварищей по писательскому цеху.

В растерянном, трудном, нервном 1992-м я с изумлением прочитала газетную подборку стихов совершенно неизвестного мне доселе Дениса Новикова, в которой он в числе прочего дал пронзительно точную характеристику тогдашней России:

РОССИЯ

...Плат узорный до бровей.

А. Блок

Ты белые руки сложила крестом,
лицо до бровей под зелёным хрустом,
ни плата тебе, ни косынки –
бейсбольная кепка в посылке.
Износится кепка – пришлют паранджу,
за так, по-соседски. И что я скажу,
как сын, устыдившийся срама:
«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали своё на рейхстаге.
Своё – это грех, нищета, кабала.
Но чем ты была и зачем ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листая.

Последний рассудок первач помрачал.
Ругали, таскали тебя по врачам,

но ты выгрызала торпеду
и снова пила за Победу.
Дозволь же и мне опрокинуть до дна,
теперь не шестая, а просто одна.
А значит, без громкого тоста,
без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.
Ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесём – и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:
налево – Маммона, направо – Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Поедешь налево – умрёшь от огня.
Поедешь направо – утопишь коня.
Туман расстилается прямо.
Поехали по небу, мама.

И этот поэт ушёл из жизни в 37 лет.

А Борис Рыжий, на 27-м году повесившийся – как Есенин? Масштаб его таланта, пожалуй, поменьше новиковского, но искренность, напор, страсть, трагическое раскаяние в ошибках, точная характеристика своего поколения...

Печально. Пожалуй, наше поколение, вошедшее в жизнь сразу после Великой Отечественной, оказалось более жизнестойким. Возможно, спасла оттепель, пришедшая на пору юности? Был плюс, последовавший после жуткого сталинского минуса, и память об этом плюсе давала силы перенести спуск к очередному минусу, а также сохранить надежду на следующий плюс...

«От всего человека вам остаётся часть речи...»
(вместо послесловия)

Автор полностью отдаёт себе отчёт в том, что у него получились заметки читателя не только советского (и постсоветского), но и провинциального. Нижний Новгород, Горький, несмотря на свой миллионный объём, промышленную значимость, количество вузов и географическую близость к столице, долгое время в силу своей закрытости (из-за обилия оборонных предприятий) оставался провинцией. Все общественно значимые факты и события доносились до нас позже и глуше; не хватало информации, не хватало интенсивности сиюминутных обсуждений, не хватало общественного действия. Может быть, однако, здесь кроются и некоторые преимущества? Воскликнул же один из моих приятелей, нижегородский писатель Олег Рябов:

Да здравствует провинция,
Где каждый день – отрада,
Что никогда столицей
Не будет – и не надо...

Опоздание отклика и реакции вовсе не исключает глубины и нестандартности осмысливания.

Происшедшая и дрящяся на наших глазах информационная революция изменила облик и характер вербальной культуры. Россия, в соответствии со своими историческими привычками, бросилась в эту революцию с головой и если не захлебнулась, то воды наглоталась порядочно. Пришёл конец не только нашей прославленной литературоцентричности, но также немаловажным факторам, которые эту литературоцентричность пестовали и поддерживали:

- неторопливому нарративному чтению;
- тщательной словесной отделке и вербальному профессионализму;
- ожидаемой предсказуемости ассоциаций, порождаемых художественным текстом.

...и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.

После стольких лет уже безразлично, что
или кто стоит в углу у окна за шторой,
и в мозгу раздаётся не неземное «до»,
но её шуршание. Жизнь, которой,
как дарёной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.

От всего человека вам остаётся часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Иосиф Бродский

Публицистика

Александр КАЗИНЦЕВ

Александр Казинцев родился в 1953 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру при МГУ по кафедре критики и публицистики. 33 года работает в журнале «Наш современник», первый заместитель главного редактора.

Автор книг «Новые политические мифы», «Россия над бездной. Дневник современника 1991–1996», «Симулякр, или Стекольное царство», «Возвращение масс» и других. Лауреат многих премий, в том числе Большой литературной премии за лучшую книгу 2010 года.

Живёт в Москве.

ПОНЯТЬ СЕБЯ

О Шукшине и Кожинове, о публицистике и кризисе идеологий – в беседе с Артемом Комаровым

– Александр Иванович, вам с Василием Макаровичем Шукшиным доводилось пересекаться? Он был членом редколлегии «Нашего современника», напечатал свои лучшие произведения там...

– Спасибо за вопрос о Шукшине. Можно сказать, что Василий Макарович привел меня в «Наш современник», хотя в жизни мы не встречались. Я пришел в журнал в феврале 1981 года, без малого сорок лет назад. А Шукшин умер в 1974-м. И всё-таки именно он повлиял на мой выбор.

Школьный товарищ, поэт Александр Сопровский, с которым позднее мы издавали неподцензурный альманах «Московское время», чуть ли не силой затащил меня на фильм Шукшина «Калина красная». Мы учились в знаменитой 710-й школе, первой школе-лаборатории Академии педнаук. В ней было несколько спецклассов с углубленным изучением одного предмета. Мы с Сашей учились в литературном классе. Упоминаю об этом, чтобы дать представление об атмосфере, нас окружавшей. В классе были дети советской элиты – кинорежиссёров, драматургов, дипломатов, цековщиков, кагэбэшников (куда же без них!). Мы зачитывались Камю, Сартром, Беллем, но совершенно не знали современную русскую литературу. От взрослых слышали, что в Китайском проезде недалеко от Кремля есть страшное учреждение – Главлит, комитет по цензуре, он вымарывает все живое

в литературных новинках. Так что читать их бессмысленно. Так же, как и смотреть экранизации.

Вот с таким настроением я пришел в кинотеатр «Художественный» на Арбате. Но когда увидел лицо Шукшина – только лицо, действие ещё не начиналось, – я был потрясен.

Столичный школьник из элитарной школы, я вдруг почувствовал, что это мой брат. Он так же смеется, так же печалится. Я открыл, что я русский, хотя до этого не задумывался о национальности. Я заинтересовался Шукшиным. Узнал, что он считает себя не киношником, а писателем, что «Калину красную» и другие лучшие свои вещи он напечатал в «Нашем современнике». Стал читать журнал – самого Шукшина, Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева – и, отучившись в МГУ и аспирантуре, пришел в «Наш современник».

– Расскажите немного о Вадиме Валерьяновиче Кожинове, благодаря которому вы оказались в «Нашем современнике». Сергей Станиславович Куняев пишет книгу о нем, в «Нашем современнике» стали публиковаться отдельные главы воспоминаний и анализ его работ... Каким представлялся Вадим Кожинов лично вам?

– Немного о Кожинове? Это не про него, тут несколькими словами не обойдешься. Кожинов талантлив и многогранен. Он теоретик искусства, он литературный критик, заметивший первые произведения В. Шукшина, В. Белова, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, он замечательный историк, создавший – вслед за Н. Карамзиным, С. Соловьевым, Н. Костомаровым, В. Ключевским – авторскую версию русской истории. А главное – он интереснейший человек, страстный, жадный до общения, готовый часами спорить, а потом годами пропагандировать людей с «искрой божьей», с оригинальной и глубокой мыслью. Всю жизнь он искал таких, и Россия обязана ему открытием плеяды талантливых писателей, музыкантов, мыслителей, достаточно назвать Михаила Михайловича Бахтина.

А можно упомянуть и других, кого человек, не знавший Кожинова, ни за что не поставил бы рядом с ним. В пятидесятые годы в квартире Кожинова, где собирался цвет столичной интеллигенции, состоялась первая выставка Оскара Рабина. Присутствовали – это зафиксировали мемуаристы – Павел Литвинов, Алик Гинзбург, Андрей Синявский, Мария Розанова, первые советские диссиденты. Вскоре Кожинов разоидется с ними, но общение с этой компанией случайным назвать нельзя. Было в характере Кожинова бунтарское начало. Он и впоследствии ценил искус молодого вольнодумства. В предисловии к моей книге «Россия над бездной» Вадим Валерианович подчеркивал: «...Человек, вступающий в жизнь, если у него активная, живая натура, не может не отнестись критически к тому, что его окружает. Если этого нет, значит, в нем самом недостает личностного, действенного начала. Как сказал когда-то великий Гете: тот, кто в 20 лет не был “революционером”, тот безнадёжный сухарь; но тот, кто к 30-ти годам не стал “консерватором”, тот – дурак...»

Я бы уточнил: «консерватор», переросший свое вольномыслие, не тождествен консерватору, родившемуся «сухарем». Блюстители «скреп» любят ссылаться на эволюцию Пушкина – «Стансы», «Бородинская годовщина», «Клеветникам России». Но зрелый Пушкин не сводим к этим звонким стихотворениям. А «Медный всадник», а «Капитанская дочка» с огненным образом «бунташного царя» Емельяна Пугачева? Да, в «Истории Пугачевского бунта» показан

кровавый характер восстания – в этом сказалась историческая объективность Пушкина. Но в «Капитанской дочке» Александр Сергеевич изображает «злодея», потрясшего российские устои, с горячим сочувствием. В «Медном всаднике» Пушкин воспевает творение Петра, однако даёт слово и Евгению, избличающему императора. Пушкинский объективизм недоступен охранителям. Они процитировали письмо поэта: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен; но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». При этом делают упор на последнюю фразу. Но она не о власти – об истории. О любви к «отеческим гробам». О царе и порядках, насаждаемых им, первая часть цитаты: «далеко не восторгаюсь... меня раздражают... я оскорблен...»

Простите за длинное отступление, но его непременно следует учитывать, говоря не только о Пушкине, но и о Достоевском, о Тихомирове – был такой революционер, затем монархист, под конец жизни разочаровавшийся в монархии. И о Кожинове.

В восьмидесятые, когда он уже совершил поворот к истории, понимая ее как надличную, не подвластную моральным оценкам силу, а потому принимая и репрессии тридцатых, и жёсткий советский режим, Кожинов как-то сказал мне: «Если бы у меня была сотня преданных людей, я бы взял Кремль». Это не было призывом, тем более программой. Но и обмолвкой не было. Вырвавшееся признание обнаруживает неудовлетворенность Вадима Валериановича тем, «что его окружает», неудовлетворенность, которую он сам, несколько опрометчиво, на мой взгляд, отнес исключительно к юношескому вольномыслию.

Говоря о личностях выдающихся, мы вольно или невольно ретушируем их образ. Оставляем лишь черты победителя. А реальная жизнь – и реальный образ человека, – как правило, куда сложнее.

– **Вы начинали, как поэт, затем перешли в лоно критики. Несмотря на это, вы все-таки продолжаете писать и публиковать стихи. Например, во 2-м номере за 2020 год литературного журнала «Москва» опубликована ваша подборка. Как часто вы сейчас стали уделять внимание стихосложению и что в итоге дает чередование разных видов деятельности: поэзии и критики?**

– Мне приятно упоминание о моих стихах. Я люблю и, признаюсь, высоко ценю их. Но подборки в «Москве» и других изданиях, составлены из стихов сорокалетней давности. Именно тогда я оставил поэзию. Точнее, она оставила меня. В последнем стихотворении я так и написал:

На пустых асфальтовых плато
на закате, на исходе дня
жду тебя, но не придет никто –
музыка оставила меня.

Поэзию я променял на критику, стремясь обратить внимание читателей на стихи моих друзей – Александра Сопровского, Сергея Гандлевского, Бахыта Кенжеева, Алексея Цветкова. Мы ориентировались на традицию русской классики, но публика – даже тот небольшой круг, который был у неподцензурного альманаха, – предпочитала усложненные

произведения модернистов. «Но сложное понятней им» – по слову Бориса Пастернака.

Позднее произошел ещё один перелом: я обнаружил, что люди не понимают не только простых стихов, но и простых жизненных истин. В 1990 году на выборах народных депутатов Ленинград проголосовал за «демократическую оппозицию». Все бы ничего, но город был напичкан предприятиями оборонки, а оппозиция призывала «перековать мечи на орала», перевести военные заводы на выпуск сковородок и сквородок. Представляете, сколько сковородок нужно наклепать, чтобы компенсировать стоимость одного танка! Это был путь к банкротству. Ленинградцы об этом не думали. Фактически они проголосовали за то, чтобы лишиться себя работы. Я попытался объяснить это и переключился на публицистику. Прошло еще 30 лет, и я уяснил: слово публициста не в состоянии убедить людей – так же, как и слова поэта и критика.

– Можно ли утверждать в категории проспекции, что значение вашей работы, я говорю о «Возвращении масс», будет усиливаться применительно к нашей стране с каждым годом и что это вообще вечная тема для России?

– Вечная тема, к несчастью, иная – тяга к сильной руке, выученная беспомощность, заставляющая надеяться на «доброе царя», как бы он ни назывался: государь император – генеральный секретарь – президент. Я же пытаюсь втолковать другое: все зависит от нас. Никто за нас решать проблемы не будет. Хотим улучшить жизнь – надо самоорганизовываться и сообща, используя энергию коллектива, добиваться изменений.

В книге «Возвращение масс» я привожу множество примеров, как подобная деятельность организована в разных регионах мира. В Латинской Америке, где выживание бедняков напрямую зависит от взаимопомощи, в благополучной Европе, где каждый добропорядочный гражданин является членом десятка организаций, отвечающих за самоуправление локальных территорий, связь с городскими структурами, улучшение быта, в том числе борьбу против избыточной застройки, а также за организацию спортивных мероприятий, детского отдыха, хорового пения и т. д. Проанализируйте под этим углом зрения популярный детективный сериал «Чисто английские убийства». В каждой серии – то деревенская выставка цветов, то благотворительный базар, то презентация книги о местных достопримечательностях, то соревнование церковных хоров, то борьба против вредного производства. Люди, несмотря на мрачное название сериала, живут. И отстаивают свои права.

Много лет мне отвечают: «А что мы можем?» Поразительно: англичане могут, латиноамериканцы могут, а у нас, русских, что – руки из другого места растут или головы не так устроены? Ну, не можете, ладно, никто заставлять не будет. Но и проблемы никто не решит. Впрочем, умеренный оптимизм вызывают первые удачные примеры самоорганизации в архангелогородском Шиесе, в башкирском Стерлитамаке, где экологам и местным активистам удалось остановить опасные проекты.

– В последнее время много говорят и пишут о необходимости введения некой общенациональной идеологии. Что вы думаете по этому поводу?

– Людей понять можно. В сознании старших поколений запечатлелось: советский порядок – советские цены – советская идеология.

Конечно, и тогда было немало недовольных, но как пожили новой жизнью, так и захотелось назад. Но возможно ли возвращение? Рухнула традиционная мораль. Вы не застали, а я помню: говорить о деньгах считалось неприличным. А сейчас сразу – «цена вопроса». Вон сколько словечек придумали: «баблосы», «баксы», «зелень», «капуста». Язык новых поколений как бы ласкает купюры, мысленно перебирая их. Раньше мы считались народом-коллективистом, сейчас – конкуренция. Падающего – подтолкни, умри ты сегодня, я завтра. Когда-то русские – вспомните Достоевского – сочувствовали обиженным, жалели их. Теперь слова «сочувствие» и «жалость» исчезли из обихода. Жизнь стала, может, и сытнее (десятки сортов колбасы в супермаркете) и разнообразнее (отдых за границей), но очевидно неуютнее. Гарантией спокойствия людям видится идеология. Но если мы введем в конституцию примат духовного над материальным в качестве идеологического постулата, как нам советуют эксперты (почему-то сплошь «небедные»), разве это отменит конкуренцию, волчьи законы борьбы за место под солнцем? Людям просто станут меньше платить: что вы все о деньгах – о вечном подумайте!

Опасная ошибка: смешивать идеи и идеологию. Идеи – двигатель развития, без них обесмысливается и жизнь отдельного человека, и существование общества. Идеология – свод идей. Система. А система неизбежно тяготеет к самодостаточности, замкнутости, в конечном счёте к тоталитарности. Прекрасные идеи свободы, равенства, братства. Но, сцепившись намертво в коммунистической идеологии с идеей классовой борьбы, они превратились в собственную противоположность. Свобода? От чего и для кого? И свобода заменялась ГУЛАГом. Братство? Это вы с кем брататься намерились – с кулаком, священником?

Ещё одна опасность идеологии – настаиваю: опасность! – в том, что, будучи замкнутой системой, она сопротивляется новым идеям и явлениям. Не случайно Андропов растерянно признавался, что руководство страны не знает общества, в котором живёт. Идеология, сформировавшаяся в промышленную эпоху, не обеспечивала адекватного понимания ситуации перехода к эпохе постиндустриальной.

И последнее – не по значению – идеологию формулируют победители. Она призвана навечно закрепить результат победы. Кто победил в 91-м? То-то же. Негласно идеология у нас существует. И сформулировал ее девелопер Полонский: «Тот, у кого нет миллиарда баксов, пусть идёт в ...» Не думаю, что осознав это, люди захотят закрепить подобное положение навечно.

– В своем слове на вручении «Большой литературной премии» в 2011 году вы сказали, что истинная элита – это читатели книг, «кто дышит волшебным воздухом библиотек». Нет ли у вас ощущения того, что время карантина, когда у людей стало больше свободного времени, вернет в той иной степени интерес к книгам сегодня?

– Карантин – внешнее ограничение. Распорядок жизни, навязанный извне. А тяга к чтению, знаниям, возвышению души – побуждение внутреннее. То, без чего человек не может. Дело не в карантине и не в том, что до него россияне читали мало. Во время изоляции также не зафиксирован резкий рост интереса к книге. Дело в человеке и тех условиях, той атмосфере, в которых он живет. Мы о них уже говорили. Произошел слом сознания, его переключили с высоких смыслов на низкие. Кто? Хозяева жизни, те же полонские...

– Вы лишь изредка даете интервью разным изданиям. Насколько вам интересен жанр интервью, как направление мысли сегодня?

– Очень люблю интервью. Нет, не как способ прославиться. Прочтет тысяча человек, какая тут слава. Интервью предоставляет прекрасную возможность для самоотчета. Тебе задают вопрос, и ты должен четко сформулировать – как ты видишь проблему и почему. Поиск обоснований побуждает отчетливее определить свою позицию и в конечном счёте помогает лучше понять себя.

Ещё одно достоинство жанра – интервью плод сотворчества, сотрудничества. Конечно, сплошь и рядом попадаются проходные материалы, но когда разговаривают заинтересованно, с душой, собеседники обогащают друг друга. Это ценно само по себе, но важно и принципиально. Сейчас люди разучились слушать. Каждый ведёт нескончаемый монолог, только его мнение важно. Хорошее интервью меняет парадигму: ответ без вопроса невозможен, оба представляют ценность. В сущности, речь не только о литературном жанре – любой формат взаимодействия заслуживает всемерной поддержки.

Константин ВАСИЛЬЕВ

Родился в 1952 году, окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор многочисленных пособий по английскому языку.

Готовил к печати для петербургского издательства «Азбука» серии «Русская словесность» и «Наследие», редактировал и снабжал примечаниями такие произведения, как «История кабаков в России» И. Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г. В. Есипова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского, «Имена» П. А. Флоренского, «Витязь в барсовой шкуре» Руставели. Сотрудничает с философским изданием Vox, печатается в журналах «История в подробностях», «История Петербурга», «Нижний Новгород», «Север», «Сибирские огни».

Живёт в Санкт-Петербурге.

ПО УЛИЦЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ, а не по проспектам Кой-кого и в тупиках Кой-чего

Вступительное слово, прерванное вопросом о том, любит ли автор Родину

Определив тему своего очерка, я не мог решить, каким образом подавать материал. Если сразу *брать быка за рога* и высказываться только по существу, хватит, пожалуй, нескольких предложений. Идея, в очерке заключённая, проста: в людских поселениях, как-то городах, посёлках и деревнях могут и имеют право быть: Садовая улица, Ивановский проспект, Красная или Кавалерийская площадь, Никитский бульвар, Строительный переулок, Трамвайный тупик, но не должно быть таких названий, как: улица Правды, проспект Иванова, площадь Красной кавалерии, бульвар Энтузиастов, переулок Строителей, проезд Такого-то десятилетия СССР, тупик Первой пятилетки...

Полагаю, читатель, способный рассуждать здраво и самостоятельно, без постоянной сверки с трафаретами, без оглядки на суждения прошлых и нынешних просветителей, вероучителей, любомудров, политических и идеологических работников, уже уловил мою мысль и со мной согласился. Ежели распространяться, объяснять и *долго втирать*, всё равно предвидится непонимание со стороны тех, кто с рождения как-то криво воспринимает всё происходящее, в ком преобладает тяга к суевериям, несуществующим тайнам и загадкам, к несообразному истолкованию людских поступков и взаимоотношений. Ежели кто с юношеских лет пребывает в плену сказочных видений или одурманен

каким-либо *единственно верным* учением, ежели ему в голову *втемяшились* те или иные небылицы, особенно утвердившиеся в обществе в виде *непреложных истин*, их, суеверия, мнимые тайны, видения, небылицы и *истины*, оттуда, из головы, *колом не выбьешь*. У кого-то из подобных людей имеются книжные полки, *уставленные отрядом книг*, как у Евгения Онегина в определённый период жизни, но владение большой библиотекой и даже прочтение многих произведений, художественных, исторических или философских не есть признак ума или образованности — в том смысле, что количество не переходит в качество, и к моим рассуждениям останутся глухи те, кто считает или даже настаивает: чем больше говорить, писать и напоминать, в том числе через городские именованья, о добре и добродетелях, тем больше добра будет в обществе, вплоть до того, что оно, добро, одержит окончательную победу над злом и пороками, и чем чаще звучат и длиннее тянутся разглагольствования о патриотизме и культуре, тем сильнее народ полюбит свою страну и тем культурнее он станет.

Поэтому, почти ничего ещё не сказав, я предвижу возгласы известного свойства: автор, считая, что *Правда* на может быть названием улицы, заявляет себя сторонником кривды? Или ему не по нутру наши красные кавалеристы и наши энтузиасты? Он против прославленного Иванова, чья фамилия была присвоена проспекту в торжественной обстановке под звуки духового оркестра и с произнесением пламенных речей? Ему не дороги наши культурные ценности? Или он Родину не любит?

Борьба за идеалы или за родительный падеж?

Не касаясь политики, не трогая веры в тот или иной идеал, не ввязываясь в какую-либо полемику, не нападая на лизоблюдов, я, заговорив о названиях, исхожу беспристрастно из грамматики русского языка, мой подход чисто филологический. И ещё я сторонник благозвучия.

Пусть я и ссылаюсь на грамматику, одним вступительным предложением я всё-таки успел нажить противников в среде тех, кого Николай Васильевич Гоголь назвал в своё время *разгорячившимися патриотами*. Оные оцетиниваются и слышать дальше не хотят, вопия то, что мы уже слышали тысячи раз: названия всему вокруг даются и должны даваться для увековечения наших лучших граждан и наших героических свершений, для воспитания молодёжи, чтобы подрастающее поколение помнило незабвенно нашу историю!

На моей памяти учебники по истории и справочники с изложением прошлых событий переписывались несколько раз, при этом в некоторых случаях со свержением когда-то почитаемых идолов и возведением на пьедестал новых кумиров, с вычёркиванием одних имён и внесением других. Какое историческое повествование считать правильным и какие герои, идолы и кумиры достойны того, чтобы *навечно* присваивать их фамилии (или клички, как в случае, например, с Лениным, Сталиным и Кировым) городу, улице, кораблю, воинскому подразделению, театру, любому городскому объекту или государственному учреждению?

Николай Васильевич считал, что *разгорячившиеся* имеют денежный интерес, что *все эти*, которые *юлят во все стороны*, лебезят перед властью и рядятся в патриотические ризы, заботятся о своём материальном благополучии: «Аренды, аренды хотят эти патриоты!» Сильно

сказано, с чувством, и даже как будто точно в цель, но позволю себе не согласиться: некоторые человеческие существа вступают в *народные* партии, сочиняют нудные, но *проникнутые любовью к Родине* статьи вовсе не ради чина, звания, должности и денег, были и есть бессребреники, которые, например (вспомним этапы *освободительного движения* в России), беззаветно верили в идеи Шарля Фурье, в социализм и марксизм, и ради них, идей, готовы были других убивать и за них же, за идеи, взойти на эшафот.

С первыми понятно, с теми, кто *аренды* ожидает за лакейство и верноподданничество, хоть при царизме, хоть при социализме, хоть в нынешнее время. Для них по большому счёту не имеет значения, как называется улица, на которой им предоставили или они сами обзавелись квартирой, пусть имени Малюты Скуратова, имени Народного комиссара госбезопасности Ежова или ещё кого-то или чего-то, была бы квартира с многими комнатами, высокими потолками и всеми возможными удобствами. Но на иных *бессребреников* смотришь: вся жизнь уходит у них на болтовню о правде и справедливости — о том, что в грамматике называется отвлечёнными существительными. Работники они, как правило, никудышные, годятся только как исполнители чужих приказов, да и то что-нибудь перепутают или испортят порученное дело какой-либо неожиданной личной *инициативой*. Родители они безалаберные, если вообще имеют детей, зато разбираются в педагогике: учителя плохо учат и воспитывают! В своём жилище они редко метут и моют, мирятся с тараканами и клопами, но они большие любители долгих разговоров и прений на серьёзные темы, они с жаром обсуждают, каким должно быть общественное устройство, и во главе угла в каждом разговоре у них про справедливость, не лично для себя, конечно, а *для народа*. Они кормятся подачками от государства, государство же поругивая, обвиняют кого угодно, только не себя, в том, что у них маленькая зарплата, прохудившийся потолок, проржавевшие водопроводные трубы и их ребёнку ставят в школе плохие оценки.

Бессребреников без особого труда привлекает себе в поддержку очередной *борец за правое дело*, они покупаются на разглагольствования каких-нибудь *пропагандистов* и *агитаторов* (как сказал бы Ф. М. Достоевский), вроде Буташевича-Петрашевского, который (по определению опять же Фёдора Михайловича) был человеком *вечно суетящимся*, только его дела порой *нуля не стоили*. И они, бессребреники, прозябающие в тесненьком жильё на проспекте Большевиков, на улице Пушкина или в переулке имени Третьего Интернационала, по личной инициативе или, скорее, по понуканию какого-нибудь современного коновода, ради своих целей разжигающего недовольство в обществе, пойдут с протестами к местному правлению на защиту *нашей культуры* и *нашего героического прошлого*, если возникнет предложение в их местожительстве вернуться к таким простым и понятным именованиям, как Садовая или Вербная улица, Овражный или Оружейный переулок, Щепяной или Земледельческий тупик.

Те читатели, которые сразу заподозрили, что автор не верит в правду, в официально признанных героев и безразличен к нашим культурным ценностям, встрепенутся: очеркисту даже Пушкин не угодил, ему улица Пушкина не нравится, он настроен против нашего великого поэта! Отвечаю: я против родительного падежа. Как так? Упразднить его в русском языке я, естественно, не предлагаю, я возражаю против его использования в названиях. Если кому всё ещё непонятно, приведу

наглядный пример: в людском поселении может быть Пушкинская улица, но не должно быть улицы Пушкина. Как не должно быть проспекта Иванова или площади Сидорова, бульвара Чего-либо или переулка Такого-то многолетия такого-то события.

Птичья любовь к родным местам

Когда заходит слишком горячий или *пристрастный* разговор о патриотизме, мне вспоминаются перелётные птицы. Они появляются на свет и гнездятся в северных краях, подчас на голых скалах, куда, вдобавок ко всем неудобствам, навеваются прожорливые хищники. На зиму птицы улетают на юг, преодолевая огромные расстояния. Казалось бы, почему им не остаться в тёплом климате и не мучить себя долгими перелётами? Однако птицы возвращаются на север. Происходит это по естественной тяге к родной земле, к привычной среде обитания. А не потому, что скалы увешаны полотнищами с призывами всем сердцем любить землю, на которой ты родился, где тебя кормили отец с матерью, где тебя *государство воспитало*. И не потому, что всем щелям, выступам, скатам и обрывам, как и всем гнездовьям, были даны патриотические названия. И не потому, что в птичьем сообществе завелась, обособилась и возвеличилась каста *идеологических работников*, полезным трудом не занимающихся, но с помощью нудной устной и наглядной агитации (а то и прибегая к палке) убеждающая простых членов сообщества, чтобы те любили отечество, выполняли местные обряды, хранили культурные ценности и не отклонялись от местных верований.

Среда обитания с постоянным переименованием

Живу я в Петербурге на проспекте с грамматически правильным и благозвучным названием *Измайловский*. Правильная грамматика в том, что существительное мужского рода *проспект* имеет при себе прилагательное мужского рода, и это прилагательное, именно *Измайловский*, согласуется с существительным *проспект* в роде, числе и падеже.

Не каждый помнит правила о согласовании, управлении и примыкании из школьного учебника. Собственно, русскому человеку нет в них нужды; даже тот, кто не посещал никакого учебного заведения, пребывая в русской среде, слыша с рождения русскую речь, будет правильно выстраивать предложения из существительных, глаголов и других частей речи. И мне, филологу, тоже не требуется напоминать себе: склоняя *Измайловский проспект*, соблюдай согласование! — если я возьмусь рассказывать о нашем квартале: Измайловский проспект возник в Измайловской слободе и был проложен в 1740-х годах; на пересечении Измайловского проспекта с Троицким проспектом стоит собор Святой Троицы; в 1923 году Измайловскому проспекту дали другое название, он стал на два десятилетия, до 1944 года, проспектом Красных командиров.

Причину переименования объясняет официальный документ, где казённый слог органично дополняет содержание: *с целью искоренения дореволюционных понятий и замены их на советские*. Что-то воровское слышится в этом обосновании, вы не находите? Если я не ошибаюсь, уголовники настаивают на том, что нужно *жить по понятиям*, и они признают только *свои понятия*.

Из известных построек на Измайловском проспекте отмечу бывшие казармы гвардейского Измайловского полка, упомянутый Троице-Измайловский собор, служивший означенным гвардейцам полковой церковью, и особое внимание привлекает памятник Славы перед собором. Приведу для его описания несколько строк из путеводителя по Петербургу:

«Памятник Славы был воздвигнут в Санкт-Петербурге перед Троицким собором в честь подвигов русских войск, принимавших участие и победивших в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Памятник был сооружён в 1886 году <...> Памятник представлял собой 28-метровую колонну, сложенную из пяти рядов пушек, отбитых в войну у турок. <...> Пьедестал памятника имел высоту около шести с половиной метров, со всех четырёх сторон которого были вделаны бронзовые доски с описаниями основных событий войны и названий воинских частей, принимавших в ней участие».

Колонна, сложенная из турецких пушек, издали привлекает взгляд, она возвышается почти на тридцать метров и на возвышенные мысли порой настраивает: были люди в давние времена, богатыри, могучее, лихое племя! Но почему глаголы в зачитанной статье стоят в прошедшем времени? Хороший вопрос. Я намеренно сделал выписку из устаревшего издания. В советское время, сколько я себя помню, никакой колонны на Измайловском проспекте не было. На её месте, теряясь на фоне большой, сильно обветшавшей недействующей церкви, имелся невзрачный памятник архитектору В. П. Стасову, но мало кто связывал бронзовый бюст на прямоугольном столбике с Троицким собором – творением указанного Стасова. Многие жители нашего Ленинского района, как и прохожие с приездами, скользнув взглядом по бронзовой голове, думали мимоходом, другими мыслями весьма обременённые: памятник какому-то революционеру, какому-то партийному или советскому деятелю.

И думалось так не без причины, ибо после 1917 года в Петрограде, как и в каждом населённом пункте бывшей Российской империи, началось повальное *отречение от старого мира*, не закончившееся, к нашему счастью, полным его уничтожением; а ведь именно к полному уничтожению призывали сочинители известной революционной песни: *разрушим до основанья* прежнее общественное устройство, названное ими *миром насилья*.

В своей книге «Имена» Павел Флоренский приводит отрывок из статьи Льва Троцкого (напечатанной в газете «Рабочая Москва», в № 14 за 1922 год), где звучали требования ускорить *смену понятий* – в столичной Москве, и, нужно понимать, по примеру Москвы во всей стране.

«Пора дать, наконец, заводам и фабрикам советские имена. Наряду с именами вношу предложение: 1) предложить заводоуправлениям, по соглашению с завкоммами, представить на общее собрание заводов несколько названий на окончательное голосование самой массы; 2) окончательное утверждение названия принадлежит Московскому Совету; 3) вся эта работа переименований должна завершиться до 5-й Октябрьской годовщины; 4) празднование имени заводов и фабрик приурочить ко дню Октябрьской годовщины; 5) строжайше воспретить, после определённого срока называть заводы в официальных документах, заявлениях, речах, статьях и проч. — именем бывших владельцев».

В том же году Путиловский завод в Петрограде стал «Красным путиловцем» (с декабря 1934 года и поныне он «Кировский», названный

так после убийства С. М. Кирова). Не знаю, произошло ли данное переименование по директиве Троцкого. Но многочисленные изменения, произведённые через год после его статьи, были однозначно приурочены к *5-й Октябрьской годовщине*.

Троицкий проспект (между Измайловским и Лермонтовским проспектами) был известен моему и предыдущим поколениям как проспект Москвиной; его переименование состоялось в 1923 году в честь Н. М. Москвиной, *советского партийного и профсоюзного деятеля*. Рижский проспект (от Лермонтовского в сторону порта) был знаком нам только как проспект Огородникова: в том же 1923 году его назвали так в честь И. В. Огородникова – *активного участника Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде...* Понятно, что историю пишут победители; они же переименовывают улицы, города, а то и целые страны в честь своих князей, предводителей и героев. То, что Троице-Измайловский собор, созданный В. П. Стасовым, закрыли в 1938 году – объяснимо: советский атеизм был *воинствующим*, настроенным на подавление и даже искоренение христианства и прочих религий и культов. Название проспекта *Измайловский* стало *дореволюционным понятием* – не очень понятно, по какой причине. Но, главное, памятник Славы по каким соображениям снесли в 1930 году? Напоминал он о *подвигах русских войск, принимавших участие и победивших в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов*. Что в этом нашли антисоветского или антикоммунистического?

Колонну отлили заново и установили в 2005 году. Глядя издали, можно принять её за один из старых петербургских монументов и порадоваться: как у нас ценится и охраняется культурное наследие! Лично мне помнится, что памятник перед отремонтированным и вновь открывшимся Троицким собором – новодельный. Я уверен, что его сносу предшествовал горячий патриотический порыв, единодушное *голосование массы*, и непременно звучали речи про культуру: *разделяваясь со старьём, художественных достоинств не имеющим, мы расчищаем место для нового, подлинного искусства!*

Если идти от Измайловского проспекта в сторону Невы, сразу за мостом через Фонтанку лежит Вознесенский проспект, один из старейших в Петербурге, с дальним видом на Адмиралтейство. Вознесенский, не раз упомянутый в художественных произведениях, в том числе у Ф. М. Достоевского, в советское время именовался проспектом Майорова, и городской район по ту сторону Фонтанки, к северу от нашего Ленинского, назывался Октябрьским – в честь большевистского переворота, понятно, а не по осеннему месяцу октябрю. А кто такой Майоров? В ленинградском путеводителе 1986 года писали:

«На пересечении канала <Грибоедова> с проспектом Майорова, названным в память о герое гражданской войны П. В. Майорове, проходит Вознесенский мост <...>. В течение почти двух столетий проспект также именовался Вознесенским – по церкви, построенной здесь, на левом берегу Кривуши, в 1728 году и возведённой заново в 1760-х годах архитектором А. Ринальди (не сохранилась). Два угловых дома у моста связаны со страницами революционного движения...»

Архитектору Ринальди повезло меньше, чем архитектору Стасову. В каком смысле? В том, что ему не поставили бюст на стогнах Санкт-Петербурга, известного также как Петербург, Петроград и Ленинград? Нет, я имел в виду, что стасовский Троицкий собор на Измайловском проспекте, хотя его и закрыли на несколько десятилетий, уцелел,

а Вознесенская церковь, построенная итальянским зодчим, *не сохранилась*, её сровняли с землёй, и от неё осталось одно воспоминание.

Когда Петербург именовался Ленинградом, нам рассказывали, что Вознесенский стал проспектом Майорова в честь героя Гражданской войны, *предательски убитого* в 1919 году во время *контрреволюционного мятежа*. Мы верили тому, что нам говорят, но, оказывается, ещё до войны высказывались сомнения: был ли тот, кого увековечили, тем Майоровым, который такой памяти достоин, ибо, вроде бы, существовал провокатор с такой же фамилией... В 1991 году на перестроечной волне проспекту вернули прежнее название, так что, наверно, справедливость восстановлена? Наверно. Архитектурное творение Ринальди, правда, уже не восстановить: на месте Вознесенской церкви давно построили школу. Мы не станем сносить учебное заведение, дабы заменить его культовым, так ведь?

Вот что печально, если не трагично: уличные таблички можно снять, новые взамен прежних повесить, потратив в очередной раз казённые деньги, но не вернуть к жизни великое множество русских людей, во время и после Революции погибших и убитых за неосуществимую коммунистическую идею, ради сказочного *Светлого будущего*. Россия по-прежнему занимает шестую часть суши, только населения на бескрайние просторы не хватает, и пока мы избавлялись от *врагов народа* и пели, что *широка страна моя родная*, другие племена в других государствах сильно расплодились и размножились, и как бы они не попросили нас поделиться широкими, но пустующими просторами... Что касается патриотизма, культуры, добра и равноправия, предаваясь долгим рассуждениям на эти темы, полезно, мне кажется, иногда отрезвлять себя следующей очевидной мыслью: в случае чего, а именно при нехватке продуктов (а не моральных и культурных ценностей), новые *преобразователи* закричат: все на борьбу против власти и богачей, виновных в том, что нам нечего есть, вперёд за правду и справедливость! — и тут же соберутся толпы и, кто от безысходности, кто в щенячьем восторге, кто в пьяном угаре, кинутся грабить магазины и растаскивать музеи, присваивать чужое добро и жечь дома: раззудись плечо, размахнись, рука, пришла желанная пора всеобщей свободы!

Кто платит?

Представим, что вас назвали при рождении Иваном, а через какое-то время отец с матерью решили перекрестить вас в Петра или Сидора. Зачем? А так им захотелось! Накатила на них такая блажь, вожжа им под хвост попала. Или, предположим, при вашем рождении они боготворили начальника Ивана Ивановича, в честь которого вас первоначально нарекли, потом они стали сильно уважать Петра Петровича, ему на смену пришедшего или поставленного, затем им полюбили всей душой Сидор Сидорович. Мы слышим время от времени занимательные истории: некие личности придумали своему отпрыску имя из нескольких цифр, другие настояли, чтобы их сына зарегистрировали как *Люцифер*... С одной стороны, это семейное дело, не общественное, ибо родители ребёнка до его совершеннолетия значительные права имеют, так что пусть они хоть горшком его именуют, лишь бы в печь не совали. С другой стороны, родительская глупость или юродство плохо отразятся на юном существе, оно, существо, будет страдать, поскольку

сверстники будут над ним, обладателем цифрового или сатанинского имени, издеваться; и, если родители не одумаются, отрок, выйдя из-под родительской опеки, сам обратится в соответствующие государственные службы, дабы получить нормальное имя. В любом случае, при каждом переименовании, хоть по прихоти, хоть по недомыслию, хоть для исправления прежнего недомыслия, пусть гражданин фамилию, имя или отчество меняет, ему придётся деньги платить, и, как я понимаю, не один раз, так как новое именование потребует внести во все документы, на гражданина ранее выписанные.

При советской власти если старой улице (или поселению) давали новое название, платить не требовалось. То есть платить было нужно, но не из *своего* кармана. Главные начальники выступали с предложением, как Лев Троцкий в 1922 году, подчинённые принимали к сведению и отдавали распоряжения, а исполнители отправлялись снимать одни таблички и вешать другие, по заказу изготовленные, — на деньги, из государственной казны без возражений отпущенные. Нынешний Московский проспект, отстоящий от нашего Измайловского на длину Первой Красноармейской улицы, именовался первоначально Забалканским, после Революции он стал Международным, в 1950 году ему присвоили имя Сталина... А проспект длинный, больше девяти километров. Представьте, сколько новых табличек пришлось наштамповать, и какая морока была потом чиновникам в районном и городском масштабе, как и квартиросъёмщикам, на означенной магистрали проживающим, во всех документах переправлять сведения: *Международный* на *Сталина*, потом *Сталина* на *Московский*.

Прошло время *яростных атак* (как пелось в советской песне), нам не обязательно встречать с ликованием и поддерживать долгими рукоплесканиями любую придумку коммунистических вождей, направленную на увековечение своего правления и выдаваемую за волю народу. Может быть, в вопросах городской топонимики ввести денежный расчёт, существующий для частных лиц? Являются в местный орган власти некие *активисты*, подают заявление: мол, для должного прославления *настоящих* героев, для восстановления исторической справедливости требуется переименовать, например, улицу имени Ежова в улицу имени Белкина, или, скажем, проспект Большевиков в проспект Меншевигов. Для красного словца активисты вернут и про укрепление патриотизма, про воспитание духовности — особенно у подрастающего поколения; и *подписи народных масс* у них имеются под заявлением, то ли настоящие, то ли поддельные, то ли добровольные, то ли за мелкие подачки приобретённые. А в местном городском или районном Совете отвечают подателям заявления: заранее оплатите смену всех табличек и указателей, и также перерегистрацию всех документов для казённых и частных учреждений, на улице расположенных, и для граждан, там же проживающих! Глядишь, активисты и поутихнут.

Увлёкшись мыслью о действенности денежного расчёта, я, однако, вовремя сообразил, что предаюсь рассуждениям, которые называются отвлечёнными. Умствований о том, как *правильно* поставить то или иное дело, мы наслушались более чем достаточно всяческих фантазий мы начитались у Платона, Томаса Мора, Шарля Фурье и особенно у Карла Маркса, *одержимых страстью выдумывать и устраивать будущее*: витая в облаках, перечисленные любомудры во всех своих вроде бы благих придумках о правильном устройстве общества не учитывали природу человека, его животное начало; *гиганты мысли* подобного рода,

как сказано весьма выразительно у Достоевского в «Бесах», ничего не понимали в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком, и всё, ими придуманное, годится разве для воробьев, а не для общества человеческого.

Деньги, следует признать, более надёжное мерило, нежели *моральные ценности*, но, если следовать здравым рассуждениям, я предвижу следующее развитие событий: являются к местному начальству не активисты со своими политическими или религиозными предпочтениями, со своими понятиями о культуре, правде и справедливости, и не обязательно ожидающие *аренды* за свою общественную работу, а приезжает господин, разбогатевший на ловком присвоении природных богатств, в течение семидесяти лет бывших *народным достоянием*, то есть вроде бы общим, государственным, но как бы и ничьим, бесхозным, и господин заявляет, что ему хочется видеть своё имя на всех домах такой-то улицы. И он готов всё оплатить. Вообще, он, недавно купивший для своего не единственного автомобиля за умопомрачительную сумму особый номерной знак, дабы отличаться и в этом от простых россиян, он готов заодно приобрести всю недвижимость на полюбившейся ему улице...

Я испугался картины, нарисованной воображением, и от денежного подхода отказываюсь, возвращаясь к предложению о подходе грамматическом.

Грамматический подход

В городских названиях нарицательное существительное *улица* должно иметь при себе прилагательное соответствующего рода, то есть женского. Примеры подобных наименований: улица Садовая, Кленовая, Тополиная, Андреевская, Васильевская, Ивановская, Петровская, Гвардейская, Солдатская, Танковая, Советская, Апрельская, Мартовская, Майская, Южная, Восточная, Яблочная, Ягодная. К существительному *площадь*, которое в русском языке тоже женского рода, подбираются названия из огромного выбора прилагательных: Биржевая, Вокзальная, Гостинодворская, Дворцовая, Земледельческая, Лондонская, Минская, Парижская, Пушкинская, Республиканская, Торговая, Церковная, Ямская.

Для приморской набережной украшением будет уместное прилагательное женского рода, такое как: Адмиральская, Капитанская, Корабельная, Морская, Нахимовская, Ушаковская, Парусная, Победная, Севастопольская, Флотская, Чесменская.

В названии проспекта, переулка и проезда требуется прилагательное в мужском роде. Например: Московский, Невский, Петроградский, Ломоносовский, Суворовский, Кутузовский проспект; Хлебный, Дровяной, Кузнечный, Мясной, Мучной, Скобяной, Соляной, Щепяной переулок; Трамвайный, Фонарный, Каретный проезд.

В старых городах встречаются тупики, к ним для названия подбираются прилагательные мужского рода: Хлыновский, Хоромный, Хорошёвский... Некоторые именованья в своём очерке я придумал, дабы избежать обвинений, будто я не уважаю ту или иную *увековеченную* личность; сейчас я привёл названия трёх действительно существующих московских тупиков, при этом, разглядывая карту Москвы, я обратил внимание на то, что *смена понятий*, предпринятая в советское

время для *искоренения* всего дореволюционного, мало или совсем не коснулась городских тупиков. Возможно, власти чувствовали, что будет некрасиво и даже как-то контрреволюционно звучать: тупик Коммунизма, тупик Интернационала, тупик имени Сталина...

Как мне кажется, названия московских тупичков в большей степени патриотичны, если можно так выразиться, нежели казённые, шаблонные именованья, в советский период городским объектам даваемые: бульвар Красных Зорь, улица Мира, площадь Труда, проспект Энтузиастов, Строителей, Коммунаров, Геологов, Стачек... Стачек? В данном неуклюжем названии неодушевлённое существительное *стачка* (что значит *забастовка*) использовано во множественном числе и поставлено в родительном падеже. В Петербурге проспект Стачек начинается от площади Стачек, идёт через Кировский район и после пересечения с проспектом Маршала Жукова переходит в Петергофское шоссе. В названиях московских тупиков правильная грамматика: Басманный, Краснопрудный, Крестьянский, Кузнечный, Ордынский, Сретенский, Сходненский... И в сих именах, если уж говорить о культурных ценностях и любви к Отечеству, — отзвук подлинной истории, в них напоминание о Московском царстве и сложившемся вокруг него Российском государстве.

По-моему, хорошо и правильно, когда название напоминает об определённой прослойке населения, о занятиях, промыслах и ремёслах, которыми занимались местные жители: Дворянская, Княжеская, Купеческая, Мещанская, Рабочая, Артельная, Артиллерийская, Полковая, Монетная, Пороховая, Столярная, Слесарная, Земледельческая улица; Дегтярный, Певческий, Посудный, Пушкарский, Самоварный, Свечной, Смоляной, Таганский переулок; Седельный, Мануфактурный, Ткацкий, Фабричный проезд; Глинобитный, Парусный, Путевой, Складской, Яхтенный тупик.

Мост может быть Крымский, Дворцовый, Большой и Малый Каменный, Измайловский, Обуховский... В советские годы в Ленинграде был мост лейтенанта Шмидта. Его первоначальное название – Благовещенский. В 1855 году, после смерти императора Николая I мост переименовали в Николаевский. В 1918 году ему присвоили имя Петра Петровича Шмидта, *революционного демократа*, возглавившего восстание на крейсере «Очаков» и расстрелянного в 1906 году. Теперь мост снова называется Благовещенским – и благозвучно, и правильно с точки зрения русской грамматики. И, как я вижу, некоторые нынешние историки описывают революционные события в Севастополе в 1905 году без одностороннего одобрения, которое присутствовало в исторических трудах и школьных учебниках в советский период.

Поскольку вспомнился, к слову пришёлся лейтенант Шмидт, я повторю мысль, высказанную ранее: человек, считавшийся героем для какой-то части населения или в определённый исторический период, не обязательно воспринимается героической личностью в следующих поколениях. В 1923 году, как я говорил, Вознесенскому проспекту, под звуки духового оркестра и под выкрики о скорой мировой победе коммунизма, присвоили *революционное* но, возможно, случайно подвернувшееся или кем-то подсказанное имя: будет в честь Майорова, но, видимо, позже спохватившись: а кто он такой? – и притянули к названию Петра Васильевича Майорова, *политработника, погибшего во время Гражданской войны* (повторяю слова другого источника, не совсем совпадающие с тем, что мы уже слышали). В 1855 году

общественность то ли из уважения, то ли из лакейства, но, думаю, скорее подлаживаясь вяло и покорно под принципы *православия, самодержавия и народности*, выступила с предложением увековечить память об императоре Николае в названии невского моста: был Благовещенский, пусть станет Николаевский. Лейтенант Шмидт был казнён как государственный преступник. Большевики, захватившие власть в 1917 году, объявили Николая I угнетателем, крепостником, даже палачом: мол, по его приказу казнили декабристских вождей. Лейтенанта Шмидта после Революции провозгласили борцом за свободу и жертвой царского режима, и мосту, носившему имя бывшего императора, присвоили имя бывшего государственного преступника.

Сегодня исследователь, взявшийся объяснять наше прошлое, имеет право быть беспристрастным. Он не обязан раскрашивать всё или в белое, или в чёрное, разделять участников Революции и Гражданской войны на хороших, то есть тех, кто присоединился к большевикам, и плохих, кто выступал против коммунизма. Идеологические работники не требуют от нас подчёркивать в каждом историческом исследовании, что только большевики не заблуждались, не ошибались и всегда проводили правильную политику. В целом, мы отказались судить непримиримо по известному шаблону: если кто не за нас, тот против нас. И коли так, поскольку в Невском районе Петербурга есть проспект Большевиков, давайте назовём — ради согласия, примирения и народного единства — какую-нибудь новую магистраль в тех же разрастающихся новостройках проспектом Меньшевиков, и к существующему Красногвардейскому мосту добавим Белогвардейский... Я уверен, что подобные действия, имеющие, казалось бы, примиренческую направленность, натолкнутся на противодействие каких-то известных личностей, определённых группировок или даже слоёв населения, возникнут споры, больше похожие на препирательство, и как бы не произошёл, вместо примирения, ненужный всплеск враждебности. Давайте откажемся и от большевиков, и от меньшевиков — от именовании с их упоминанием. Когда улица Садовая, площадь Торговая, переулок Фарфоровый, — это способствует гражданскому спокойствию, и когда мост Лебяжий (есть такой в Петербурге), пусть он остаётся таким со дня постройки на все времена, не вызывая своим именем возражений у соперничающих политических сил, не раздражая приверженцев разных идеологий и верований.

В названии не должно быть существительного в родительном падеже, который указывает прежде всего на принадлежность, например: машина (чья?) отца, улицы (чего?) города. То есть неприемлемы наименования, получившие в силу недомыслия, казённого подхода или низкопоклонства сильное распространение, такие как: улица Иванова, проспект Петрова, площадь Сидорова, бульвар Новаторов, проезд Геологов — в подобных случаях, строго говоря, требуется добавлять имени: улица *имени* Петрова, переулок имени Пушкина, проспект имени Карла Маркса, бульвар имени Новаторов, но, согласитесь, если каждый раз так писать и произносить, это будет тупая канцелярщина.

Название должно склоняться в полном виде по всем падежам, следуя правилам русской грамматики: Тверская улица, по бокам Тверской улицы, любоваться Тверской улицей, идти по Тверской улице; кто-то пишет очерк о Невском проспекте и Дворцовой площади; кто-то проживает в Каретном переулке, кто-то предлагает дать другое название Грязному тупику... А бывает иначе, что название не склоняется? Бывает. Например, есть в Петербурге улица Турку. Далекое не каждый

петербургский житель знает, и приезжие гадают: в том районе что-то связано с турками? Зачем вводить в язык, засорять его незнакомыми, малознакомыми, редкими, необычными и непривычными словами? Кто-то нам объяснит: назвали в честь финского города Турку. Это имя собственное из разряда тех, которые не вписываются органично в русский язык, и прилагательное от него тоже не образует. Что делать? Ответ простой: не давать городским объектам подобные именованья. Мне возразят: Турку — город-побратим, его из благородных побуждений внесли в своё время в топонимику Ленинграда. Если побратим, повесьте в актовом зале городского Совета мраморную красочно оформленную памятную доску со списком всех родственных и дружественных мест (а их, кстати, десятки), включая Турку. Если хочется выделить и подчеркнуть дружеские связи с Финляндией, пусть в городе будет Финская улица (и в городе давно есть Финляндский вокзал).

К западу от Измайловского моста, ниже по течению Фонтанки, находится Старо-Калинкин мост, от которого начинался и тянулся до площади Стачек проспект Газа. Кто-то по простоте считал, что он имеет отношение к бутану, пропану или иному газообразному веществу. Мне почему-то думалось, что название дано в честь доктора Га́аза, и немецкое *Naass* упростили до *Га́за*. Я ошибался: бывшая Лифляндская улица, проложенная в Лифляндском предместье, стала в 1922 году проспектом Юного Пролетария, в 1933 году проспект переименовали в честь Ивана Ивановича *Газы*, секретаря Ленинградского комитета ВКП(б). То есть большевик был Газой. Или я снова ошибаюсь, теперь с падежной формой его имени? Как утверждают краеведы, следует произносить с ударением на последний слог: *Газа́*. Тогда, видимо, фамилия не склоняется? Но все ленинградцы произносили с ударением на первый слог. Склонять никто не решался, не ведая, как будет правильно.

В Нарвском районе была и улица Газа (бывший переулок имени Газа, бывший Шёлков), в честь того же человека. Оба названия упразднили после Перестройки. А в Москве, как я читал, не так давно появилась улица Доктора Гааза. Не знаю, как они произносят название, правильно или неправильно, склоняют его или не склоняют... И я повторю свой вопрос: к чему создавать искусственно языковые сложности? В городе должны быть всем понятные именованья, не допускающие, скажем так, *вольного обращения*.

Из названий следует вывести те, в которых по два, а то и по три существительных: улица Строителя Иванова, площадь Садовника Петрова, набережная Мичмана Сидорова, проспект 60 лет образования СССР, улица 40 лет Октября... Последние два примера подсказывают, что, ко всему прочему, в именовании не должно быть чисел и сокращений.

Вот, собственно и весь грамматический подход, изложенный мною, надеюсь, доходчиво и убедительно. Ах да, я говорил ещё о благозвучии.

Благозвучие

Склонять существительные и прилагательные для русского человека не составляет труда, для этого не требуется что-то заучивать, это усваивается ребёнком по мере взросления. По поводу падежных окончаний в городских именованьях не ожидается разногласий. Насчёт благозвучия предвидится спор и столкновение противоположных мнений, ибо кому-то ласкает слух музыка Чайковского, исполняемая в неболь-

шом зале с хорошей акустикой, кого-то убажает дикий рёв зрителей на трибунах огромного футбольного стадиона. Не затевая спора о звуковых предпочтениях, ограничусь одним правилом, *поверяя гармонию арифметикой*: в названии не должно быть больше трёх идущих подряд согласных. Например, для улицы мы принимаем прилагательные *Амурская, Ангарская, Донская, Дунайская, Днепровская, Ленская, Невская*. Площадь пусть будет *Лондонская*, но не *Дуврская*, проспект *Парижским*, но не *Гаврским* или *Нантским*.

Нет нужды *ломать язык* и спотыкаться на сращении нескольких согласных звуков. И незачем подталкивать к орфографическим ошибкам обывателей, пытающихся (или и не пытающихся) запомнить, например, что в названии *Фуриштатская* (есть такая улица в современном Петербурге) не требуется вставлять в середине букву *д*, тогда как в названии *Кронштадтская* означенная буква, по правилам, необходима. Замечу по ходу дела, что, когда к объяснениям подключаются филологи и краеведы, вопрос не обязательно проясняется. Нас уверяют, что *Фуриштатская* идёт от немецкого *Fuhrstaat*, что значит *военный обоз*, а в словах *Кронштадт* и *Кронштадтская* присутствует немецкий корень — *stadt* (город). Насчёт последнего не спору: мы находим *stadt* в названиях некоторых немецких поселений; мне по старой памяти приходит на ум Карл-Маркс-Штадт (по-немецки *Karl-Marx-Stadt*), старинный Хемниц, носивший в годы, пока существовала Германская Демократическая Республика, имя человека, считавшего, что всё в обществе будет налажено по справедливости, как только государственная власть окажется в руках пролетариев.

Корень *stadt* присутствует в заимствовании *форштадт*, от немецкого *Vorstadt*. Заимствование, замечу, излишнее, ибо в русском есть соответствие *предместье*, и можно также использовать *пригород*. Бездумным засорением русского языка издавна, особенно со времён Петра Первого, занимались правящие классы. Повторяю, *stadt* поддаётся объяснению, а существительного *Fuhrstaat* в немецком языке нет (по крайней мере, в современном его варианте).

В 1866 году в Москве вышел обстоятельный справочник А. Д. Михельсона с названием «30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык»... Подумать только, тридцать тысяч единиц, в основном замещающих или дублирующих то, что в русском языке имелось! Михельсон приводит другое написание: *Furhstatt*. И даёт следующее толкование: «Фурштат *нем.* Furhstatt — артиллерийский обоз». Однако, если вы помните, Л. Н. Толстой имеет в виду живых людей, солдат, а не бездушный обоз, когда пишет в «Казаках»: «Фурштаты забивали колья для конюязи».

Так что правильное будет объяснение А. Н. Чудинова, который мы находим в его «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (1910 год): «Фурштат, фурштатские бригады (*нем.*). Военные чины, состоящие при артиллерийском и других военных обозах».

Нужно ли всё это знать, помнить, учитывать городскому обывателю? Не нужно.

Такие уличные названия, как *Фуриштатская, Кронштадтская, Петербургская* или *Петербургская, Кронверкская* не кажутся мне благозвучными. В моём понимании, *благое звучание* имеют слова, где примерно равное количество гласных и согласных, где, если согласные и преобладают, их не более двух подряд: улица Болотная, Боровая, Булатная, Еловая, Заречная, Моховая, Лесная, Парковая, Речная, Садовая,

Сосновая; площадь Вокзальная, Конная, Лубянская, Портовая, Сенная, Славянская, Театральная; переулок Бумажный, Гончарный, Кузнечный, Льняной, Ситный, Церковный; проезд Банный, Восточный, Западный, Южный, Травный, Полевой, Прачечный; набережная Мореходная, Прогулочная, Парадная, Парусная, Якорная.

На мой взгляд, прилагательное, используемое в названии, не должно быть чрезмерно длинным, как, например, *Каменноостровский* в названии петербургского проспекта. Бывшая дорога на Каменный остров, часть этой дороги, называлась когда-то, если я не ошибаюсь, Ружейной улицей, идущей от Невы к Оружейному двору. Названный Каменноостровским ещё до Революции, проспект стал в 1918 году улицей Красных Зорь, которую сразу после убийства С. М. Кирова переименовали в Кировский проспект... Под *Красными Зорями* подразумевался не восход солнца — пусть красивое, но всё же обыденное природное явление, а зарождение коммунистической революции и её сияние, обещающее свободу, равенство и братство.

Напрашивается пример (играющий, скорее, не в мою пользу), который показывает существенную разницу мнений в определении, что считать благозвучным: известный советский поэт Александр Прокофьев, лауреат Сталинской и Ленинской премий, в отличие от меня, малоизвестного филолога, считал *Красные Зори* весьма поэтическим названием. В 1962 году в газетной статье Прокофьев, высказываясь о городских названиях (в общем, на ту же тему, что и я), восклицал: «Нужны красивые, звучные, поэтические названия. Говорят, что Анатолий Васильевич Луначарский дал имя улице Красных Зорь. Думаю, что это поэтическое имя следует снова дать одной из улиц Ленинграда».

То есть Луначарский, как говорят, придумал заменить *Каменноостровский* на *Красные Зори*, и пролетарский поэт Прокофьев успел обессмертить сие именование в 1929 году в своей «Песне улицы Красных Зорь», но, поскольку проспект стал Кировским, красивое и поэтическое название утратилось, о чём и сокрушался в 1962 году автор статьи. Сейчас в Петербурге в Невском районе есть бульвар Красных Зорь; возможно, это название возникло как отклик на публичное выступление Прокофьева, лауреата названных премий, Героя Социалистического Труда, делегата трёх съездов КПСС и почётного сотрудника ВЧК-ГПУ... Поскольку Прокофьев ранее меня поднимал тему городских наименований, я счёл нужным прочесть его «Песню улицы Красных Зорь»; не всё в ней показалось мне осмысленным, но, похоже, автор призывал к тому, чтобы в Англии поскорее началась пролетарская революция, после чего известной лондонской улице Пиккадилли — или всему Лондону? — непременно дадут поэтическое имя, ему, Прокофьеву, весьма приглянувшееся:

Иностранное небо разбужено нашей грозой.
Я не вижу других вариантов:
Золотая страна Пиккадилли
Называется запросто:
Улица Красных Зорь!

Некоторые громоздкие прилагательные легко сократить, убрав первый из двух составляющих корней: вместо *Краснопресненская*, *Краснопутиловская*, *Краснофлотская*, *Красногвардейская* будут *Пресненская*, *Путиловская*, *Флотская*, *Гвардейская*, что не только легче произносит-

ся и пишется, но и способствует, согласитесь, примирению и народному единению.

Заговорив о длинных прилагательных, придётся сказать о коротких, точнее, кратких притяжательных — их довольно много в русских именовании, и, как мне кажется, их использование приводит к путанице и искажениям. Например, в Петербурге есть Репищева улица, Замшина улица, Зеленина улица, Эсперова улица. Даже местные жители не знают точно, где ставить ударение в прилагательном *Эсперова*, которое образовано от имени *Эспер*; я полагаю, ударным должен быть первый слог, но большинство полагает иначе. *Рэпищем* называли в старину поле, где выращивается репа, но часть сегодняшнего населения уверена, что улице назвали в честь какого-то Репищева, чем-то прославившегося, — по сходству с Замшиной улицей, чьё название идёт от фамилии *Замшин*. По правилу, следует говорить: (я живу) на Замшиной улице, (закрыли на ремонт) Замшину улицу, но мы слышим в разговорах и читаем объявления о продаже квартир, о магазинах на улице Замшина. Улица Большая Зеленина, как сообщают, была когда-то Зелёной — по своей близости к пороховому заводу, где делали *зэлие*, *зэлье*, что следует понимать в данном случае как *огнестрельный порох*. В разговорной речи прилагательное *зелёный*, то есть *относящийся к пороху*, обкаталось и исказилось в устах населения до *зелёнин*. Теперь на вопрос о происхождении сам собой напрашивается тот же ответ: в честь какого-то Зеленина назвали — по сходству с улицей Иванова, Петрова, Сидорова, площадью Токаря Михайлова, переулком Столяра Николаева.

Для чего придавать просторечным, усечённым, неграмотным переделкам и искажениям официальный, скажем так, статус? Кто допускает подобное? Кто виноват? Конечно, начальство: куда оно смотрело!

В разговоре кто-то проглатывает окончания, кто-то шепелявит, кто-то гнусавит, кто-то ставит ударение на первый слог, кто-то на второй, не каждый вникает в смысл того, что произносит, в народных говорах, в том числе городских, множество удивительных искажений. Например, Оспенную улицу, когда-то существовавшую в Петербурге, необразованные обыватели называли *Воспенной*. Кому как взбрédёт в голову, тот так и говорит, но на карту города и в документы вносятся именовании, утверждённые городской думой, сельским правлением, областным или краевым советом. Как я вижу, власти довольно часто не то что уступали чьим-то требованиям, а по недомыслию допускали к *увекочечению* неграмотные коверкания, порождённые городскими низами.

А что если заменить *Санкт-Петербург* на шутивно-ласкательное *Питер* — поскольку так народ говорит?

Кто даёт названия?

Такое ощущение, что *хорошие* названия, то есть такие, против которых никто никогда не возражал, явились как-то сами: (город) Москва, Белгород, Кострома, Самара, Пенза, Новгород, Муром; (улица) Гороховая, Ивановская, Садовая, Тверская; (переулок) Арбатский, Банный, Дегтярный. А надуманные, данные в угоду кому-то или чему-то, появившиеся в приказном порядке, корявые, неблагозвучные, — порождения человеческие... Ограничусь одним примером: городу на Неве, основанному по прихоти Петра Первого, было дано нерусское название, и одни писали его на свой лад *Сант-Питер-Бурх*, другие

Санктъпетербург, третьи *Санктъ Питербурхъ*, и потребовалось какое-то время, чтобы остановиться на одном варианте; и всем известна чехарда с несколькими переименованиями.

Кто-то скажет, что следует устраивать опросы среди жителей, в том числе в новостройках при вселении в полученные или купленные квартиры: какое название, уважаемые товарищи и господа, хотите для вашей улицы? Получится тот ералаш, который мы наблюдаем в каждом населённом пункте без проведения каких-либо опросов. Потом, давайте не будем обманывать самих себя: решения всё равно принимаются начальством. Начальство, в лице Петра Первого, придумало *Сант-Питер-Бурх*; в 1914 году по указу Николая II город переименовали в Петроград; только твёрдое намерение советских властей *сменить понятия* привело к тому, что Петрограду в 1924 году присвоили имя Ленина; в 1991 году проводился референдум, дабы создать видимость, будто явилась, наконец, свобода высказывать открыто свои мнения и действовать не по указке, но было понятно, что город *всё равно* переименуют... Так что пусть начальники и дальше принимают решения по поводу названий – только руководствуясь не политическими целями, а правилами русского языка.

Выше я использовал словечко *ералаш*, которое особенно запомнилось мне по басне Сергея Михалкова «Слон-живописец»:

Слон-живописец написал пейзаж,
Но раньше, чем послать его на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть на полотно:
Что, если вдруг не удалось оно?

Продолжение предсказуемо: приглашённые высказывались в силу своего разума, согласно своим предпочтениям и вкусам:

– Ну, что же, – начал Крокодил, –
Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу...
– Что Нила нет, в том нет большой беды! –
Сказал Тюлень. – Но где снега? Где льды?
– Позвольте! – удивился Крот. –
Есть кое-что важнее, чем лёд!
Забыл художник огород.
– Хрю-хрю, – прохрюкала Свинья, –
Картина удалась, друзья!
Но с точки зрения нас, свиней,
Должны быть жёлуди на ней...

Если в выборе именовании прислушиваться к мнениям всех участников дискуссии, опроса, референдума, получится то, что получилось у Слона, подправившего свой пейзаж с учётом прозвучавших пожеланий, старавшегося *угодить на всех друзей*:

Взглянули гости на пейзаж
И прошептали: «Ералаш!»

Если отставить иносказания и исходить из действительности, какие-то граждане потребуют чего-то необычного и экзотического (такую экзотику мы уже имеем в *престижных жилых комплексах* с иностранными именованиями на латинице), кто-то обязательно за-

говорит о культуре и вспомнит Пушкина, ибо Пушкин у нас, прошу прощения, затычка на все случаи, и даже лица, ничего пушкинского не читавшие, при опросе общественного мнения вспоминают все имя прославленного поэта (изрядно затасканное и присвоенное всему, начиная от Музея живописи в Москве, как будто Пушкин был художником, до каждой второй или третьей библиотеки). Кто-то, разгорячившись, укажет, что у нас сильно повредились нравы, у нас молодёжь разболталась, старших не уважает, так что пусть в городе снова будет проспект Сталина, ибо при Сталине в стране был порядок.

Названия, повторяю, даются свыше – не с небес, а руководством, правлением, правительством. Даже если именование предложено значительной группой населения, в том числе заслуженными гражданами, требуется решение властей для его официального закрепления в документах, ибо, в конце концов, название не просто красуется на табличках, к стенам и столбам прикреплённых, оно необходимо для оформления документов при купле и продаже недвижимости, для доставки почтовых отправлений, для прописки граждан по месту проживания.

Платон считал, что в государстве править должны философы; это плод праздных мечтаний, одна из нелепых придумок для придуманного им идеального государства – идеального с его точки зрения, но неприемлемое для существования и продолжения рода человеческого. Во власть идут люди, способные руководить, а не предаваться фантазиям, и по большому счёту только городские власти, руководствуясь здравым смыслом и следуя грамматическим правилам русского языка, должны исправлять на карте подвластного города то, что появилось на ней в припадках чрезмерного энтузиазма, в верноподданнической горячке, по недомыслию или как следствие казённого мышления.

Рустам МАВЛИХАНОВ

Родился в 1978 году в Салавате, Башкортостан. Учился в Башкирском госуниверситете. Работал в заповеднике, сюрвейером в инспекционной конторе, инструктором по туризму в экотуризме.

Публиковался в журналах и альманахах «Журнал Поэтов», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Балтика», «Сура», «Воскресенье», «Изыщная словесность», «ЛиФФТ», еженедельнике «Истоки».

Живет в Салавате.

ШИХАНЫ

Безусловно, у каждого есть душа. Я не язычник, но тем не менее верю в это. Ведь, восхищаясь чем-то прекрасным, мы не скользим взглядом по пустому великолепию форм, а ищем в том что-то своё, близкое и знакомое, и потому всему, что мы любим и что нам дорого – будь то собака или камень, – мы даем свои, родные нам имена. И в человеке, красивом ли, нет ли, насытив глаз линиями тела и чертами лица, мы ищем то, что наполняет его смыслом и делает живым и понятным.

Так и гора. Представ в дали на рассвете или в блистательном полудне, удивив взгляд далеким совершенством, белоснежным величием (а наши горы белоснежны и в летний зной), она будит ту странную часть души, которая еще помнит, чем дышит земля и где струится и гремит жизнь, и манит, и не дает покоя. И, приблизившись к серой громаде, мысленно поднявшись по всем морщинам и складкам к вершине, вздыхаешь, прогоняя трепет, и – в путь. И если гора окажется достаточно скалиста и неспокойна, то здесь начинается танец – танец, который дороже самой вершины, танец, приоткрывающий саму душу горы.

Вот предо мною четыре шихана. Начну с малого.

Юрактау, в просторечье – Лысая (до чего же наш народ любит это имя), не вышла ростом, но в то же время не обделена популярностью. Потому и говорить о ней будет нелегко: немало людей избрало гору своей Меккой... Склоны ее, в общем-то, не очень крутые, с одной стороны обрываются отвесными скалами и в яркий летний день розовеют вдали кожей младенца. Младенца – не только из-за роста. С уфимской дороги эта гора кажется отпрыском более мрачной и увесистой Куштау, отколовшимся от нее то ли ребяточком, то ли догом. Этот ребенок... шаловлив? – вряд ли. Ведь нельзя же назвать шаловливостью ручей, бьющий из-под скал. Игрив? – скорее, ибо какая же дорога не любит играть с путником, какой же лес не попытается завести в чащобу, какая же скала...

Но это не котенок, что на забаву всем бегаёт за мышкой бумажной и вряд ли задушит живую; это не щенок, что всегда ласков и предан, – это человеческое дитя, милый и безобидный ребенок, лишь иногда – случайно – ломающий какую-нибудь погремушку, разок оторвавший мышке лапу, в общем – испытывающий окружающий мир «на вкус и прочность». И нельзя судить: детям незнакома человеческая мораль, почему же мы требуем ее от природы? И эта гора – всего лишь игривый, пышущий здоровьем и радостью, слегка жестокий ребенок; и маленькому человечку, который полезет играть с ее скалами, может выпасть немалая радость, а может... Тогда скажут, дескать, он выбрал маршрут, не соответствующий его подготовке.

Куштау (Долгая) тоже не прочь поиграть, да вот беда – желающих маловато: лес и утомительные склоны отпугивают людей, и потому ей приходится больше времени уделять себе – свойство взрослеющих детей. Таким детям уже не интересно целый день теребить кукол и машинки – они начинают заглядываться на облака и о чем-то мечтать, они уже не гонятся за каждой кошкой и способны просто любоваться бабочкой, не отрывая ей крылья. В них проскальзывает нечто, что позже – возможно – обернется в мудрость. Иногда они могут, сорвав цветок, часами вдыхать его аромат; или, затаив дыхание, смотреть на синицу, заскочившую в форточку; или, разлегшись на земле, направлять бег муравья, не давая ему уползти, по складкам ладони... Иногда гора, поймав человечка, который измельчал от котенка до божьей коровки, подолгу водит его по своим линиям судьбы и сердца, внезапно открывая долины и орлиные гнезда, спрашивая у этого странного создания: «Чувствуешь ли ты мою боль?»

Это человек, повзрослевший быстро. Мне неизвестно, каким он был раньше, но сейчас кажется, будто он и не ребенок вовсе, а многое повидавший и испытывавший старик. Они жили рядом долго, слишком долго для того, чтобы не забыть о своей смертности; они веками о чем-то переговаривались между собой, и ветра разносили их шепот, похожий на шелест самой вечности, по синим лесам... И вдруг (всё боится времени – время боится гор?!) кто-то из них быстро, в одночасье, погибает в судорогах и мелкой дрожи. Люди от страха седеют, но седина, бывает, красит их. Поседевший лес, умирая в скорбном молчании, не красит никого. Деревья просто ложатся под ноги своим еще живым сестрам. Такого количества упавших на землю черных стволов я не видел ни в одном лесу. Нигде он не погибает так, как на склонах этой горы, крича безнадежно... и безмолвно. Крик не спас даже гору, что уж говорить о каком-то...

Гримаса слов: гора с именем, которое мы традиционно воспринимаем как царственное, – Шахтау – та, которой поклонялись многие поколения, их потомками, лилипутами вокруг Гулливера, червями вокруг трупа, истерта в песок. Много страниц – возмущенных и восторженных, идеалистичных и прагматичных – исписано о ней. Но что можно сказать о мертвом? – либо хорошо, либо ничего. Можно спеть погребальный плач или – дифирамбы былой ее красоте, можно попытаться отомстить – только кому? – да ведь её не вернешь. Её больше нет, и с этим ничего не поделаешь. И что нам с того: урок? – люди коротки на память; боль? – она еще короче. И это конец.

Но смерть умеет не только обращать в горе и уныние, но и петь о своем величии, о своей, может, несколько жуткой красоте. Нередко лишь в смерти видна истинная ценность человека: некий гений умирает,

скорчившись от страха, готовый лобзать кого угодно – врача, палача, костлявую – лишь бы вымолить себе еще немного времени; некий юридический, умирая, оставляет по себе долгую память – и скажут после о нем: «Он был пророк, но угораздило ж его в отечестве своем остаться»; некто её спокойно встречает, воздаёт долги, одевается в чистое и засыпает; кто-то – в гневе или в истерике – продаёт жизнь: за ломаный грош или «как можно дороже»; а кому она и даром не нужна; кто-то в последний миг понимает ВСЁ (дай бог, чтоб не с ужасом); кому-то и десять смертей нипочём... Это – банальные истины, но люди поздно над ними задумываются, просто боятся их помнить, как дети боятся темноты. А потому и ищут величия где кто может: в звездном небе и вавилонской башне, в бескрайнем море и в строках древних, а еще – в седых горах...

Вы видели, как сияет Арарат в небе Еревана? За легкой сизой вуалью, будто оторванный от земли, он плывет в выси то ли недостижимым кораблем, то ли светлым божеством; и даже в ночи чувствуется далекое дыхание этого алмаза, и кажется, что пока стоит гора, стоит и город. Он не царь, его гордое одинокое величие само вызывает почтение и уважение пред благородным отшельником. Смешно, наверное, сравнивать Торатау (Шихан) с высочайшими пиками, но ведь суть не в росте: в Ютландии есть гора Небесная, эдакий Олимп датчан, высотой 170 метров – Торатау в два раза выше.

Я отношусь к ней особо: это первая гора в моей жизни, которую я ощутил как живую, на которой впервые понял, что, оказывается, можно танцевать и со скалами.

Долго, долго я смотрел на нее издали, и она все более овладевала моими мыслями; ее тяготение, подобно зову кроваво-полной восходящей луны, будило в душе нечто древнее и пугающее, от чего расширяются глаза и вскалываются губы, а тело готово то ли броситься в пляс, то ли сладко и с силой упиваться своим воем. Может, в этом и заключается некоторая ее «мрачноватость», да ещё в том, что, как всякий алтарь, она ждёт поклонения. Но, стоя пред ее величием, понимая собственную малость, краткость и ничтожность, ощущая себя не более чем пылинкой (насколько б ни был Данте поражен в конце своего Путешествия, ему Любовь стремилась страсть и волю), на краткий миг вспоминаешь, что ты – Человек, Образ и Подobie Божие, и в это мгновение Гора, даже не подозревавшая о твоём существовании, вдруг замечает тебя и, ответив едва заметной полуулыбкой, вновь погружается в себя. Нет смысла говорить о том, что она как-то относится к людям, ползающим по ее склонам, – проявляете ли вы какой-либо интерес к пылинке на вашей туфле?.. И снова – «Мы с Тобой одной крови – Ты и Я!» – и... остаётся лишь молча поклониться созерцающему Нечто мудрецу – каменному Будде в лотосе лесов... Увы, можно долго расписывать пышно-безвкусные золотые дворцы, но на то, что действительно чисто и прекрасно, всегда не хватит музыки, и те слова, что сказаны, всегда немного не те, что нужны. Сердце, что Любовь, – в слова не облечь, в бумагу не заковать. И Жизнь есть достояние не одного лишь человека. И это – несомненно!

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Роман ГОГОЛЕВ

Родился в 1976 году в Горьком. Окончил исторический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Кандидат философских наук.

Область научных интересов – история русской философии и литературное краеведение. В настоящее время – старший научный сотрудник Архива А.М. Горького при Институте мировой литературы Российской академии наук. Руководитель социокультурного проекта «Живая книга для взрослых и детей». Живет в Нижнем Новгороде.

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА: БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ

В уходящем году исполнилось 55 лет со дня смерти Екатерины Павловны Пешковой (1876–1965) – единственной законной жены писателя Максима Горького. В оглушительном успехе, который пришел к Горькому во время совместной жизни с Екатериной Павловной, несомненно, есть и её значимая лепта. И хотя прожили они вместе чуть более семи лет, они навсегда остались самыми близкими друг другу людьми.

Впрочем, когда они с Алексеем Максимовичем познакомились в Самаре, не было еще ни знаменитого писателя, ни драматурга, ни вождя интеллигенции, ни автора печально знаменитого афоризма про тех, кого уничтожают... А был высокий слегка сутулый нескладный мужчина с рыжеватой щеткой усов и характерным волжским выговором, которого будущая теща – Мария Александровна Волжина звала галахом. Изначально так величали в Самаре обитателей ночлежки купца Галахова, а потом и всякого, не имеющего постоянного заработка, появляющегося в обществе босяков, бездомных и странников.

Никогда она не считала Алексея Пешкова ровней для своей дочери Екатерины, родившейся в те золотые годы, когда они с мужем владели небольшой усадьбой в родном городе Сумы Харьковской губернии под солнцем Малороссии. Отец Екатерины – Павел Николаевич – увлеченный селекцией пшеницы и сахарной свеклы ботаник, на небольшом

участке земли завел целое семенное хозяйство. Размеренная жизнь этой небогатой дворянской семьи ушла с молотка, когда Екатерине не было и двух лет. В уплату долга разорившегося соседа, за которого Волжин неосторожно поручился, была продана и родовая усадьба и земля. После нескольких лет службы его управляющим в имениях крупных помещиков Воронежской губернии в 1889 году семья оказалась в Самаре.

Тяжелое заболевание главы семьи привело к тому, что Екатерине еще до окончания гимназии пришлось давать уроки математики для воспитанников младших классов, чтобы хоть как-то сводить концы в концами. После окончания с отличием гимназии девушке удастся получить место корректора в «Самарской газете». Считается, что в редакции и познакомились будущие супруги Пешковы, хотя известный адвокат Яков Тейтель вспоминает, что это произошло именно в его доме на литературных вечерах для демократически настроенной интеллигенции в 1895 году. Как бы то ни было, принципиальная позиция родителей невесты стала препятствием для брака: Екатерину даже отправили на несколько месяцев погостить у столичных родственников, но и это не убавило её решимости. В письме знакомой Пешков рисует свою невесту почти неприязненно: «Екатерина Павловна Волжина, дворянка из разорившихся, кончила гимназию, 19 лет от роду, среднего роста, гибкая, волосы вьющиеся, глаза не знаю какие, рот и нос не красивы. Какие у нее желания? В данное время желает как можно скорее возвратиться в Самару и обвенчаться со мной».

В один год – 1896-й – Екатерина теряет отца и приобретает мужа. На венчании в Вознесенском кафедральном соборе Самары настояла Мария Александровна. Алексею Пешкову пришлось примириться с этим и воссоединиться с Церковью, от которой был отлучен после попытки самоубийства в декабре 1887 года. 30 августа 1896 года таинство совершил однокашник Н.А. Добролюбова по Нижегородской духовной семинарии протоиерей Валериан Лаврский. В браке родилось двое детей – сын Максим и дочка Катя. В Екатерине Павловне Горький обрел не только корректора, соратника, друга, жену, но и, пожалуй, мать, ласки которой он всегда искал с самого детства почти в каждой женщине, но едва ли находил. Она любила Горького беззаветно, всепрощающе и жертвенно, как может любить только мать...

Чувство это, впрочем, не было слепым, отнюдь – Екатерина Павловна не растворилась без остатка в муже и его заботах. После расставания с Горьким в январе 1904 года она занимается переводами с французского, становится видной фигурой в партии социалистов-революционеров (эсеров). Когда началась Первая мировая война, Пешкова возглавила детскую комиссию Общества помощи жертвам войны и вместе с известным московским правозащитником адвокатом И.Н. Сахаровым (дедом академика А.Д. Сахарова) организовала отряд волонтеров для поиска беспризорных детей, оказавшихся за линией фронта.

После потрясений 1917 года Пешкова почти всецело отдается правозащитной деятельности, возглавляет Московский Политический Красный Крест и вплоть до фактического закрытия в 1938 году занимается облегчением участи людей, подвергшихся гонениям со стороны советской власти. Её усилиями были спасены тысячи людей, среди которых Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, епископ Афанасий (Сахаров), ребе Йосеф Шнейерсон и многие другие. Современники говорили что Данте не улыбался, потому что созерцал страдания грешников в аду и

неотвратимость наказания, Екатерина Павловна тоже улыбалась крайней редко: более 20 лет неравного поединка с системой подавления и террора, потеря обоих родных детей, сделала её скупой на эмоции и бурное выражение чувств.

Один из очевидцев отмечал: «Иногда мне приходилось заходить к Е.П. к концу ее приёма и потом провожать ее домой, и я помню, что заставлял ее в состоянии почти полнейшего изнеможения. И тем не менее не было случая, чтобы Е.П. кого-нибудь поторопила, кого-нибудь не выслушала до конца и не вытерла чьи-нибудь слёзы. В этом отношении она производила на нас всех впечатление человека феноменального».

Её воспитанница И.К. Гогуа вспоминала, как Пешкова изможденная возвращалась домой, но вместо отдыха с неистовством принималась за приготовление ужина. Одно за другим она готовила разнообразные, подчас довольно изысканные блюда. Только дома она могла позволить себе эмоции, ведь лишь у себя на кухне она не только полностью владела ситуацией, добываясь раз за разом нужного результата, но здесь торжествовала жизнь, бесстыдно равнодушная к ужасам эпохи большого террора, которые происходили за дверью.

После смерти писателя и закрытия «Помполита» Пешкова сосредоточилась на работе по формированию Архива Горького, а также занималась подготовкой к изданию наследия писателя. Говорят, что поэту должно повезти с музой, а писателю – с вдовой. Алексею Максимовичу повезло ничуть не меньше чем Достоевскому, Толстому или Мандельштаму. Из всех женщин Горького вынести этот крест оказалось под силу только Екатерине Павловне...

Заметный след оставила Екатерина Павловна и в истории Нижнего Новгорода. По крайней мере три сюжета связаны с её именем. Первый из них – организация Рождественских елок для детей городской бедноты. Их потом назовут «горьковскими», хотя почти всю организационную текучку по подготовке мероприятия, сбору средств, приобретению подарков принял на себя оргкомитет, работой которого руководила жена писателя. «Вы только представьте себе 500 детей, одетых в “папины” да в “мамины” одежды, уродливых, грязных, порочных, с ногами, искривленными рахитом, крошечных, но уже старчески опытных. Ошеломленные длинным рядом столов с подарками и видом елки, роскошно украшенной, горячей электрическими огнями, – эти несчастные дети кружились по зале густым, пестрым потоком и всё покашливали, покашливали эдак особенно, грустно и жалобно, как изможденные старики. Ходили – молча, степенно, а глаза у них были жадные, строгие, серьезные такие глаза. Не хорошо, знаете. Но – на будущий год закачу елку на тысячу, а то на полторы. Ибо – когда этим несчастным раздали подарки – по пирогу, мешку гостинцев <...>, по сапогам, рубахе, платью, кофте, шапке, платку, – Вы знаете – многие из них заревели от радости, иные куда-то бросились бежать, прижимая к себе подарки, другие, усевшись на пол, тотчас же принялись есть», – делится впечатлениями Горький в письме к Л. Средину. Дети, побывавшие на этих праздниках, спустя десятилетия при встрече с писателем напоминали ему о первом знакомстве на нижегородской елке в 1901-м... в 1902-м... в 1903-м...

Немало сил и незаметной повседневной работы вложила Екатерина Павловна и в другой значимый проект нижегородской интеллигенции.

В дополнение к театру для почтенной публики, что к Всероссийской выставке 1896 года был открыт на Покровке, в 1903 году город приобрел Народный дом. Если с постройкой здания городские власти и общественные комитеты кое-как справились, то с повесткой было сложнее. Именно кружок интеллигенции, сложившийся вокруг М. Горького и оказался ответственным за творческую программу нового проекта. Здесь пел Шаляпин, ставились спектакли, в которых принимали участие как профессиональные актеры, так и любители... Публика была столь же разношерстной: мероприятия посещали представители самых разных слоев сочувствующего демократическим настроениям населения города. Финансирование репертуара легло на пайщиков Народного дома, костяк которого составлял те же люди горьковского круга: Малиновские, Чириковы, Штюрмеры, Кащенко... Даже после своего отъезда из Нижнего в 1904 году Горький через Екатерину Павловну принимал участие в жизни Народного дома, стремясь преодолеть негативные тенденции, наметившиеся в театральной жизни города. Не только Народный дом, но и городской театр испытали отток и некоторую усталость зрителей. Разного рода арендаторы стали собираться в пустующем здании для проведения досуга, полуподпольных собраний и даже сбора бомб. Массовый арест на одном из мероприятий, привел учреждение к окончательному упадку, а в 1906 году и Пешкова покинула Нижний.

С момента, как в 1932 году Горький привлек Екатерину Павловну к помощи по обустройству литературного музея в Нижнем Новгороде, она до самой кончины не оставляла его вниманием и деятельным участием. Более чем за 30 лет Пешкова передала в музей писателя тысячи мемориальных предметов, в деталях описывала их происхождение, обстановку квартир в домах Лемке и Киршбаума, что создало фундамент экспозиции музея-квартиры писателя, открывшейся уже после её смерти в 1971 году. Она почти ежегодно приезжала в музей и была не только главным консультантом, но и камертоном всех процессов, связанных с увековечением памяти писателя на родине. Она была постоянным участником горьковских чтений, поддерживала переписку с десятком адресатов, среди которых Ф.П. Хитровский, А.Н. Свободов, А.И. Елисеев, Д.А. Балака, А.В. Сигорский, Н.А. Забурдаев, А.С. Липовецкий, Л.М. Фарбер и многие другие. По древней традиции горьковеды интриговали друг против друга, и именно авторитет Пешковой неизменно водворял мир в их мятущиеся сердца. Благодаря Екатерине Павловне музей вернул себе в 1947 году особняк на улице Минина, занятый во время войны под госпиталь. В её присутствии в городе было установлено несколько памятников М. Горькому, её усилиями были открыты музей писателя в Казани и Куйбышеве, что сформировало в Поволжье целую научную корпоративную среду горьковедов, вобравшую в себя филологов, историков литературы, краеведов, архивистов и библиографов. Со всеми Пешкова неутомимо вела переписку, поддерживая огонь творческого поиска как у представителей старшего поколения, так и у молодежи. Трогательно заботилась она и о старых приятелях, с которыми была неразлучна еще полвека назад: искала лекарства для больной жены Хитровского, посылала деньги оказавшемуся в нищете фотографу.

Екатерина Павловна не родилась в Нижнем Новгороде, да и прожила в нем в общей сложности менее 10 лет, но оставила в его истории

значимый и неизгладимый след. Впрочем, именно в Нижнем прожили Пешковы большую часть своей супружеской жизни. Вероятно, поэтому до конца жизни она стремилась в город на слиянии Волги и Оки, чтобы окинуть взором те самые ландшафты, пройтись по тем же самым улицам, где она была так молода и счастлива... вместе с Алексеем Максимовичем.

А.Н. Пирожкова вспоминала: «...Она была красива той мягкой красотой, которой отличаются часто женщины высокого интеллекта. Черты лица правильные, красивые серые глаза, но самое главное – выражение её лица. Оно было чудесным, она была сдержанной в проявлении чувств, казалась строгой, не любила пустой болтовни и была очень женственной, несмотря на возраст. Все её движения были неторопливыми, походка легкая, жесты скупые, она была полна изящества. Не любила много говорить и любила слушать. Как-то раз говорили про гневных людей, и Екатерина Павловна сказала: “Мне жаль людей, которые могут гневаться”. Эту её фразу я всегда помню».

Анна Книппер: «Всегда, встречаясь с ней, я не переставала изумляться: как, прожив такую долгую, сложную жизнь, сталкиваясь со столькими людьми, всякими, – как она сумела до глубокой старости сохранить абсолютную чистоту души и воображения, такую веру в человека и сердце, полное любви. И полное отсутствие сентиментальности и ханжества».

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время – директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

СЕКРЕТ УСАТОЙ КНЯГИНИ

(Конспирологическая легенда)

Чем была занята у Пушкина первая половина 3 сентября 1833 года, мы не знаем...

Из интернета

Уже много лет пытаюсь разобраться – зачем наш дорогой Александр Сергеевич Пушкин поехал в Оренбург через Нижний Новгород. Нет, я для себя этот вопрос давно уже решил, но уж очень почему-то неубедительным образом для всех моих друзей и оппонентов. Цель поездки той была совершенно чётко официально обозначена и строго оформлена подорожными документами: сбор материалов для истории подавления Суворовым Пугачевского бунта. Нижний Новгород к делам пугачевским никакого отношения не имел, а на Казань и Оренбург дорога из Москвы лежала напрямик через Муром и Арзамас. Но вот наш писатель после Муром сворачивает на Нижний.

Зачем?

Помыться в общественной бане – он смог бы и в Арзамасе. Играть в карты на Нижегородской ярмарке с подсчитавшими свои барыши купцами в заплёванном трактире (ярмарка уже закрылась) он не будет – не тот у него статус. Карточная игра в те времена была привилегией высшего дворянства, ей обучали с детства, как танцам и верховой езде. А при дворе Екатерины Второй чеканились специальные монетки достоинством пятьдесят копеек, рубль и два для расчёта, и ценятся эти монетки сейчас у коллекционеров выше, чем полновесные николаевские золотые червонцы.

Зачем?

В памяти народной совершенно естественным образом сохраняются имена героев – полководцев-победителей. И первыми, кого лю-

бой школьник назовёт из таких великих наших военачальников, будут Жуков, Суворов и Кутузов. Жуков «победил» Гитлера, Кутузов – Наполеона, а Суворов... И вот тут всегда заминка! Что же за войну такую выиграл Суворов, что в памяти народной занял место первого из первейших спасителей отечества? Правильно! Пугачевская война так напугала нашу Екатерину Вторую, что она была вынуждена спешно сорвать Суворова, гениального уже на тот момент полководца, с действующей армии и направить его на подавление Пугачева. Только замолчана почему-то в нашей истории эта кровопролитнейшая и довольно длительная война с Пугачевым, и война загадочная. Да и сам Пугачев остается пока что фигурой загадочной и сомнительной. А не бастард ли он какой-то с претензиями – мало ли их по Руси шастает? Во времена Пушкина вообще упоминать его имя было делом предосудительным. Это как в советское время вести разговоры о кровавой расправе в Новочеркасске. Такие загадки смущали кое-кого и двести лет назад. И официально Пушкин направлялся на Урал писать историю Суворова, а не Пугачева. Только поменялось что-то в его понимании после посещения Нижнего Новгорода. И это – не пять выписок из бумаг местного архива да встреча со старухой в Курмыше, лично знавшей и помнившей Пугачева.

Император Николай Павлович не был дураком, и он прекрасно понимал, что Пушкин – гений и что он будет «нашим всё»! А потому он и выбрал с поэтом тон довольно доверительных отношений, стал его первым читателем и личным цензором начиная с 1826 года. Хотя к моменту, который нас интересует, их отношения и сильно охладели, но Пушкину император по-прежнему мог доверить расследование некоторых деталей суворовских подвигов, о которых никто пока что ничего точно не знал но желательно, чтобы никто ничего лишнего не узнал бы и в будущем.

Да, так оно и случилось, а уж благодаря Пушкину или нет – неизвестно!

Детали эти хранились где-то там, на Урале, в Оренбурге, в сердце его Пугачевой стороны, а может, и дальше – в Сибири. Где-то вот в этой точке пересекались интересы Пушкина-писателя и императора-государственника. Но у каждого из них, видимо, были и секреты, которыми делиться они друг с другом не собирались до поры до времени. И если секреты Николаю Павловичу достались от бабки его великой Екатерины Второй, руками Суворова утопившей в крови Пугачевский бунт, то Пушкину многие секреты открывались по праву происхождения: кровь Рюриковичей по материнской линии – волшебный ключ!

К тому же надо всегда помнить, что Пушкин был официальным сотрудником Министерства иностранных дел, которое возглавлял мудрый Нессельроде. И его, Пушкина, подпись стоит под многими секретными документами, в том числе и «о неразглашении».

Ну, во-первых, смущает то, что для губернатора Бутурлина приезд в Нижний Новгород Пушкина стал неожиданностью – в сопроводительных подорожных документах, выданных тому в дворцовой канцелярии в Санкт-Петербурге, заезд в Нижний Новгород не предполагался, потому и решило губернское начальство, что Пушкин – ревизор инкогнито. Бутурлин тут же послал скорой эстафетой спешных гонцов к своим коллегам в Казань и Оренбург с сообщением о таком непонятном для него визитёре. Может, это и послужило поводом для появления в дальнейшем «Ревизора» Гоголя, хотя был у Николая Васильевича в разработке уже этот сюжет.

«...Никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение», – пишет в те дни нижегородский губернатор.

Во-вторых, у самого Пушкина никаких близких родственников, друзей и знакомых, с которыми он мечтал бы повидаться, в Нижнем Новгороде не было. А для чего тогда было делать этот крюк в сотни верст? Да и заехал-то он всего на один день или на два. Странно! Написал он из Нижнего пару писем своей Наталье Николаевне, притом в них – буквально два слова о городе и людях, и очень сухо. Да ещё так торопился он, что какие-то свои дела обделав, уже на второй день, пробыв лишь час в гостях у губернатора на обеде, неожиданно откланялся и отбыл срочно в Казань. Причем загадкой остается, где был Пушкин в первой половине этого дня. А вот очевидец пишет, что «выезжая вечером 3-го сентября из Нижнего, поэт был свободен и весел».

Ну и, конечно, важно то, что ни Суворов, ни Пугачев в Нижнем Новгороде не бывали, и пугачевские бунты до него всерьёз не докатывались. Так что рыться в местных архивах смысла не имело. А имело смысл что-то другое.

И приходится искать ответ.

И такой ответ невнятно, но находится.

Богатства семьи Строгановых были легендарны: бытовала поговорка: «Богаче Строганова не станешь!» Григория Строганова Петр Первый называл своим кошельком, и он же, Петр, распорядился, чтобы все владения, земли и богатства Строгановых объединить и продаже и делению в дальнейшем не подвергать. К тому времени, о котором идёт речь, «майоратом» Строгановых владела и распоряжалась Софья Строганова (урождённая Голицына), а это – в собственности пятьдесят тысяч душ крепостных и земли, по размерам превышающие территории некоторых европейских государств. В начале девятнадцатого века, времени, о котором я веду речь, это положение семьи Строгановых в России продолжало оставаться непоколебимым. Основой этих богатств была соль. Если в семнадцатом веке основной базой семьи были уральские земли, а в восемнадцатом они перебазировались в Нижний Новгород, то уже при Петре семья перебралась в Москву. Хотя соляные базы страны продолжали оставаться в Нижнем.

Такой же легендарной фамилией в восемнадцатом и девятнадцатом веках обладали и князья Голицыны, но уже в плане аристократизма. Они являлись прямыми потомками великого князя Гедимины и по знатности уступали только Рюриковичам и Чингизидам; даже Тимуриды стоят ниже. К слову, любимая младшая дочка, Соня Голицына спрашивала в детстве у своей замечательной мамы Натальи Петровны: «А что, Иисус Христос тоже Голицын?» «Нет, – отвечала княгиня Наталья, – но он тоже из хорошей семьи!»

По моей версии, усатая княгиня Наталья Петровна Голицына (это про неё – «Что скажет Марья Алексевна?»), которая когда-то в молодости танцевала в Версале с Людовиком XV и была накоротке знакома с известным проходивцем и предсказателем графом Сен-Жерменом, имеет непосредственное отношение к интересующему меня визиту. Ей к этому моменту уже исполнилось 89 лет; вот она-то и подсказала Пушкину заскочить в Нижний Новгород, где в то время проживала её любимая дочка Соня, в замужестве ставшая Строгановой, с неизвестным нам поручением.

Соединились чудесно в лице Софьи Владимировны аристократизм и богатство.

В 1812 году она потеряла на войне с Наполеоном своего единственного сына, а вскоре и овдовела. Будучи фрейлинами при четырёх императрицах, она была одарённым в художественном плане человеком: перевела на русский язык «Божественную комедию» Данте, неплохо рисовала, её салон в Санкт-Петербурге был привлекательным пристанищем для всех известных своим творчеством людей. Соня в другие времена тоже танцевала в Версале, но уже с Наполеоном.

Пушкин, безусловно, хорошо знал обеих этих дам по петербургскому высшему свету. И было какое-то послание от Натальи Петровны к дочке Софье, и послание это, очень личное, вёз ей Пушкин. Но я думаю, что это послание было связано ещё и с поездкой Пушкина на Урал, где находились принадлежащие Строгановым земли, те земли, на которых зародился Пугачевский бунт.

В 1824 году по плану развития Нижнего Новгорода было решено придать благообразию нижней волжской набережной, и было решено убрать с берега склады, лабазы и бараки, в которых хранились товары купеческие, приходящие в город по воде. Все фасады зданий приказано было развернуть к реке, рассчитывая облагородить фасадную часть набережной. Губернатор Бутурлин строго следил за реализацией проекта. Так уж случилось, что фамильные особняки Строгановых и Голицыных располагались по соседству, и хозяйка решила их реконструировать, объединив в едином ансамбле, соединив их подземными переходами, галереями и арками. Парадный въезд запланирован был со стороны Волги. Проект в окончательном виде был окончательно осуществлен известными столичными архитекторами из мастерской Воронихина (как бы сейчас сказали) несколько позднее описываемых нами событиями. Но работы уже велись, вот сюда-то и спешил Пушкин утром 3 сентября 1833 года.

Некоторые семейные тайны могут подчас представлять собой очень серьёзный государственный интерес. Потому и хранятся они осторожно, и скрывают их старательно от любопытных глаз, и прячут их в загородных удаленных провинциальных усадьбах, куда трудно добраться несведущему человеку. Вот в такую древнюю контору «именитых людей Строгановых», хозяев уральских земель, и устремился Пушкин с поручением от старой усатой княгини. Согласно некоторым источникам, Софья Владимировна Строганова находилась с инспекционной поездкой в Нижнем Новгороде в сентябре 1833 года, проверяя работу каких-то филиалов своего «майората» — а инспектировать-то иногда всё приходится.

К ней, к своей любимой младшей дочке, направляла с тайным посланием Пушкина старая княгиня. Что это было за послание? Связано ли оно с уральскими строгановскими угожьями, а значит, и с пугачевскими волнениями? Встречался ли Пушкин с княгиней Софьей? Хотя современники и очевидцы утверждают, что встречался.

А если встречался — не был ли это простой визит вежливости? Или тут был интерес и политический, и творческий?

Повторюсь: был ли Пушкин в бане, ездил ли на ярмарку, работал ли в местном архиве — это предположения и версии, такие же, как и моя — о том, что он встречался в Нижнем Новгороде с княгиней Софьей.

На обратном пути из Оренбурга и Казани поэт едет нормальным проторенным маршрутом, через Арзамас; по пути заезжает он в своё Большое Болдино, где работает и пишет «Пиковую даму», по-моему, самую загадочную свою вещь. Потом он напишет и «Историю Пугачевского бунта» в двух томах, которая тут же была опубликована по распоряжению императора, и «Капитанскую дочку», честно отработав не очень приятную творческую командировку. Но спрятанный в повести «Пиковая дама» набор намёков и манит, и смущает пушкинистов и шифровальщиков уже почти двести лет. То, что под главной героиней повести выведена Наталья Петровна Голицына, было известно всем и с самого начала. Но что за загадка спрятана под сакральными «тройка, семёрка, туз» и смущает умы уже многих поколений? То, что это «очко», – слишком примитивно! И почему же тогда «тройка» – именно пиковая дама?

Пушкин работал в Министерстве иностранных дел, где вся информация, более или менее имеющая значение, зашифровывалась, а иносказательность в разговорном языке, а тем более в письмах возведена была в норму. Так что не очень что-то верится, что Пушкин мог что-то ляпнуть просто так. Кроме того, не знаю, какого градуса, насколько высокого, но, по сведениям из многих источников, Александр Сергеевич был масоном, а уж кому, как не мастерам этих засекреченных учений и практик, заниматься всерьёз нумерологией и символизмом цифры.

Так что такая загадка, как «тройка, семёрка, туз», существует, и загадана она была в Нижнем Новгороде, на улице Рождественской, в особняке Строгановых 3 сентября 1833 года и до сих пор не раскрыта.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

Продолжение. Начало в № 5, 2019 – № 5, 2020

ЗАПОЧАИНЬЕ

Сколько уникальных храмов было когда-то в нашем городе! Достаточно вспомнить Строгановские – на Рождественской улице и в Гордеевке, уничтоженные - Георгиевский, Благовещенский, Покровский... Смотришь на фотографии и не перестаешь удивляться и восхищаться людьми, которые строили город, эти храмы, которые любили свой край, свое дело, свое прошлое, настоящее и будущее. Слава Богу, немало архитектурных жемчужин храмового зодчества сохранилось в лихолетье, они и сегодня украшают Нижний Новгород, собирают нижегородцев на молитву. О двух таких храмах мы расскажем в этом номере.

1. «Крещатая бочка в четыре лица»

(Церковь Успения Божией Матери в Крутом переулке)

В грамоте царя Василия Шуйского за 1606 год упоминается монастырь в Нижнем Новгороде на месте, где теперь стоит церковь Успения Божией Матери, а в том монастыре деревянная Успенская церковь. Но уже через пятнадцать лет, в 1621 году, в сотной грамоте (копия писцовой книги, где описаны все постройки и население города) эта церковь упоминается уже как приходская.

Кем и когда был построен тот монастырь и первая Успенская церковь нам неизвестно, но спустя полвека, в 1672 году, на том же месте был возведен купцом Афанасием Олисовым каменный храм. Он был по-своему уникален. Профессор Н. Ф. Филатов писал, что это «...единственный сохранившийся в нашей стране каменный храм с покрытием главного объема “крещатой бочкой в четыре лица”», широко распространенной в древнерусском деревянном зодчестве, но редкой для каменного. Влияние деревянного зодчества на каменное было весьма заметно, когда деревянные церкви в XVII столетии активно перестраивались на каменные.

Форма крещатой бочки была издавна известна русским плотникам, которые часто завершали ею крыльца, монастырские и усадебные ворота, срубы хором и церквей. Бочечные кровли в Нижнем Новгороде в XVII веке имели крыльца собора и настоятельских покоек Благовещенского монастыря, нижний рундук входа Мироносицкой церкви и другие.

Что же это за «бочка в четыре лица»? Вытянутый по оси север – юг объем Успенской церкви перекрыт четырехлотковым сомкнутым сводом. Снаружи он скрыт килевидной формы фронтонами, на коньках которых по сторонам света поставлены на небольших крещатых бочках круглые барабаны с вытянутыми луковичными главками. Вот такой архитектурный прием – получается очень красиво и оригинально и, кроме того, добавляет строению роста – храм кажется выше.

Первоначально Успенская церковь представляла собой наиболее распространенный тогда в Нижнем Новгороде храмовый тип «корабль»: алтарь, смотрящий на восток, молельный зал, трапезная и колокольня над главным входом с западной стороны. И еще одна архитектурная особенность – маковицы на барабанах в течение долгого времени были покрыты серебристым осиновым лемехом и увенчаны золочеными коваными крестами хорошей кузнечной работы.

Были и другие оригинальные детали. Так, в убранстве верха церкви строители, как считают специалисты, впервые в Нижнем Новгороде применили полихромные изразцы. Своим необычным для каменных храмов видом, многоцветием убранства новая посадская церковь, несомненно, стала предметом особой гордости прихожан и, думается, самого ктитора, Афанасия Фирсовича Олисова, на средства которого она возводилась. Полихромные изразцы, позолоченные кованые или просечные кресты, гребни, подзоры, крытые зеленой, желтой и голубой поливной черепицей главы и кровли, многоцветная раскраска архитектурных профилей на фоне отбеленных стен – все это выигрышно выделяло Успенскую церковь на фоне других зданий.

В 1715 году церковь пострадала от пожара, но была восстановлена. Тогда люди заботились о святынях, берегли их. Чего не скажешь о тех, кто рушил Божии храмы в XX веке. В 1934 году храм был предан поруганию, трапезная и колокольня были уничтожены. Планировалось его вообще взорвать, но благодаря вмешательству архитектора В. В. Воронкова чудом удалось спасти памятник.

Первоначальный вид основной части Успенской церкви был восстановлен только при реставрационных работах 1965–1967 годов, хотя проект руководителя работ Святослава Агафонова предусматривал также и реконструкцию трапезной и колокольни, но сделать это удалось лишь в 2004 году в рамках проекта «Ильинская слобода».

Успенская церковь стала первым воссозданным храмом в этом проекте и была включена в состав архиерейского подворья. 15 марта 2004 года бригадой иконописцев под руководством Алексея Анциферова начались работы по росписи храма, а также реставрации алтаря и выполнению иконостаса. И уже 29 июля епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин Великого освящения вернувшегося к новой жизни древнего храма.

2. В честь грозного громовержца (Церковь святого пророка Илии)

...Вот блеснули сабли в руках вождей, вот раздался крик их, зовущий на приступ, и все войско готово было кинуться через Почайну к Ивановской стрельнице, как вдруг раздался с нее первый выстрел, направленный рукою искусного артиллериста, которого летописец называет Федей Литвичем, и возмутились татары, и ногаи, аки птичьи стада. Мирза ногайский пал с коня, пораженный метким выстрелом.

Легенда о спасении Нижнего Новгорода

История Ильинского храма уходит далеко в глубину веков. Как и было принято тогда, его построили из дерева в 1506 году в память о спасении Нижнего Новгорода от набега татар и ногайцев. Легенда об этом событии повествует, что в 1505 году к городу подступило войско данника Иоанна III – Махмет-Эмина (в легенде Махмет-Аминь). Шатер ногайского мурзы стоял на горе, которую потом назовут Ильинской. Выстрел пленного литвина поразил ногайского вождя («И прилетело ядро, и ударило его по персям, и вошло ему в сердце, и прошло сквозь него и так погиб нечестивый»). Между татарами и ногайцами началась междоусобица, резня, а пушкاري между тем поливали их огнем от Ивановской башни, и тогда смущенный Махмет решил отступить.

Город был спасен от разорения. А на месте, где стоял шатер ногайца, построили храм в честь небесного покровителя пушкарей грозного пророка Илии и в память о чудесном событии. Впервые эту легенду рассказал П.И. Мельников-Печерский («Предания в Нижегородской губернии»). Находим ее и у Н. Храмцовского в «Кратком очерке истории и описания Нижнего Новгорода».

Согласно летописи, через полвека церковь Илии-пророка была перестроена в камне неким священником Стефаном. Шли года и столетия, в храме на Ильинской горе возносилась молитва Богу. В 1715 году в Нижнем Новгороде случился страшный пожар, сгорел почти весь город – Похвалинская церковь, кремлевские храмы Введенский и Симеона Столпника. Огонь опалил стены Спасо-Преображенского кафедрального собора, дотла сгорела высотная рубленая шатровая колокольня, а колокола ее превратились в куски металла.... Сильно пострадало и здание Ильинского храма, поэтому его перестраивали и подновляли в течение многих лет.

В 1775 году высочайшим повелением было издано учреждение для управления губерниями. По этому учреждению каждая губерния должна была заключать в себе от 300 до 400 тысяч жителей и разделяться на уезды в 20 и 30 тысяч душ; две и три губернии должны были составлять наместничество с тем, чтоб каждой губернией заведовал губернатор, а наместничествами – наместники государевы или генерал-губернаторы. Система управления во многом точно такая же, как сейчас.

Указ о создании Нижегородского наместничества появился 9 сентября 1779 года. Получив этот указ, нижегородский губернатор Алексей Алексеевич Ступишин деятельно занялся выполнением монаршей воли при активном содействии правящего епископа Антония.

В городе произошли сильные изменения, которые затронули и храм Илии-пророка – в трапезной учрежден придел великомученика Мины.

В 1874 году по проекту архитектора И. К. Кострюкова у Ильинской церкви перестраивается трапезная палата. В это же время храм из одноглавого становится пятиглавым (это, кстати, сильно исказило его архитектурный облик). Таким, с незначительными изменениями, он дошел до настоящего времени. Богослужения в храме Илии-пророка были прекращены в 1932 году. До 1995 года в здании была пекарня, что привело его в аварийное состояние.

После того как в 1995 году храм был передан в ведение Нижегородской епархии, в нем возобновлены богослужения. 27 июля 2004 года освящён и воздвигнут крест на колокольню. К 2014 году были восстановлены четыре малых купола.

Во все времена нижегородцы почитали эту церковь как духовную святыню, подтверждающую извечное стремление русских к победе. В храме находились древняя икона «Утоли моя печали» и мощи святых. Церковь дала название одной из исторических улиц Нижнего Новгорода – Ильинской. Вокруг церкви сложился район исторической застройки. Здесь расположены уникальные здания – кроме дома причта Ильинской церкви дома И. Нестерова, П. Вяхирева, А. Дмитриевой и другие, что хранят исчезающий неповторимый облик нашего древнего города.

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского. Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

СВЯТОСТЬ И СВЯТКИ В РАССКАЗАХ ИВАНА БУНИНА

Исполнилось 150 лет со дня рождения первого
из русских писателей, удостоенных Нобелевской премии

Основные темы и мотивы творчества Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) – православная духовность, Россия, её природа и судьба, христианский дух земли русской, национальный характер, загадка русской души, человек и мироздание, любовь и тайны бытия, вечные проблемы жизни и смерти, уходящие корнями в сакральный текст Священного Писания.

Христианское мировоззрение, национально-русская патриотическая позиция, развитый эстетический вкус писателя в совершенстве проявились в раннем бунинском рассказе «Антоновские яблоки» (1900). В этом опыте «путешествия в воспоминаниях», наполненном особым лирическим смыслом, складывались отличительные черты авторской манеры и литературного стиля Бунина, воплощалось его религиозно-художественное миропонимание.

В «Антоновских яблоках» отразились личные, недавно пережитые впечатления писателя от усадебной деревенской жизни в Орловской губернии. В августе 1891 года Бунин писал своей возлюбленной Вареньке Пащенко: «Вышел на крыльцо и увидел, что начинается совсем осенний день. Заря – сероватая, холодная, с лёгким туманом над первыми зелеными... Крыльцо и дорожки по двору отсырели и потемнели... В саду пахнет антоновскими яблоками... Просто не надышишься!..»

Бессюжетное полотно, будто состоящее из цветных мазков, световых пятен, фрагментов, впечатлений, имеет сюжет внутренний. Это хроника вечной природной жизни в Господе. Гораздо важнее сюжета сама неповторимая атмосфера рассказа. Она разлита в любовании красотой средней полосы России, в наслаждении немудрёной жизнью среднерусской усадьбы – «дворянского гнезда». Это особое одухотворённое пространство представлено в тончайших наблюдениях и переживаниях.

Аромат антоновских яблок становится эстетической реальностью, пронизывающей всю художественную атмосферу произведения. В первоначальной редакции рассказ имел следующее вступление: «Где-то я читал, что Шиллер любил, чтобы в его комнате лежали яблоки: улежавшись, они своим запахом возбуждали в нём творческие настроения. Не знаю, насколько справедлив этот рассказ, но вполне понимаю его: есть вещи, которые прекрасны сами по себе, но больше всего потому, что они заставляют нас сильнее чувствовать жизнь. Запахи особенно сильно действуют на нас, и между ними есть особенно здоровые и яркие: запах моря, запах леса, чернозёма весной, прелой осенней листвы, улежавшихся яблок <...> чудный запах крепких антоновских яблок, сочных и всегда холодных, пахнувших слегка мёдом, а больше всего – осенней свежестью!»

Впоследствии автор снял это вступление. Но на его незримое присутствие указывает многоточие, непривычно вынесенное в самое начало рассказа, будто это не зачин, а продолжение повествования – в непрерывном потоке воспоминаний: «...Вспоминается мне ранняя погожая осень». Приём умолчания, усиленный глубокой паузой, подчёркивает своеобразие показа художественного времени: «читатель входит в некий постоянно текущий, непрерывный, безначальный поток воспоминаний, и не так важно, где и когда в него войти».

Накрепко связанный с родной землёй, со своим народом, Бунин, производивший внешнее впечатление холодного чопорного дворянина-аристократа, избирает в рассказе деревенский, именно крестьянский угол зрения. Впечатления лирического героя сливаются с фольклорным календарём, в котором народная мудрость соединила наблюдения над вечно обновляющейся жизнью природы с христианскими праздниками, духовно возрождающими человека, с именами святых – наших молитвенников и заступников перед Господом.

Знаменательно, что народный календарь наполнен добрыми знаками, счастливыми приметами. Эмоционально-оценочный контекст задаёт светлую тональность всему повествованию: «Август был <...> с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Св. Лаврентия. А “осень и зима хороши живут, когда на Лаврентия вода тиха и дождик”. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак».

Картина урожая из бытовой зарисовки вырастает в знаковый образ радости, красоты и полноты простонародного уклада русской жизни:

«“Ядрёная антоновка – к весёлому году”. Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился...» Всё это определяет настроение веселья, довольства, православной праздничности: «Осень – пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен».

Идущее от сокровенных духовных и национальных глубин чувство Родины под пером писателя преобразует незатейливые пейзажи в картины необыкновенно прекрасные. Сцены, нарисованные Буниным, на редкость живописны. В палитре художника разнообразные переливы красок: от нежных, прозрачных, пастельных полутонов до ослепительно ярких, сочных, насыщенных: «голубоватый дым», вода «прозрачная, ледяная», «бирюзовое небо», «коралловые рябины», «красные уборы», «целый золотой город» собранного урожая.

Ракурс изображения также многоплановый. Бытовые зарисовки, лирические раздумья сопричастны не только конкретно-историческому движению времени, вызывающему ностальгию автора по уходящей в прошлое мирной и уютной усадебной жизни. Бунин вместе с тем устремлён к божественной, заповеданной в Новом Завете «полноте времён»: «*В устройство полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом*» (Еф. 1: 10). Писатель стремится духом проникнуть в непостижимое таинство слияния небесного и земного, горнего и дольного: «чёрное небо чертят огнистыми полосками падающие звёзды. Долго глядишь в его тёмно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывёт земля под ногами». Человека не покидает надежда на грядущее обновление жизни: «*мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда*» (2 Пет. 3: 13).

Концовка рассказа неожиданно обрывается многоточием. Финал повествования так же открыт, как и его начало. Эта жанрово-стилистическая особенность наполняется христианской метазначительностью: ведь «*у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет, как один день*» (2 Пет. 3: 8).

Элегически-светлый поток воспоминаний без начала и конца замирает на печально-весёлой ноте. Это народная песня звучит «с грустной, безнадежной удалью»:

На сумерки буен ветер загулял, <...>
Белым снегом путь-дорогу заметал...

Бунин – писатель очень русский по духу – любил изображать зиму. Может быть, по той простой причине, что на Святой Руси она особенная, не похожая ни на какие другие зимы в чужих краях. В этой связи вспоминается пушкинское:

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С её холодною красою
Любила русскую зиму.

Также и Фет подчеркнул русскость зимнего цикла своих стихотворений, назвав его «Снега», указав на отличительный признак нашей зимушки-зимы. «Мне для работы, – признавался И.С. Тургенев Эдмону де Гонкуру, – нужна зима, стужа, какая бывает у нас в России,

мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристаллами инея...»

Зима в её русских приметах рисуется во многих бунинских рассказах. «День хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли», – пишет автор в рассказе «Иоанн Рыдалец» (1913). «Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! – восклицал писатель в рассказе “Худая трава” (1913). – <...> В белых снежных полях, в метели – глушь, дичь, а в избе уют и покой».

Бунин с таким мастерством умеет передать тепло и уют запертого изнутри дома, который осаждают мороз, снежные метели и сугробы, что от текста исходит отрадное тепло, как от натопленной русской печки: «Вечером <...> горели лампы, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют», – читаем в рассказе «Святитель» (1924). Его действие происходит «двести лет тому назад, в некий зимний день», на Святки, когда звучат «песнопения во славу Пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной».

Так соединяются святость и Святки, сквозь русский зимний праздничный цикл светится образ Святой Руси.

В рассказе «Святые» (1914) представлена настоящая зимняя сказочность: «светлая морозная ночь сверкала звёздами за мелкими стёклами старинных окон. <...> видно было глубокое небо в редких острых звёздах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень дыма <...> а дальше, за белыми лугами – высокие косогоры, густо поросшие тёмным хвойным лесом, сказочно посеребрённым луной сверху».

Картину Святой Руси создают предания о святых страстотерпцах. Действие рассказа «Святые» разворачивается на Святках. Бунин воспроизводит обстановку христианского, по традиции – семейного – зимнего праздника в гостеприимной дворянской усадьбе. Однако мотив беспечного веселья, заявленный во вступлении, в дальнейшем служит лишь контрастирующим фоном, сопровождающим совсем иную атмосферу – благодатной тишины, внутренней сосредоточенности, раздумий о Боге и об истинном предназначении человека.

В то время как ярко освещённый барский дом беззаботно живёт «своей жизнью, весёлой, праздничной», в дальней бедной комнатухе, таинственно освещённой лишь лунным светом, бывший дворовый Арсенич, пришедший навестить своих прежних господ, «в какой-то радостной задумчивости» растроганно проливает слёзы о судьбе святой мученицы Елены – «великой печальницы»; святого великомученика Вонифатия, чья память чтится зимой, на Рождественский пост, перед Святками.

Писатель выбирает необычный ракурс: жития святых представлены и сквозь призму детского восприятия. Маленькие герои Митя и Вадя тайком пробрались в заднюю каморку, куда лишь отдалённо доносится шум праздника, чтобы послушать рассказы старого Арсенича.

Два разных мира – детство и старость – поставлены перед лицом друг друга. Дети с нескрываемым любопытством пристально разглядывают непостижимые для них признаки дряхления в облике Арсенича: «сизые старческие руки <...> жили на его сморщенной розовой шее». С простодушием, присущим юному возрасту, озвучивает Митя вывод из своих наблюдений: «Вы теперь умрёте скоро». Однако бесхитростная детскость в данном случае совпадает с умудрённостью старости.

Арсенич принимает неизбежность своего скорого ухода из жизни настолько же мирно, насколько спокойно и дети спрашивают его об этом: «Сущая правда ваша-с. Полагаю даже нынешней зимой».

Смиренномудрое, кроткое отношение к смерти при всей полноте жизнелюбия свойственно народному мировосприятию, основанному на православной вере. Это одна из загадок, постоянно волновавших Бунина.

«И когда это ты умрёшь, Панкрат? Небось, тебе лет сто будет?» – задают вопрос старику в рассказе «Антоновские яблоки». В ответ он «кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, – виноват, зажился. И он, вероятно, ещё более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку». Его старуха сама купила себе на могилку большой камень, «так же как и саван, – отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям». Осмысленность и тщательность этих приготовлений к последнему исходу (важно, чтобы он был обставлен должным образом, по православному чину) показывают, что смерть не страшит бессмертную в своих христианских чаяниях душу. Готовясь предстать перед Богом, Который «не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20: 38), человек из народа обретает в конце земной жизни спокойное, ясное приятие бытия, мироустройства – в полном соответствии с упованиями Нового Завета: «если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения<...> Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресши из мёртвых, уже не умирает: смерть не имеет над ним власти» (Рим. 6: 5; 8–9).

В то же время и на пороге смерти земная жизнь, дивно устроенный Божий мир притягательны для человека. В Арсениче ещё очень сильна потенциальная энергия жизни. Со своими малолетними собеседниками он делится самым сокровенным: «кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

– А зачем?

– А затем-с, что всё бы жил, смотрел, на Божий свет дивился...»

Таков же старец Иванушка, ещё полный жизненных сил, в повести «Деревня» (1909–1910). Этот герой никак не хочет поддаться смерти. Аверкий в рассказе «Худая трава», своим благообразием напоминающий иконописный лик: «измождённое лицо с тонким сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода», – смиренно и безропотно ожидает смерти, но с последней надеждой на чудо, хотя сам он уже походит на «живые мощи».

Пересечение с известным рассказом И.С. Тургенева «Живые мощи» (1874) весьма ощутимо, и это литературное влияние закономерно. Б.К. Зайцев (лично знавший Бунина, оставивший о нём очерк воспоминаний) справедливо назвал тургеньевский рассказ «драгоценностью нашей литературы». Его главное достоинство – изображение способности человека в любом состоянии радоваться самоценности жизни, благословлять и принимать её в любых проявлениях. Художественное воплощение получает новозаветная заповедь радости, во имя которой люди призваны жить на земле: «*Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах*» (Мф. 5: 12).

К восторженному удивлению перед чудом творения совершенного Божьего мира присоединяется сознание несовершенства мира человеческого – с его «лукавым мудрствованием», спасаемого лишь подвижниками святых. Эти противоречивые переживания сливаются у Арсенича

в неделимый комплекс противоположных эмоций-антиномий: радости и грусти, улыбок и слёз, торжества и печали. «Глядя на детей грустно-радостными глазами», он «в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами», непрестанно рассказывая своим маленьким слушателям о подвижничестве мучениц и мучеников. В их житиях герой обрёл источник духовной силы. Восхищение подвигами святых пробуждает в Арсениче дар слёз, приближающий его самого к идеалу праведности. Неслучайно Вадя, заслушавшись, вдруг спросил «охрипшим голоском:

–А вы будете Святой?»

Поистине, Бог *«утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам»* (Мф. 11: 25).

Оценивая себя как «человека грешного», старик одновременно признаёт: «Душа у меня, правда, не нонешнего веку... Мне Господь не по заслугам великий дар дал. <...>слёзный дар называется».

Из Нового Завета известно, что на глазах Христа часто видели слёзы. Господь плакал от жалости и сострадания к людям, об их нераскаянных грехах, ведущих к гибели: *«когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём»* (Лк. 19: 41).

Согласно святоотеческому наследию, душа человеческая очищается покаянием и слезами. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Мы не будем обвинены при исходе души нашей за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но, без сомнения, дадим ответ Богу за то, что не плакали непрестанно о грехах своих».

Дар слёз отличается амбивалентностью, соединяя в себе эмоциональные полярности: «благодатные слёзы – завершение покаяния – одновременно являются началом бесконечной радости (антиномия блаженств, возвещённых в Евангелии, – “Блаженны плачущие, яко тии утешатся”»).

Именно таков «слёзный дар» старика Арсенича в бунинском рассказе «Святые». Многослойное повествование содержит в подтексте мощный новозаветный пласт – основу житийной темы. Текст бунинского рассказа позволяет восстановить обширный евангельский контекст.

Так, преломление событий сквозь призму детского сознания – приём не столько стилистический, сколько содержательный. Евангельская заповедь: *«Будьте как дети»* – по-особенному звучит на Святках, когда празднуется Рождество Божественного Младенца. В Богомладенчестве Иисуса Христа человечеству дана новозаветная *«сверх надежды надежда»* (*«сверх надежды поверил с надеждою»* – Рим. 4: 18) – на искупление, прощение и спасение в *«жизни будущего века»*. Иисус сказал: *«пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»* (Мф. 19: 14); *«если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»* (Мф. 17: 3); *«кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает»* (Мф. 17: 5).

«Святые» Бунина – классический святочный рассказ (хотя автор и не пользуется этим жанровым обозначением), в котором представлены наиболее устойчивые элементы поэтики святочной словесности: зимняя календарная приуроченность, образы детей, мотивы смеха и плача, чуда, спасения, дара, христианская мораль и спасительные уроки.

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

Родился в 1937 году в городе Николаеве УССР. После эвакуации с 1941 года живет в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.

Работал редактором общественно-политических и информационных программ Горьковской студии телевидения, собкором Гостелерадио СССР, ГТРК «Останкино», телекомпании ОРТ в Нижегородской области, представителем издательства «Воскресение», ведущим и старшим редактором Нижегородской государственной телерадиокомпании НТР.

Прозаик, поэт, публицист, автор трех десятков книг прозы и стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень», премий Нижнего Новгорода, областной премии имени А.М. Горького, кавалер ордена Дружбы, ордена Почета.

Живет в Нижнем Новгороде.

КАК КОНЧАЮТСЯ ВОЙНЫ

История в фотообъективе Виктора Темина

2 сентября 1945 года подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии перед войсками союзников закончилась Вторая мировая война. Она продолжалась шесть лет и один день – с 1 сентября 1939 года. В этот день гитлеровская Германия вторглась на территорию Польши. Безусловно, важнейшей составляющей Второй мировой была Великая Отечественная война Советского Союза с фашистской Германией, которая продолжалась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го – 1418 дней и ночей. 2 сентября 1945 года фотокорреспондент газеты «Правда» Виктор Антонович Темин на борту американского линкора «Миссури» сделал свой последний кадр Второй мировой войны: генерал-лейтенант Кузьма Деревянко от имени СССР принимает капитуляцию Японии.

В декабре 1970 года я познакомился с Виктором Теминым, фото-репортером, об удали и оперативности которого в журналистской среде ходили легенды. В Горький Темин приехал тогда по приглашению общества «Знание» и местного отделения Союза журналистов СССР для встреч с коллегами, студентами, преподавателями школ и вузов. Вместе с ним была жена – Тамара Сергеевна, сотрудница издательства «Молодая гвардия».

Невысокий, крепкий, с очень живыми и отзывчивыми на любую реплику глазами, быстрый в движениях Темин никак не соответствовал своим годам – за шестьдесят. У нас в редакции он вытащил из кармана

пиджака свою знаменитую «лейку» и стал нас, кто тут был из телевизионщиков, фотографировать, легко запрыгнув на стул, а оттуда поднявшись на письменный стол для более «просторного кадра в этой унылой узкой комнате».

Тамара Сергеевна смотрела на него с мягкой улыбкой, как смотрит мать на отчаянного пострела-сынишку, и жаловалась нам:

– Никак не угомонится, я ему говорю: «Хватит снимать, пора заняться архивом!» Пожаловалась на него в ЦК партии, его вызвали, сказали: «Ваш архив принадлежит истории СССР! Считайте партийным поручением и заданием на ближайшие два года разобраться со всеми пленками, расписать негативы – что, кто, где и когда снято?» А он – «через месяц займусь!» Проходит месяц, два, три...

– Ну, что ты, мамочка, пристаешь, – слегка огрызается Темин, спускаясь из-под потолка на пол, – мне только шестьдесят два, когда перестану прыгать, тогда по-стариковски займусь пленками и бумагами... Вы знаете историю этой «лейки», которой снято всё, чем я горжусь? С этим аппаратом я никогда не расстаюсь. Между прочим, это подарок Алексея Максимовича Горького. А дело было так...

1 августа 1929 года Горький должен был выступать на антивоенном митинге в Зеленом театре парка культуры и отдыха. Темин тогда работал фотокорреспондентом газеты «Советская Татария» в Москве, и ему нужно было сфотографировать Алексея Максимовича для казанской газеты. У Темина был тяжелый, громоздкий деревянный фотоаппарат на треноге. Сделать им «репортажный» снимок выступающего на трибуне Горького было невозможно. Поэтому Темин решил поступить иначе... Собственно, вот его дословный рассказ:

– Я занял позицию на аллее, по которой Горький должен был, по моему, обязательно пройти, и стал поджидать его. Интуиция меня не подвела. По правде говоря, у него другого пути и не было. Горького сопровождала охрана из ГПУ. Я боялся, что меня просто прогонят, но Алексей Максимович, увидев мою фотогромадину посреди аллеи, сам направился ко мне: «Не Максим ли Петрович Дмитриев из Нижнего Новгорода вас снарядил? У него на Осыпной я видел нечто подобное...» Я сказал, что снимаю для Казани. Он: «Тоже родной мне город. Не могу отказать!»

Скамеек рядом не было, и Алексей Максимович сел на пенек. И я принялся его мучить, потому что мой аппарат не имел коротких выдержек. Надо было довольно долго сидеть, не двигаясь, не мигая, не дыша. С дублями съемка продолжалась больше получаса. Люди, сопровождавшие Горького, выказывали нетерпение, я нервничал, волновался, а Алексей Максимович был совсем спокоен и меня утешал. У меня даже возникло ощущение, что он был рад наблюдать, как злятся люди, которым поручено командовать его распорядком дня, а по сути дела и им самим.

Когда все мучения были позади, Алексей Максимович осмотрел мой деревянный ящик и спросил: «У тебя что же, другого аппарата нет? Этим, небось, еще Ноев ковчег снимали!..»

Когда я напечатал снимки, то принес их Горькому. Ему они понравились. Он достал блокнот и что-то написал на листке, а потом вырвал его и передал мне: «Вот, дорогой, отправляйся по этому адресу, получишь самый новый фотоаппарат. С ним из тебя большой толк будет. Это я уже вижу». Так по записке Горького я получил этот отличный немецкий фотоаппарат и первым делом поспешил с этой «леечкой»

к Горькому, запечатлел Алексея Максимовича уже на узкой фото пленке. С этого кадра начался, в полном смысле слова, боевой путь моей «лейки»...

...Из большого, как баул, кофра Темин вынул папки и конверты с фотографиями разных лет и разложил у меня на столе. Это было нечто. Поистине фотолетопись времени!

...Москва встречает челюскинцев. Тысячи листовок над улицей Горького...

...Чкалов, Байдуков, Беляков на острове Удд возле самолета. А вот и сам АНТ-25, широко раскинувший свои огромные крылья на берегу морского залива... Снимок сделан сверху, такое впечатление, что не через иллюминатор, а с крыла другого самолета...

И снова Москва встречает героев. На этот раз чкаловский экипаж. За перелет на остров Удд Чкалов, Байдуков и Беляков были удостоены звания Героя Советского Союза. Кстати, за легендарный маршрут в Америку, проложенный ими через Северный полюс, летчикам вручили ордена Ленина.

1938 год. Четверка папанинцев с высоко поднятым флагом на станции «Северный полюс-1». А вот и сам Иван Дмитриевич Папанин в полушубке и унтах выше колен позирует у кинокамеры, как будто ищет объект для съемки...

— Позвольте, позвольте, а кто тут пятый слева от Папанина утонул в овчинном тулупе? Похоже, это вы, Виктор Антонович!

— Ну, а кто же еще? Присмотритесь, у меня на ногах ботинки, я еще не успел натянуть унты.

На Северном полюсе Темин оказался случайно. Узнал от знакомого летчика, что тот летит к папанинцам, и как был в плаще и ботинках, погрузился в самолет. Не было времени не только для того, чтобы переодеться, но и сообщить в редакцию «Правды», почему он не появился в тот день на работе. Времена, сами понимаете, тогда были строгие. Темин тут же был уволен за прогул.

Но узнал он об этом во время боев у озера Хасан. Туда он тоже попал по собственной инициативе. Показал маршалу Блюхеру удостоверение корреспондента «Правды» и сказал, что у него задание запечатлеть взятие сопки Заозерной. С оказией отправлял пленки в Москву, и «Правда» печатала снимки своего уволенного фотокорреспондента. Навсегда гордостью Темина стало то, что он снял водружение красного флага на вершине сопки Заозерной. Сам он говорил, что это было первое Знамя Победы, которое он сфотографировал. Всего он числил на своем фотосчете пять победных знамен. Второе пришлось на реку Халхин-Гол, где в 1939 году разгорелись бои с японскими агрессорами. Здесь Темин впервые встретился с комкором Георгием Жуковым и сделал первые снимки будущего маршала...

— Мы и сейчас с ним дружим, я навещаю его на даче. Жаль, что Георгий Константинович последнее время болеет, но бодрится.

Когда бои на Халхин-Голе были победно завершены, в редакции «Правды» принимали группу новых Героев Советского Союза и орденосцев. Редактор объявил благодарность Виктору Темину за оперативную работу. И тут Виктор Антонович сообщил ему, что не может принять благодарность, так как приказ редактора для него не указ. У Поспелова от такого нахальства фотокорреспондента перехватило дыхание и запотели очки.

– Я уже два года как уволен за прогул, зарплату не получаю, а только гонорары за снимки по мере их появления в газете, – объяснился Темин с редактором, который давно забыл о своем суровом решении.

– Будем считать, что у нас всех было слишком много работы, чтобы тратить время на уточнение взаимоотношений, – улыбнулся Поспелов. – Сейчас спокойно разберемся, тем более что тот приказ умер сам собой...

И посмотрел далеко в конец зала, отыскивая взглядом главного бухгалтера редакции. И когда отыскал, снял очки и сказал:

– Надо сегодня же выплатить Темину зарплату за два года, всю сразу...

– Чего же вы терпели два года? Почему раньше не потребовали восстановить вас на работе, снимки же все равно печатали в «Правде», а не в какой-то другой газете? – спросил я Темина.

Он улыбнулся:

– До сих пор считаю, что поступал очень правильно... Тут, знаете ли, действовал инстинкт самосохранения...

И, заметив мое полное недоумение, пояснил:

– Вспомните, какие это были годы – 37-й и 38-й... Я старался быть подальше от Москвы и сам выбирал для себя, где безопаснее... Именно там, где стреляли, где была война, пусть небольшая. Может быть, поэтому и живу!.. Между прочим, мы говорили как-то об этом с Георгием Константиновичем у него на даче, за чаем. Так вот, он знал, что под него копают и могут арестовать. И спасло его то, что уехал на Халхин-Гол. Заметьте, это было уже в 1939-м, когда репрессии шли на спад. Он вернулся в Москву с Золотой Звездой Героя. Можно сказать, Халхин-Гол спас Жукова для Великой Отечественной... И мне после Халхин-Гола было уже безопаснее напомнить о своем неопределенном статусе...

Впрочем, в 1940 году Темин уже снимал «на той войне незначительной», как писал Александр Трифонович Твардовский, имея в виду войну с Финляндией на Карельском перешейке. Там он снял свое третье Знамя Победы над взорванными дотами «линии Маннергейма».

Начало Великой Отечественной войны застало Виктора Антоновича на Украине. 21 июня он сделал фотографию немецкого коммуниста, который перебежал границу с вестью – завтра война! Он, между прочим, в 1970 году был жив, Темин разыскал его в ГДР. 22 июня 1941 года Виктор Антонович снял сбитый под Киевом вражеский самолет. Оборона Москвы, декабрь 1941-го... Писатель Илья Эренбург беседует с командирами в дни разгрома фашистов под Москвой. Каждая статья Эренбурга была событием – газету передавали из рук в руки – «прочти и передай товарищу». На всех фронтах действовал негласный закон: то, что написано Эренбургом, на раскурку не пускать, даже если не из чего свинтить сигарку.

Поэты Константин Симонов и Алексей Сурков – на фронте под Смоленском. Тогда родились строки «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Оборона Севастополя... Блокада Ленинграда... Сталинград в огне в августе 1942 года.

Лето 1943-го. Курская дуга. Фашисты распустили легенду, что их новый танк «тигр» подбить невозможно. Этот «зверь» наводил страх на наших бойцов. По приказу командования началась охота на «тигра». А Темин получил задание снять подбитый танк. И вот он – убитый

«тигр». Так рухнула легенда о его неуязвимости. На следующий день снимок появился в «Правде», а еще через день – во всех московских и фронтовых газетах. Замполиты раздавали его бойцам – «посмотри и передай товарищу».

Темину часто приходилось снимать в разгаре боя. Быть в атаке рядом с бойцами, а иногда и впереди их. Вот, например, объектив встречает первую шеренгу атакующих танков и пехоты, идущей за ними.

– Откуда вы снимали, Виктор Антонович?

– С танка, который выделил мне комполка. Я сидел на броне за башней, мы были впереди других танков и пехоты метров на тридцать-сорок. Я попросил моих танкистов не стрелять, иначе меня сбросит на землю. У меня же обе руки заняты съемкой, мне нечем держаться. Нас прикрывали танки, идущие позади, они стреляли, и снаряды летели справа, слева и надо мной. Когда я «отстрелял» всю кассету, а мне на это было дано ровно три минуты после первого выстрела со стороны наших танков, «мой» экипаж притормозил, и я спрыгнул вниз. Атакующие обтекали меня. Я, оглохший, шел по вспаханному танками полю назад, к опушке перелеска, где был наблюдательный пункт и где меня ждали... В тот же день кассета улетела в Москву.

В конце февраля 1945 года Темин получил задание из «Правды» – разработать и предложить план проведения съемок водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине и оперативной доставки снимков в Москву. 1 марта 1945 года Темин направил главному редактору Поспелову свои предложения. Подробно, как они были выполнены, я рассказал в статье о былях и небылицах, связанных со Знаменем Победы...

В ночь на 9 мая 1945 года Виктор Антонович запечатлел подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Без приключений тут тоже не обошлось.

– Нас, корреспондентов, – рассказывал мне Темин, – не пускали близко к столу, а с того места, где я находился, хороший снимок сделать было невозможно. Но я все-таки снимал, на всякий случай. И тут в самый ответственный момент один из американских фотографов бросился вперед, его не задержали. Фельдмаршал Кейтель вот-вот подпишет документ, а я могу опоздать сделать снимок. Я делаю отчаянную попытку прорваться, но американцы из охраны меня возвращают. Тогда я опираюсь руками о плечи стоящих рядом моих товарищей Кости Симонова и Бори Горбатова, подтягиваюсь и прыгаю на стол. Кто-то хватается за ногу, но я даже не оглядываюсь. Не до того. Устремляюсь вперед, шагая пыльными кирзовыми сапогами по зеленому сукну стола. И снимаю, как склонившийся над бумагой Кейтель ставит свою подпись. Краем глаза вижу, как прорвалась к столу вся наша ватага корреспондентов. Как упал на пол сбитый с ног американец...

Памятная встреча с Жуковым у Темина была уже в Москве за несколько дней до Парада Победы. Узнав, что на торжества в столицу прибывают все командующие фронтами в последний период войны, а это десять высших военачальников, Виктор Антонович вознамерился их сфотографировать всех вместе. Это оказалось делом чрезвычайно нелегким, потому что дел у них у всех было невпроворот, а времени в обрез. К тому же вместе они никак «не совпадали». Вот Темин и обратился к Жукову с просьбой помочь сделать исторический снимок. Жукову идея понравилась, он рассказал об этом Рокоссовскому. И они решили, так сказать, использовать свое служебное положение – принимающий Парад Победы и командующий Парадом Победы пригласили

командующих фронтами в кабинет Жукова, чтобы обсудить детали участия фронтов в праздничном действии. А после короткого разговора Жуков предложил собравшимся сфотографироваться на память и позвал в кабинет Темина. Отодвинули от стола пять стульев поближе к отделанной дубовыми панелями стене напротив окна и разместились в каком-то только им понятном порядке. Жуков сел в центре, справа от него сели Василевский и Конев, а по левую руку – Рокоссовский и Мерецков. Позади сидящих слева направо встали Толбухин, Малиновский, Говоров, Еременко и Баграмян. У Темина была буквально одна минута на съемку. Как только раздался щелчок, военачальников словно ветром выдуло из кабинета Жукова, разбежались по делам.

На следующий день снимок был опубликован в «Правде». А днем в кабинете редактора газеты Пospelова зазвонил самый главный кремлевский телефон, и знакомый голос, медленно расставляя слова, спросил:

– Скажите, товарищ Пospelов, а что, в этой войне Верховного главнокомандующего не было?..

Что сказал, как оправдывался Пospelов, Темину было неизвестно.

Во всяком случае, многие в «Правде» считали, что стул под редактором зашатался. Но все-таки не развалился. Видимо, потому что Верховный в эти дни был добрым и не ставил целью кого-то наказывать за промахи, а только предупреждающе указывал на них.

Судя по тому, что вы сейчас узнали о Викторе Темене, сами понимаете, что подписание капитуляции Японии не могло обойтись без его участия. Это понимали и в Москве, в «Правде»: наверняка на борту линкора «Миссури» мог сработать только такой проверенный во многих делах фотокорреспондент.

...2 сентября 1945 года на борт американского линкора «Миссури», бросившего якоря в Токийском заливе, прибыло около 300 фотокорреспондентов и кинооператоров из различных стран. Для представителей американских СМИ, разумеется, создали самые благоприятные условия рядом с местом подписания документов. Советских же журналистов разместили в метрах 70 от него. У Темина не было телеобъектива, а это означало, что на снимке, сделанном из такой дали, ничего не разглядишь. Виктор Антонович видел, как, взявшись за руки, три цепи американских военных не церемонились с фотокорреспондентами и силой отбрасывали их прочь. Темин решил прибегнуть к уже не раз испытанному в общении с американцами средству. Он заранее запасся тремя баночками черной икры и тремя поллитровками водки. Он вынул из кофра две баночки черной икры и две бутылки водки и предложил американцам обмен: я вам русские сувениры, а вы меня пустите в цепь. Хитрость сработала, для охраны он стал своим, но ненадолго. Вдруг вырвал свои руки из рук «оцепеневших» новых друзей, взбежал на трап и по нему стал быстро подниматься к площадке, где хозяйничали звезды американской прессы.

Там Виктор Антонович вынул из кофра остатки икры и водки и пообещал коллегам, что угостит их после совместной работы. Американские журналисты уже согласились было потесниться для русского друга, но появились офицеры линкора «Миссури», которые пригрозили Темину выбросить его за борт, если он сейчас же не покинет не предназначенную ему площадку для съемки. Темину ничего не оста-

валось, как броситься к представителю советского военного главного командования генерал-лейтенанту Кузьме Николаевичу Деревянко, который как раз вместе с американским генералом Дугласом Макартуром и главами других союзных делегаций шел к месту подписания последних актов Второй мировой войны. Поняв, что Темину нужна помощь, Деревянко шепнул ему: «Будь рядом!» И повернулся к Макартуру: «Это мой боевой товарищ и личный фотограф Сталина! Помоги ему!»

Макартур среагировал тут же: «Откуда хотите фотографировать?» Темин показал на площадку, откуда его минуту назад изгнали. Макартур поручил одному из сопровождавших его американских офицеров обеспечить личному фотографу Сталина хорошие условия для съемки. По указанию посланца Макартура американских корреспондентов сдвинули с лучшей съемочной точки и предоставили ее Темину те же офицеры линкора «Миссури», которые грозили выбросить его за борт. Фотохору «Правды», единственному из всех советских журналистов, удалось заснять подписание процедуры капитуляции Японии. Для Темина это был последний снимок военного времени, который обошел весь мир.

С Кузьмой Николаевичем Деревянко Темин был знаком с начала Великой Отечественной войны, бывал у него на фронтах. На мой вопрос, почему именно Деревянко было поручено работать в штабе генерала Макартура, готовить к подписанию и подписывать важнейшие документы об окончании Второй мировой войны, Виктор Семенович ответил вопросом:

– А что, разве в Красной армии были и другие военачальники, которые владели японским и английским языками, имели опыт работы в разведке и умели спокойно вести штабную работу, не демонстрируя своих амбиций? Думаю, что генерал Деревянко был уникальным человеком и его ценили за эти его достоинства. Кстати, по просьбе Сталина Кузьма Николаевич несколько раз побывал в Хиросиме и Нагасаки: изучал последствия американской атомной бомбардировки этих городов в августе 1945 года, потом докладывал свои впечатления Сталину. Считается, что Деревянко способствовал созданию советской атомной бомбы. Но последствия визитов в Хиросиму и Нагасаки стали для Кузьмы Николаевича убийственными: он подхватил там лучевую болезнь и умер от рака в декабре 1953 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Летом 1972 года я побывал у Темина в Москве. Он жил на улице Молодогвардейской в трехкомнатной квартире.

Тогда за чаем Темин спросил меня:

– Знаете, как я переехал из моей двенадцатиметровки на эту жилплощадь? Благодаря Рэндолфу Херсту – самому богатому американскому полиграфическому и газетному магнату. В конце сороковых годов он приехал в Советский Союз, чтобы встретиться со мной и познакомиться с моим архивом. Были разные проволочки со стороны компетентных органов, но потом мне позвонили из ЦК и велели принять зарубежного гостя. Я отказался: представляете, как я буду выглядеть в его глазах, когда он появится в моей коммуналке?.. В ЦК всполошились, действительно, что подумает босс о жизни наших журналистов с мировыми именами. За неделю мне подыскали эту квартиру, обставили добротной мебелью. И здесь я принимал и угощал по-русски американского гостя. Правда, ушел он от меня недовольным: свой архив продать ему я отказался, хотя речь шла о громадных суммах в долларах, и на предложение

уехать вместе с ним в США, естественно, прихватив архив, я тоже ответил «нет»...

«В конце концов» – так назвал свою книгу о Нюрнбергском процессе над главными немецкими военными преступниками Борис Полевой. Приезжая к Виктору Антоновичу Темину домой на Молодогвардейскую улицу Москвы, я видел ее с автографом Бориса Николаевича: «Величайшему фитильщику советской прессы...» На журналистском языке это значит, что Темин «вставлял фитиль», то есть опережал коллег и первым доставлял и публиковал наиболее ценные, как теперь бы сказали, эксклюзивные материалы. Пожалуй, самый сенсационный «фитиль» Темина как раз и приходится на время работы его в качестве фотокорреспондента «Правды» на Нюрнбергском процессе.

Все началось с казуса, как охарактеризовал это происшествие сам Виктор Антонович. Из Москвы в Нюрнберг вылетели два самолета. Один вел летчик Дмитриев, надежный, уверенный в себе пилот, действовавший по принципу «семь раз отмерь – один раз отрежь», второй – старый, опытный Малиновский, бывший полярный летчик. До Берлина Темин летел с Малиновским, потому что сдавал в секретариат редакции срочный материал и к вылету Дмитриева не успевал. Малиновский должен был отправиться позднее на полчаса, и это Темина устраивало. Не устраивало другое: в Берлине Малиновский должен был на какое-то время задержаться, и поэтому Темину предстояло там пересесть на самолет Дмитриева, которым, кстати, летела вся журналистская братия, что должна была освещать работу международного трибунала.

В Берлин оба самолета прибыли одновременно. Узнав, что до вылета в Нюрнберг самолета Дмитриева есть еще около часа, Темин решил воспользоваться этой паузой и поснимать Берлин.

– Смотри, не опаздывай! – предупредил его Лев Шейнин. – Ждать не будем.

Короче говоря, Темин увлекся съемкой. И когда на попутной полutorке подъехал к аэродрому, то увидел, как у самолета убирают трап. Темин бежал, кричал, махал сумкой с аппаратурой. Он видел, что коллеги наблюдают за ним, прильнув к иллюминаторам, а Шейнин даже открыл боковую дверь:

– Ты почему опоздал? – Шейнин старался перекричать гул самолета, а потому перешел на визг.

Темина это рассердило:

– Ты что хочешь, чтобы я стал тебе все объяснять вот так, на бегу?! Так знай – ни за что! – огрызнулся Виктор Антонович. Он бежал рядом с медленно катящимся самолетом.

– Ну, так мы из-за тебя задерживаться не будем. В следующий раз будешь дисциплинированным! – прокричал Шейнин.

– Учтите, если вы меня бросите, я буду в Нюрнберге раньше вас! – пригрозил Темин.

– Тогда встречай нас!.. Там!.. – Шейнин захлопнул дверцу. Винты начали вращаться быстрее, и самолет побежал по взлетной полосе.

Как потом рассказал Темину народный художник СССР Крылов – один из Кукрыниксов, которые тоже летели на трибунал, – в самолете долго шутили над тем, что самый оперативный фоторепортер опоздал. Смеялись над его угрозой прилететь в Нюрнберг первым. Даже стали заключать пари по этому поводу.

Лев Шейнин отмалчивался, слушая шутки, прогнозы, споры, а потом вдруг сказал:

– И очень может быть, что он прилетит раньше нас. Надо знать Темина!

Поэтому, когда самолет Дмитриева приземлился в Нюрнберге и встречавшие подошли к нему, то прилетевшие, еще не ступив на аэродромный бетон, закричали в настежь открытую дверь салона:

– Виктор Темин здесь?

– Нет... – прозвучало в ответ. И тогда прибывшие возликовали:

– Так ему и надо, совсем обнахалился...

– Вы нас недослушали, – сказали встречающие, – Темина тут уже нет... Он уже все снял на первом дне процесса и улетел в Москву.

Этот ответ вызвал хохот и аплодисменты. Громче всех смеялся Шейнин:

– Я вам это предсказал! Темин – это Темин!..

Дальше пусть рассказывает сам Темин, так сказать, от первого лица.

– Все улетели, я остался один и побрел к самолету Малиновского: «Ты тут надолго застрянешь?!» – «Да, нет, пришел новый приказ – сейчас вылетаю». – «Куда?» – «Как и намечено было – в Нюрнберг!» Я полетел с Малиновским. Провели в воздухе минут сорок и получили сообщение, что резко меняется погода, нам навстречу надвигается грозовой фронт. Малиновский принял решение по возможности уходить вверх, «подмять» грозу под себя. И прорвался сквозь облака. Сказался полярный опыт. Дмитриев же решил не рисковать и вернулся в Берлин. Так я оказался в Нюрнберге раньше Шейнина. Но эти подробности я узнал уже позже, в зале суда, от Всеволода Вишневского, который тоже представлял тут газету «Правда» и ждал моего прибытия.

В Нюрнберге, который находился в американской зоне оккупации Германии, знали, что из Берлина летят два самолета с представителями советской прессы. Когда Малиновский посадил свою воздушную машину и Темин – один – спустился по трапу на поле аэродрома, то встречавшие внизу американский генерал и его адъютант никак не могли взять в толк, почему больше никто не выходит из самолета. От них Темин узнал, что никакой другой самолет с советскими журналистами не садился.

Американский генерал и его адъютант повезли Темина в Гранд-отель, закрепили за ним номер люкс. Все-таки они встретили очень важную особу, которой был предоставлен персональный самолет. Откуда им было знать, что Малиновский летел в Нюрнберг не для того, чтобы доставить туда Темина, а для того, чтобы забрать оттуда в Москву ряд ответственных лиц после первого дня работы Международного трибунала. Американцы привезли Темина во Дворец юстиции. Темин отметил, что, так как он шел рядом с американским генералом, несшие внутреннюю охрану здания солдаты армии США пропусков нигде не спрашивали.

Генерал предложил Виктору Антоновичу сразу пройти в зал, где в это время шло первое заседание Международного военного трибунала. Но Темин отрицательно покачал головой и показал, что ему нужно подняться наверх, где будет обзор зала. Генерал понял, что от него хочет этот русский с фотоаппаратами. И повел Темина какими-то лестницами и коридорами и вывел в итоге на прекрасную для съемки точку, где открывалась внушительная панорама зала. Темин начал безостановочно снимать общий план зала, скамью подсудимых, адвокатов, судей, обвинителей, представителей прессы. Это был стиль Темина – как можно быстрее набрать разнообразные кадры.

Благодаря его снайперскому таланту и умению видеть в самом обыденном мгновении жизненный факт и художественный образ фоторепортажи Темина были интересны сиюминутно и обогащались исторической ценностью со временем, представляя собой остановленное мгновение эпохи. И на этот раз съемка продолжалась меньше десяти минут. Пленка была «выстрелена». Нужно было спешить в Москву, в редакцию.

– До аэродрома меня проводил Сева Вишневский, – вспоминал потом Виктор Антонович, – расставались мы ненадолго. На другой день мне предстояло вернуться в Нюрнберг для продолжения съемок после того, как «Правда» первой из советских газет опубликует мои снимки о первом дне работы Суда народов. Так оно и было...

Когда пришел час возмездия, присутствовать на приведении в исполнение приговора было разрешено двум корреспондентам от каждой страны-победительницы. На месте казни, таким образом, было всего восемь журналистов. От СССР – Виктор Темин («Правда») и Борис Афанасьев (ТАСС). Снимать не разрешалось.

– Так для чего же там нужен был Темин, – спросил я Виктора Антоновича, – если нельзя снимать? Неужели так ни разу и не щелкнули? А между прочим, ходили какие-то слухи, что у Темина там разрядили аппарат и засветили пленку...

– О, вы слишком много знаете! – рассмеялся мой собеседник. – Отвечу по существу и начну с конца: нигде и никогда еще у Темина пленку не засвечивали! Такое просто невозможно, потому что невозможно. А что касается запрещения снимать, так оно действительно было и относилось ко всем без исключения фотокорреспондентам. А вы, наверное, в процессе нашего знакомства смогли убедиться, что я человек дисциплинированный, законопослушный и не позволяющий какой бы то ни было отсебятины. Но совершенно правильно задали вы свой первый вопрос насчет того, зачем там нужен был Темин, если у него нет возможности снимать. Очень правильная постановка вопроса! Считайте, что в ней содержится ответ. Пока я вам больше ничего сказать не могу... Это дело времени.

После казни нас, восемь корреспондентов, вновь повели в здание Дворца юстиции. Мы шли по главному коридору, и я с удивлением заметил, что раздвижные металлические двери от боковых коридоров, обычно открытые, на этот раз тщательно закрыты. И за решетками толкуются наши коллеги. Один из зарубежных корреспондентов буквально впился глазами в нашу группу.

– Хелло! Хелло! – кричал он, пытаюсь привлечь внимание корреспондента агентства Рейтер. Тот, проходя мимо и мельком взглянув на кричавшего, вдруг вынул из кармана платок, взмахнул им и вытер нос. Это был явно условный сигнал, так как тот, что кричал из-за решетки, стал быстро выбираться из толпы и стремительно убежал куда-то. Все эти манипуляции остались незамеченными другими, но их скрытый смысл я понял только спустя несколько часов.

Нас восьмерых проводили в отдельную комнату и попросили не покидать ее до особого распоряжения. Мы недоумевали, зачем все это. Не теряя времени, я достал блокнот и стал писать репортаж о казни. Кто-то нервно ходил из угла в угол, кто-то пытался закурить, кто-то тоже нервно писал. Закончив писать, я посмотрел на часы и понял, что если немедленно не передам репортаж, то в номер он уже не попадет. Как выбраться? Я подошел к охранявшему нас американцу и по-

просил выпустить меня проветриться. Он подозвал другого часового званием пониже и приказал ему занять пост, а сам вызвался меня сопровождать. Должен сказать вам, что, еще отправляясь из гостиницы во Дворец юстиции, я надел на себя специально сшитые широченные штаны с множеством карманов разных размеров. Так, на всякий случай. И загрузил эти карманы тем, что мне могло понадобиться, кстати, и для того, что вы имели в виду в своем вопросе, зачем там был нужен Темин без права на фотосъемку... За дверью из одного кармана я вынул бутылку водки и протянул ее американцу. Он улыбнулся, поблагодарил и, махнув рукой, дал понять – иди, куда хочешь. Я помчался в комнату советской делегации и вызвал Москву. Трубку снял редактор «Правды» Пospelов:

– Где же ваша оперативность? – набросился он на меня. – Агентство Рейтер уже передало репортаж о казни. Их информация уже в наборе. Вы опоздали.

– Этого не может быть. Все корреспонденты сидят в одной общей комнате, из которой никого не выпускают. Вырвался только я... Прочтите мне информацию...

– Слушайте... Первым на эшафот поднимается Герман Геринг... – читает Пospelов. Я прерываю его: – Это вранье! – И взволнованно кричу: – Геринга не казнили, он успел отравиться...

И в этот момент связь прерывается. Я напрасно пытаюсь дозвониться. Аппарат отключен... Но у меня есть запасной вариант. Только была бы на месте сегодня эта американская телефонистка Сьюзи, у которой мать русская, из эмигрантов белого движения. Сьюзи хорошо понимает русскую речь, но говорит, мешая русские и английские слова. Главное, она нам симпатизирует. И я не раз угощал девушку настоящим московским шоколадом, конфетами фабрики «Рот Фронт», фотографировал ее с нашими журналистами. Сьюзи – моя последняя надежда. И чудо свершается: сегодня ее смена. Она набирает мне Москву.

– Срочно стенографистку... – кричу я в трубку. – Буду диктовать. – Пот льет с меня градом, но я диктую и диктую без отдыха.

Закончив передачу материала, пошел в комнату советской делегации. Чувствую, как от волнения и напряжения у меня дрожат руки и подкашиваются ноги. Войдя, буквально упал на стул, утирая потное лицо.

В комнате уже был Борис Афанасьев. Он передавал в ТАСС информацию о казни. Я понял, что корреспондентов выпустили и разрешили выполнять свои профессиональные обязанности. Здесь же находился и наш юрист Аркадий Полтораки. Было пять часов утра 16 октября 1946 года...

Темин рассказывал, что возмездие над главными военными преступниками совершил один человек – главный экзекутор американской армии Джозеф Мальта. Это был профессионал своего дела, и перед казнью он сконструировал особый эшафот с двумя виселицами, которые должны были выдерживать вес осужденных к повешению нацистов. С Мальтой Темин познакомился еще до приведения приговора в исполнение. Это был веселый, сильный и очень общительный человек, который не скрывал, что добровольно вызвался расправиться с ненавистными ему гитлеровцами.

– Веравка – слишком гуманная смерть для этих подонков! Им бы самим испытать удушье в газовых камерах и живьем ощутить пламя печей Освенцима! – говорил он Темину за рюмкой русской водки

и признавался, что навещает в камерах своих будущих «клиентов», потому что ему было интересно, что они делают в последние дни на этом свете. Он советовал им быть ему благодарным за то, что он все сделает быстро и безошибочно.

Когда Геринг однажды вспылил по поводу очередного посещения его Джозефом, Мальта спокойно ответил:

– Вы должны радоваться, что провожать вас в преисподнюю буду я! И это станет для вас последней радостью...

Но совершить справедливый суд над Герингом Мальте не довелось. И он очень сожалел об этом. Между прочим, кроме десяти главных военных преступников Суд народов приговорил к повешению еще около пятидесяти важных нацистов, но рангом пониже. Джо Мальта заявил, что обойдется без помощников и дублеров. И сам всех их повесил...

– Мне выпала честь отомстить им за всех, кого они убили, я сделал эту работу и могу спать спокойно! – не раз повторял Джо Мальта на вопросы журналистов о его самочувствии...

И все-таки меня донимал вопрос, существуют ли в действительности кадры казни главных германских военных преступников, снятые Теминым...

Виктор Антонович покачал головой: «Саша, мы с вами так давно знакомы, и меня сильно удивляет, как вы можете такое у меня снова и снова спрашивать! Я на все ваши вопросы уже ответил...»

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского государственного университета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародии, эпиграммы, шаржа, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей в российской периодической печати. Лауреат премий имени Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый Дюк» (Одесса, 2013).

Живет в Нижнем Новгороде.

СМОТРИ, ЧИТАЙ – И ПОКУПАЙ...

Пародии и реклама

Поэтическое слово обладает необычайной энергетикой. Сказанное в рифму порой в десятки и сотни раз усиливает смысл произнесённого прозаически. Неслучайно многие лозунги и призывы облекают в стихотворную форму для их максимально доходчивого звучания и запоминания. Этим не без успеха пользуются специалисты, занимающиеся рекламой. Они не стесняются привлекать поэтов в дело продвижения на рынке товаров и услуг. Классический пример – слоган Маяковского «Нигде кроме как в Моссельпроме!». Он же писал: «Мы знаем прекрасно силу агитации... Ни одно, даже самое верное дело, не двигается без рекламы». Однако отношение поэтов к рекламе двойственное: с одной стороны, это неплохой заработок, с другой – в некоторой степени профанация поэзии. Тот же Маяковский, создавший немало эффектных стихотворных реклам, не удержался, чтобы не спародировать основы жанра. Пьесе «Клоп» он начал серией рекламных стишков, не оставляющих сомнений в издевательском подтексте. К примеру:

А вот лучшие республиканские селёдки,
Незаменимы к блинам и водке.

Ничего нет удивительного в том, что сатирики иной раз облекали свои произведения в форму реклам, а пародисты многослойно увязывали пародии в смысловые, стилистические и тематические пародийные

узлы. Причём предметом рекламирования оказывались и товары, и услуги совершенно разнообразные по назначению и весьма далёкие от поэтической возвышенности. Конечно, жертвами персональных пародий в первую очередь становились поэты известные, с ярко выраженным индивидуальным, мгновенно узнаваемым почерком. Например Алексей Пьянов решил от имени Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной прорекламировать пиво.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ НАПИТОК (Белла АХМАДУЛИНА)

Коль выбирать себе по сердцу влагу,
Я, не лукавя, возглашу одно:
Не пей ни водку, ни вино, ни брагу,
Благослови ячменное зерно!

Оно – услада оку и гортани.
Не зря вещает древняя молва:
Любезен сердцу сам процесс глотанья,
Который суть – явленье естества.

Мой мальчик, ритуал верша степенный,
Высокой правдой щедро осиян,
Вздымай в застолье шумном кубок пенный;
В напитке сём – спасенье россиян!

ДИАЛЕКТИКА (Евгений ЕВТУШЕНКО)

Когда-то молодым пил часто виски я –
Шотландское, голландское, английское.

Потом на время, в общем-то короткое,
Оставив виски, перешёл на водку я.

Пил чачу, граппу, пил сакэ и пульку
В Тбилиси, Гонолулу, Акапулько.

Потом увлёкся я напитком панским,
И часто душу отводил шампанским...

Давно умчалась молодость игривая,
Уж много лет, как перешёл на пиво я.

Активен, бодр, упорен и здоров
И, как бывало, не ломаю дров.

В противовес опьяняющему напитку Матвей Медведев привлёк популярных поэтов к рекламе безобидных фруктовых соков.

Белла АХМАДУЛИНА

Сосуд прозрачен – ибо из стекла!
Но мне важней не форма – содержанье.
Я знаю – некто проявил дерзанье,
Дабы я жажду утолить могла.

И я глотаю сок как таковой,
Вишнёвый, виноградный иль томатный
И восхищаюсь влагой благодатной
Разбавленной струёй воды живой.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Девочка с глазами богини,
Девочка, лежащая на пляже,
Не вас ли я видел в бикини,
Распятую,
 как на плахе?
Вы тоже страдали от жажды,
Хоть были у океана,
Но только
 все ваши шашни
От жизни
 такой
 окаянной.
Вы «Рислинг»,
 вы «Старку» просите,
Вы рюмку
 берёте в ручки,
А я говорю вам:
 – Бросьте!
Свои голливудские штучки!
Жизнь
 не даётся дважды,
И вам она выйдет боком.
Уж если у вас жажда –
Утоляйте её соком.

Трудно сказать, что оказалось главным в приведенных пародиях: то ли воспевание популярных напитков, то ли второстепенные, но немаловажные детали (намёки на похмелье и пьянство, на разбавление напитков водой, на критику «светской» жизни...). Пожалуй, всё же основным в них было попадание в стиль и темы известных авторов.

Приведённая пародийная реклама пива и соков прозвучала лет 50 назад, а вот ещё ранее – в 30-е годы – классик советской пародии Александр Архангельский призывал население (естественно, пародийно) употреблять в пищу хорошо знакомую простоквашу и прежде малодоступные народу лимоны.

Семён КИРСАНОВ

Простокваша
просто
прелесть.
Простокваше
песни
пелись.
Просто
 ква
просто
 ша

для же
 лудка
 хоро
 ша.

Александр ЖАРОВ

Их жрали князья и бароны.
 Но мы им сказали: нельзя!
 Лимоны!
 Лимоны!
 Лимоны!
 Мы сами съедаем, друзья.

Естественно, не только пищевые продукты рекламировались в пародиях. К примеру, попала в пародии и реклама моющих средств. Неизвестный пародист 30-х годов обратил внимание на новое на тот момент моющее средство «Стироль-инозит»:

Демьян БЕДНЫЙ

Мистеру Чемберлену –
 Мёд вместо хрену...

.....

Даже такого, как вы, паразита
 Отмоют с помощью
 «Стироль-инозита»...

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ

И когда города разорвутся в плакатах,
 И от стирки бельё просквозит,
 Загоною я свой смокинг
 и коробку перчаток
 и айда покупать «Стироль-инозит»...

Кроме реальных продуктов пародийно рекламировались и самые неожиданные услуги: например, пародисты не смогли равнодушно пройти мимо финансовых инициатив советского правительства. Близко к сердцу они восприняли возникновение внутренних государственных займов (ныне печально знаменитых): ведь речь тогда шла об индустриализации промышленности и процветании страны. Не сбрасывалась со счетов и возможность денежных выигрышей по результатам тиражей погашения займов. Неизвестный автор представил свою пародию как неопубликованный вариант «Евгения Онегина» (XXXII строфа, 1 гл.):

Дианы грудь и взор печальный
 Приятны, милые друзья;
 Но всё ж заём индустриальный
 Приятней чем-то для меня.
 И он, пророчествуя взгляду
 Неоценённую награду,
 Влечёт строительной красой
 Желаний своевольный рой.

Уже предчувствуя заранее,
Что мной любимая страна
Подымится стройна, сильна, –
Люблю его носить в кармане
И думать, милые друзья:
– Быть может, выиграю я.

Надо учесть, что покупка облигаций не была делом добровольным и массовая подписка на заём проходила под немалым политическим давлением. Чтобы придать рекламе более весомое и убедительное звучание для её нужд были задействованы произведения бесспорных классиков (как в случае с Пушкиным). Однако некоторым пародистам было неловко ставить свои подписи под слишком уж пропагандистскими призывами, и их пародии публиковались анонимно, как это случилось в журнале «Ревизор» в 1929 году:

Михаил ЛЕРМОНТОВ

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Все уж подписались...
Подпишись и ты!

Николай НЕКРАСОВ

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу –
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг?
Это милый вдали показался,
Что он держит в кармане своём?
Неужели уже догадался
Подписаться на третий заём?!

Энтузиазм обывателей пытались подогреть знакомыми стихотворными мелодиями известных авторов, как это сделал Антик Тарарам от лица Михаила Светлова:

О чём ты мечтаешь,
Пряатель хохол?
О займе сегодня
В газете прочёл.

И вот размечтался,
Хочу поскорей
Купить облигаций
На сотню рублей.

И новую песню
Мы с другом поём
О том, что расходится
Быстро заём.

Мы шпору даём,
Мы коней горячим,
К ближайшей сберкассе
Скорее летим.

Случалась, однако, и ложка дёгтя в этой хоть и пародийной, но патриотической пропаганде. Почти зримо ощущается кислая (если не сказать горестная) гримаса Осипа Мандельштама в пародийной миниатюре неизвестного автора:

Облигаций шелест очень зыбкий
Ощущал в бумажнике своём.
– Гос-поди, – сказал я по ошибке –
А хотел промолвить – Гос-заём.

Но если Мандельштам в пародии хоть и с неохотой, но приобретал облигации, то Маяковский, цинично призывая к подписке на заём, сам предпочёл от неё уклониться. (Пародист, скрывшийся за подписью Г. Ш-в, не пренебрёг правдой жизни!):

Скажем,
 пятёрку
 за сутки
 выжали –
Рады сердешно:
 никому
 не должны;
А государство –
 что оно,
 рыжее?
Ему, небось,
 тоже
 деньги
 нужны!
Слушай,
 которые в дело
 не вникли:
3 000
 на улице
 не валяются
 зря!
Покупай облигации:
 баба,
 мужик ли!
А я
 обойдусь уж,
 собственно
 говоря.

Нельзя обойти вниманием и язвительную пародию на рекламу фантастических «предметов» литературного обихода самих писателей. Александр Флит приложил немало выдумки для рекламного каталога «Универмага литературы». Например, книжно-канцелярский отдел предлагал писателям новинку «Вечный сюжет». Он представлял собой

оригинальный набор испытанных и проверенных на зрителях ситуаций, ознакомившись с которыми даже неопытный писатель мог легко и быстро составлять и переиздавать любые драмы, комедии, романы и повести. А «Отдел полуфабрикатов» настойчиво рекламировал «сухой роман» в кубиках. Один кубик романа, растворённый в ведре воды, давал от пяти до восьми листов продукции, годной для ежемесячника типа «Нового мира».

Было бы однако ошибкой считать однозначной поддержку пародистами рекламного продвижения товаров и услуг. С разной степенью активности они выступали и против её агрессивного воздействия на публику. В романтические 60-е годы во времена борьбы с мещанством Никита Разговоров в пародии на Валентина Берестова противопоставил природу моде на приобретение мебели:

Мебель купили... и вам невдомёк,
Вы, вероятно, не думали даже:
Лучшая мебель – сосновый пенёк,
Лужицы – лучшие в мире трельяжи...

Оказывается, возможна и такая антиреклама.

Конечно, пародисты не бездумно освещали рекламные темы. В их произведениях можно найти многое: и марширование в ногу со временем, и индивидуалистические отклонения от центральной линии, и лукавую маскировку за спинами признанных авторитетов. В любом случае, главным в их пародиях оставались приметы времени (сейчас можно уже сказать – эпох) и внимание к творчеству популярных поэтов. Именно поэтому пародии эти остаются интересными и современному читателю. Будут ли столь же любопытны для будущих поколений явления сегодняшнего дня?

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 04.12.2020.
Выпущено в свет 25.12.2020.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 22,4.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13